

Набрано
в типографии
Г. Гольдберг,
отпечатано
в типографии
Гемпель и Ко.
в августе 1923
в Берлине

Б Е С Е Д А

Ж У Р Н А Л
ЛИТЕРАТУРЫ И НАУКИ

ИЗДАВАЕМЫЙ
ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ

ПРОФ. Б. Ф. АДЛЕРА
АНДРЕЯ БЕЛОГО
ПРОФ. Ф. А. БРАУНА
М. ГОРЬКОГО
В. Ф. ХОДАСЕВИЧА

11644/IV

№ 2

ИЮЛЬ-АВГУСТ 1923

ЭПОХА · БЕРЛИН

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР
АЛЕКСАНДР БЛОК. Последние стихотворения.	9
М. ГОРЬКИЙ. Из дневника.	12
НИКОЛАЙ ОЦУП. Дон-Жуан. Стихотворение. . .	75
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. Из воспоминаний.	83
СОФИЯ ПАРНОК. Стихи.	128
ГРЕГОРИО MARTINEC СИЕРРА. Дневник девоч- ки. Рассказ. Перевод с рукописи.	131
ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ. Поэтическое хозяй- ство Пушкина.	164
А. ЛЮТЕР. Немецкая литература последних лет.	217
РОМЭН РОЛЛАН. Мазатма Ганди. (Окончание). Перевод с рукописи.	262
ПРОФ. Ф. РИННЕ. О тончайшем строении материи по образцу кристаллов. Перевод с рукописи.	334
Д-Р ГАНС ПРЕЗЕНТ. Экспедиции на Эверест 1921 — 1922. Перевод с рукописи.	358
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. Антропософия и д-р Ганс Лезе- ганг.	378
ПРОФ. Б. Ф. АДЛЕР. Д. Н. Анучин.	393
МАТЕРИАЛЫ. Письма В. В. Розанова к М. Горь- кому.	402

★
Перепечатка как всей книги, так
и отдельных статей воспрещается.

★
Alle Rechte vorbehalten.

★
Copyright by «Epoche-Verlag».

★
Адрес редакции и конторы:
«Epoche-Verlag»
Berlin S. W. 68, Zimmerstr. 7-8.

★

Б Е С Е Д А

К Н И Г А В Т О Р А Я

Александр Блок

**ПОСЛЕДНИЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ**

3. Гунгуц

При получении „Последних стихов“

Женщина, безумная горячка!
Мне понятен каждый ваш намек,
Белая весенняя горячка
Всеми гневами звенящих строк!

Все слова — как ненависти жала,
Все слова — как колющая сталь!
Ядом напоенного кинжала
Лезвее целую, глядя в даль...

Но в дали я вижу — море, море,
Исполнивший очерк новых стран,
Голос ваш не слышу в грозном хоре,
Где гудит и воет ураган!

Страшно, сладко, неизбежно, надо
 Мне — бросаться в многопенный вал,
 Вам — зеленоглазою наядой
 Петь, плескаться у ирландских скал.

Высоко — над нами — над волнами,
 Как заря над черными скалами —
 Веет знамя — Интернационал!

1 июня 1918

★

М. И. Б.

Надпись на „Седом утре“

Вы предназначены не мне.
 Зачем я видел вас во сне?
 Бывает сон — всю ночь один:
 Так видит Даму палладин,
 Так раненому снится враг,
 Изгнаннику — родной очаг,
 И капитану — океан,
 И деве — розовой туман...
 Но сон мой был иным, иным,
 Неизъясним, неповторим,
 И если он приснится вновь,
 Не возвратится к сердцу кровь...

И сам не знаю, для чего
 Сна не скрываю моего,
 И слов, и строк, ненужных вам,
 Как мне, — забвенью не предам.

23 октября 1920

★

Надпись на „Седом утре“

Л. А. Д

Едва в глубоких снах мне снова
 Начнет былое воскресать, —
 Рука уж вывести готова
 Слова, которых не сказать...
 Но я руке не позволяю
 Писать про виденные сны,
 И только книжку посылаю
 Царице песен и весны...
 В моей душе, как келья, душевной
 Все эти песни родились.
 Я их любил. И равнодушно
 Их отпустил. И понеслись...
 Неситесь! Буря и тревога
 Вам дали легкие крыла,
 Но нежной прихоти немного
 Иным из вас она дала...

23-24 октября 1920

Эти стихи входят в четвертый том собрания сочинений
 А. Блока Изд-во «Эпоха».

М. Горький

ИЗ ДНЕВНИКА

I

...Иногда мне кажется, что русская мысль больна страхом пред самою же собой; стремясь быть внеразумной, она не любит разума, боится его.

Хитрейший змий В. В. Розанов горестно вздыхает в «Уединенном»:

«О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать? Теперь уже я не умру спокойно, как надеялся».

У Л. Толстого в «Дневнике юности» 51 г. 4, V, сурово сказано:

«Сознание — величайшее моральное зло, которое только может постигнуть человека.»

Так же говорит Достоевский:

«...слишком сознать — это болезнь, настоящая, полная болезнь... много сознания и даже всякое сознание — болезнь. Я стою на этом».

Реалист А. Ф. Писемский кричал в письме к Мельникову-Печерскому:

«Чорт-бы побрал привычку мыслить, эту чесотку души!»

Л. Андреев говорил:

— «В разуме есть что-то от шпиона, от провокатора».

И — догадывался:

«Весьма вероятно, что разум — замаскированная, старая ведьма, совесть».

Можно набрать у русских писателей несколько десятков таких афоризмов, — все они резко свидетельствуют о недоверии к силе разума. Это крайне характерно для людей страны, жизнь которой построена наименее разумно.

Любопытно, что и П. Ф. Николаев, автор книги «Активный прогресс», человек, казалось бы, чуждый этой линии мысли, писал мне в 906 году:

«Знание увеличивает требования, требования возбуждают неудовлетворенность, неудовлетворенный человек — несчастен, вот почему он и социально ценнен и симпатичен лично».

Совершенно не понятная и какая-то буддийская мысль.

Впрочем и Монтень печально вздыхал:

«К чему вооружаемся мы тщетным знанием? О, сколь сладостно и мягко изголовье для избранных — незнание и простота сердца».

Он объяснял долголетие дикарей их незнанием наук и религии, не зная, что все это — в зародыше — есть у них. Эпикурец Монтень жил в эпоху религиозных войн. Он был весело мудр и находил, что каннибализм дикарей не так отвратителен, как пытки инквизиции.

Через триста лет Лев Толстой сказал о нем:

«Монтень — пошл.»

Лев Толстой мыслил церковно и по форме, и по содержанию. Не думаю, что догматизм был приятен ему и едва ли процесс мысли давал Толстому то наслаждение,

которое, несомненно, испытывали такие философы, как, например, Шопенгауер, любясь развитием своей мысли. На мой взгляд: для Льва Николаевича мышление было проклятой обязанностью, и мне кажется, что он всегда помнил слова Тертуллиана, — слова, которыми выражено отчаяние фанатика, узвзленного сомнением:

«Мысль есть зло».

Не лежат ли — для догматиков — истоки страха пред мыслью и ненависти к ней, — в Библии. VI. 1—4.

«Азazel же научил людей делать мечи и ножи... научил их разным искусствам... объяснил течение звезд и луны. И настало великое безбожие и разврат на земле, и скривились пути человеческие»...



Все это припомнилось мне после вчерашней, неожиданной беседы с А. Блоком. Я вышел вместе с ним из «Всемирной Литературы», он спросил меня: что я думаю по поводу его «Крушения гуманизма»?

Несколько дней тому назад он читал на эту тему нечто в роде доклада, маленькую статью. Статья показалась мне не ясной, но полной трагических предчувствий. Блок, читая, напоминал ребенка сказки, заблудившегося в лесу; он чувствует приближение чудовищ из тьмы и лепечет встречу им какие-то заклинания, ожидая, что это пугает их. Когда он перелистывал рукопись, пальцы его дрожали. Я не понял: печалит его факт падения гуманизма, или радуется? В прозе он не так гибок и талантлив, как в стихах, но — это человек, чувствующий очень глубоко и разрушительно. В общем: человек «декаданса». Вера Блока кажутся мне неясными и

для него самого; слова, как липа на камне, не проникают в глубину мысли, разрушающей этого человека, вместе со всем тем, что он называет «разрушением гуманизма».

Некоторые мысли доклада показались мне недостаточно продуманными, например:

«Цивилизовать массу и невозможно, и не нужно».

«Открытия уступают место изобретениям».

XIX и XX века именно потому так чудовищно богаты изобретениями, что это эпоха обильнейших и величайших открытий науки. Говорить же о невозможности и ненужности цивилизации для русского народа — это, очевидно, «скифство» — и это я понимаю, как уступку органической антигосударственности русской массы. И зачем Блок «скифство»?

Как только мог осторожно, я сказал ему об этом. Говорить с ним — трудно: мне кажется, что он презирает всех, кому чужд и непонятен его мир, а мне этот мир — непонятен. Последнее время я дважды в неделю сижу рядом с ним на редакционных собраниях «Всемирной Литературы» и не редко спорю, говоря о несовершенствах переводов с точки зрения духа русского языка. Это — не сближает. Как почти все в редакции, он относится к работе формально и равнодушно.

Он сказал, что ему приятно видеть, как я освобождаюсь «от интеллигентской привычки решать проблемы социального бытия».

— Я всегда чувствовал, что это у вас не настоящее. Уже в «Городке Окурове» заметно, что вас волнуют «детские вопросы» — самые глубокие и страшные!

Он — ошибается, но я не возражал, пусть думает так, если это приятно или нужно ему.

— Почему вы не пишете об этих вопросах? — настойчиво допытывался он.

Я сказал, что вопросы о смысле бытия, о смерти, о любви — вопросы строго личные, интимные, вопросы только для меня. Я не люблю выносить их на улицу, а если, изредка, невольно делаю это — всегда неумело, неуклюже.

— Говорить о себе — тонкое искусство, я не обладаю им.

Зашли в Летний сад, сели на скамью. Глаза Блока почти безумны. По блеску их, по дрожи его холодного, но измученного лица, я видел, что он жадно хочет говорить, спрашивать. Растирая ногою солнечный узор на земле, он упрекнул меня:

— Вы прячетесь. Прячете ваши мысли о духе, об истине. Зачем?

И, раньше, чем я успел ответить, он заговорил о русской интеллигенции надоевшими словами осуждения, эти слова особенно неуместны теперь, после революции.

Я сказал, что по моему мнению, отрицательное отношение к интеллигенции есть именно чисто «интеллигентское» отношение. Его не мог выработать ни мужик, знающий интеллигента только в лице самоотверженного земского врача или преподобного сельского учителя; его не мог выработать рабочий, обязанный интеллигенту всем своим политическим воспитанием. Это отношение ошибочно и вредно, не говоря о том, что оно вычеркивает уважение интеллигенции к себе, к своей исторической и культурной работе. Всегда, ныне и присно наша интеллигенция играла, играет и еще будет играть роль ломотовой лошади истории. Неустанной работой своей она подняла пролетариат на высоту революции небывалой

по широте и глубине задач, поставленных ею к немедленному решению.

Он, кажется, не слушал меня, угрюмо глядя в землю, но когда я замолчал, он снова начал говорить о колебаниях интеллигенции в ее отношении к «большевизму» и, между прочим, очень верно сказал:

— Вызвав из тьмы дух разрушения, не честно говорить: это сделано не нами, а вот теми. Большевизм неизбежный вывод всей работы интеллигенции на кафедрах, в редакциях, в подполье...

С ним ласково поздоровалась миловидная дама, он отнесся к ней сухо, почти пренебрежительно, она отошла смущенно улыбаясь. Глядя вслед ей, на маленькие, не уверенно шагавшие ноги, Блок спросил:

— Что думаете вы о бессмертии, о возможности бессмертия?

Спросил настойчиво, глаза его смотрели упрямо. Я сказал, что может быть прав Ламеннэ; так как количество материи во вселенной ограничено, то следует допустить, что комбинации ее повторяются в бесконечности времени бесконечное количество раз. С этой точки зрения возможно, что через несколько миллионов лет, в хмурый вечер петербургской весны, Блок и Горький снова будут говорить о бессмертии, сидя на скамье, в Летнем саду.

Он спросил:

— Это вы — не серьезно?

Его настойчивость и удивляла, и несколько раздражала меня, хотя я чувствовал, что он спрашивает не из простого любопытства, а как будто из желания погасить, подавить некую тревожную, тяжелую мысль.

— У меня нет причин считать взгляд Ламеннэ менее серьезным, чем все иные взгляды на этот вопрос.

— Ну, а вы, вы лично, как думаете?

Он даже топнул ногою. До этого вечера он казался мне сдержанным, неразговорчивым.

— Лично мне — больше нравится представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так называемую «мертвую материю» в психическую энергию и, когда-то, в неизмеримо отдаленном будущем, превратит весь «мир» в чистую психику.

— Не понимаю, — панпсихизм, что-ли?

— Нет. Ибо ничего, кроме мысли не будет, все исчезнет, претворенное в чистую мысль; будет существовать только она, воплощая в себе все мышление человечества от первых проблесков до момента последнего взрыва мысли.

— Не понимаю, — повторил Блок, качнув головою.

Я предложил ему представить мир как непрерывный процесс диссоциации материи. Материя, распадаясь, постоянно выделяет такие виды энергии, как свет, электромагнитные волны, волны Гертца и т. д., сюда же, конечно, относятся явления радиоактивности. Мысль — результат диссоциации атомов мозга, мозг создается из элементов «мертвой» неорганической материи. В мозговом веществе человека эта материя непрерывно превращается в психическую материю. Я разрешаю себе думать, что когда-то вся «материя», поглощенная человеком претворится мозгом его в единую энергию — психическую. Она в себе самой найдет гармонию и замрет в самосозерцании — в созерцании скрытых в ней безгранично разнообразных творческих возможностей.

— Мрачная фантазия — сказал Блок и усмехнулся. — Приятно вспомнить, что закон сохранения вещества против нее.

— А мне приятно думать, что законы, создаваемые в лабораториях, не всегда совпадают с неизвестными нам законами вселенной. Убежден, что если-б время от времени мы могли взвешивать нашу планету, — мы увидели-бы что вес ее последовательно уменьшается.

— Все это — скучно, — сказал Блок, качая головою. — Дело — проще; дело в том, что мы стали слишком умны для того, чтоб верить в Бога, и недостаточно сильны, чтоб верить только в себя. Как опора жизни и веры, существуют только Бог и я. Человечество? Но — разве можно верить в разумность человечества после этой войны и накануне неизбежных, еще более жестоких войн? Нет, эта ваша фантазия... жутко! Но я думаю, что вы не серьезно говорили.

Он вздохнул:

— Если-б мы могли совершенно перестать думать хоть на десять лет. Погасить этот обманчивый, болотный огонек, влекущий нас все глубже в ночь мира, и прислушаться к мировой гармонии сердцем. Мозг, мозг... Это — не надежный орган, он уродливо велик, уродливо развита. Опухоль, как зоб...

Помолчал, крепко сжав губы, потом сказал тихо:

— Остановить-бы движение, пусть прекратится время...

— Оно прекратится, если придать всем видам движения одну и ту же скорость.

Блок взглянул на меня искоса, подняв брови и быстро, не ясно заговорил, какими то бредовыми словами, я перестал понимать его. Странное впечатление: казалось, что он срывает с себя изношенные лохмотья.

Неожиданно встал, протянул руку и ушел к трамваю. Походка его, на первый взгляд, кажется твердой, но при-

смотревшись, видишь, что он нерешительно качается на ногах. И как-бы хорошо не был он одет, — хочешь видеть его одетым иначе, не так, как все. Гумилев даже в каком-то меховом костюме лопаря или самоеда кажется одетым, как все. А Блок требует одеяний необычных.

★

Только что записал беседу с Блоком — пришел матрос Балтфлота В. «за книжечками поинтересней». Он очень любит науку, ждет от нее разрешения всей «путаницы жизни» и всегда говорит о ней с радостью и верой. Сегодня он, между прочим, сообщил потрясающую новость:

— Знаете, говорят, будто один выученный американец устроил машинку замечательной простоты: труба, колесо и ручка. Повернешь ручку и — все видно: анализ, тригонометрия, критика и вообще смысл всех историй жизни. Покажет машинка и — свистит! Мне эта машинка тем особенно нравится, что — свистит.

★

Пятый день повышена температура, а лежать не хочется. Серенький финский дождь кропит землю мокрой пылью. На форте Инно бухают пушки, их «пристреливают». По ночам лижет облака длинный язык прожектора, зрелище отвратительное, ибо не дает забыть о днавольском наводнении — войне.

Читал Чехова. Если-б он не умер десять лет тому назад, война, вероятно, убила-бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Вспомнил его похороны.

Гроб писателя так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзале встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Манчжурии генерала, Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более; очень памятливы два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках — женихи. Идя сзади их, я слышал, что один — В. А. Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен...

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околodочный на толстой, белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

★

В одном из писем к старику А. С. Суворину Чехов сказал:

«Нет ничего скучнее и не поэтичнее, так сказать, как прозаическая борьба за существование, отнимающая радость жизни и вгоняющая в апатию».

Этимися словами выражено очень русское настроение, вообще, на мой взгляд, не свойственное А. П. В России,

где всего много, но нет у людей любви к труду, — так мыслит большинство. Русский любит энергию, но — плохо верит в нее. Писатель активного настроения — например, Джек Лондон — невозможен в России. Хотя книги Лондона читаются у нас охотно, но я не вижу, чтоб они возбуждали волю русского человека к действию, они только раздражают воображение. Но Чехов — не очень русский в этом смысле. Для него еще в юности «борьба за существование» развернулась в неприглядной, бескрасочной форме ежедневных, мелких забот о куске хлеба не только для себя, — о большом куске хлеба. Этим заботам, лишенным радостей, он отдал все силы юности и надо удивляться: как он мог сохранить свой юмор? Он видел жизнь, только как скучное стремление людей к сытости, покою; великие драмы и трагедии ее были скрыты для него под толстым слоем обыденного. И лишь освободясь немного от заботы видеть вокруг себя сытых людей, он зорко взглянул в суть этих драм.

Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда, как основания культуры, так глубоко и всесторонне, как А. П. Это выражалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая, совершенно исключая стремление накапливать их, не устает любоваться ими, как продуктом творчества духа человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

— Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша.

Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев», я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

Эх-ма, кабы силы да поболее мне!
Жарко-бы дохнул я — снега-бы растопил!
Круг земли пошел-бы да всю распахал,
Век-бы ходил — города городил,
Церкви-бы строил, да сады все сажал!
Землю разукрасил-бы — как девушку,
Обнял-бы ее — как невесту свою,
Поднял-бы я землю ко своим грудям,
Поднял-бы, понес ее ко Господу:
— Глянь-ко Ты, Господи, земля-то какова, —
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты, вот, ее камнем пустил в небеса,
Я-ж ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко Ты, Господи, порадуйся
Как она зелено на солнышке горит!
Дал-бы я Тебе ее в подарочек
Да — накладно будет — самому дорога!

Чехову понравился этот монолог, взволнованно покашливая, он говорил мне и доктору А. Н. Алексину:

— Это хорошо... Очень настоящее, человеческое! Именно в этом «смысл философии всей». Человек сделал землю обитаемой, он сделает ее и уютной для себя. Кивнув упрямо головой, повторил:

— Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину еще раз, выслушал, глядя в окно, и посоветовал:

— Две последние строчки — не надо, это озорство. Лишнее..

О своих литературных работах он говорил мало, не охотно; хочется сказать — целомудренно и с тою-же осторожностью, с какой говорил о Льве Толстом. Лишь изредка, в час веселый, усмехаясь, рассказывает тему, всегда — юмористическую.

— Знаете, — напишу об учительнице, она атеистка, обожает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками и суевериями народа, а сама, в двенадцать часов ночи, варит в бане черного кота, чтоб достать «дужку», — косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нем любовь, — есть такая косточка...

О своих пьесах он говорил как о «веселых» и, кажется, был искренно уверен, что пишет именно «веселые пьесы». Вероятно, с его слов Савва Морозов упрямо доказывал:

— «Пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии».

Но вообще к литературе он относился со вниманием очень зорким, особенно-же трогательно — к «начинающим писателям». Он с изумительным терпением читал обильные рукописи Б. Лазаревского, Н. Олигера и многих других.

— Нам нужно больше писателей, — говорил он. — Литература в нашем быту все еще новинка и «для избранных». В Норвегии на каждые 226 человек населения — один писатель, а у нас — один на миллион...



Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям.

Однажды, лежа на диване, сухо покашливая, играя термометром, он сказал:

— Жить для того, чтоб умереть — вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно — уж совсем глупо...

Другой раз, сидя у открытого окна и поглядывая в даль, в море — неожиданно, сердито проговорил:

— Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место полицеймейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет — еще лучше, и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра. В общем — жизнь с каждым днем становится все сложнее и движется куда-то сама собою, а люди — заметно глупеют и все более людей остается в стороне от жизни.

Подумал и, наморщив лоб, прибавил:

— Точно нищие-калеки во время крестного хода.

Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов; пациенты только чувствуют, а врач еще и знает кое-что о том, как разрушается его организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть.



Хороши у него бывали глаза, когда он смеялся, — какие то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы еще мог смеяться так — скажу — «духовно».

Грубые анекдоты никогда не смешили его.

Смеясь так мило и душевно, он рассказывал мне:

— Знаете, почему Толстой относится к вам так не ровно? Он ревнует, он думает, что Сулержицкий любит вас больше, чем его. Да, да. Вчера он говорил мне: не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу. Мне даже неприятно, что Сулер живет у него. Сулеру это вредно. Горький — злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядательная, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому то своему богу. А бог у него — урод, вроде лешего или водяного деревенских баб.

Рассказывая, Чехов досмеялся до слез и отирая слезы продолжал: — Я говорю: Горький добрый! А он: нет, нет, я знаю. У него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и злых. И женщины не любят его, а у женщин, как у собак, есть чутье к хорошему человеку. Вот Сулер — он обладает действительно драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом он — гениален! Уметь любить значит — все уметь...

Отдохнув, Чехов повторил:

— Да, старик ревнует... Какой удивительный!...



О Толстом он говорил всегда с какой то особенной, едва уловимой нежной и смущенной улыбочкой в глазах, говорил понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.

Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана, человека, который бы тщательно записывал

острые, неожиданные и, часто, противоречивые мысли старого мудреца.

— Вот бы вы занялись этим — убеждал он Сулержицкого — Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.

О Сулере Чехов сказал мне:

— Это — мудрый ребенок....

Очень хорошо сказал.



Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — «Душенькой». Он говорил:

— Это — как кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки кружевницы, «вековуши», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево.

Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах.

А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках, и наклоняя голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:

— Там — опечатки...



О Чехове можно написать много, но — необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею. Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал «Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по русски, задумчиво-грустный. Рассказ — для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек — ось мира.

А — скажут — пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб — сладко питает.

★

Убийственны тоскливы ночи финской осени. В саду — злой ведьмой шепчет дождь; он сыплется третьи сутки и, видимо, не перестанет завтра, не перестанет до зимы.

Порывисто, как огромная издыхающая собака, воет ветер. Мокрую тьму пронзают лучи прожекторов; голубые холодные полосы призрачного света пронзают серый бисер дождевых капель. Тоска. И — люди ненавистны. Написал нечто подобное стихотворению.

Облаков изорванные клочья
Гонят в небо желтую луну;
Видно, снова этой жуткой ночью
Я ни на минуту не усну.
Ветвь сосны в окно мое стучится.
Я лежу в постели, сам не свой,
Бьется мое сердце словно птица, —
Маленькая птица пред совой.

Думы мои тяжко упрямы,
Думы мои холодны, как лёд.
Черная лапа б раму
Глухо, точно в бубен, бьет.
Гибкие, мохнатые змеи —
Тени дрожат на полу,
Трепетно вытягивают шеи,
Прячутся проворно в углу.

Сквозь стекла синие окна
Смотрю я в мутную пустыню,
Как водяной с речного дна
Сквозь тяжесть вод, прозрачно синих.
Гудит какой-то скорбный звук,
Дрожит земля в холодной пытке,
И злой тоски моей паук
Трёт в сердце черных мыслей нитки.

Диск луны, уродливо изломан,
Тонет в бездонной черной яме.
В поле золотая солома
Вспыхивает желтыми огнями.
Комната наполнена мраком,
Вот он исчез пред луной.
Дьявол, вопросительным знаком,
Молча встает предо мной.

Что я тебе, Дьявол, отвечу?
Да, мой разум онемел.
Да, ты всю глупость человечью
Жарко разжечь с'умел!

Вот — вооруженными скотами
Всюду оцетинилась земля
И цветет кровавыми цветами
Злобу твою, Дьявол, веселя!

Бешеные вопли, стоны,
Ненависти дикий вой,
Делателей трупов миллионы —
Это ли не праздник твой?

Сокрушая труд тысячелетий,
Не щадя ни храма, ни дворца,
Хлещут землю огненные плети
Стали, железа, свинца.

Все, чем гордился разум,
Что нам для счастья дано,
Вихрем кровавым сразу
В прах и пыль обращено.

На путях к свободе, счастью —
 Ненависти дымный яд.
 Чавкает кровавой пастью
 Смерть, как безумная свинья.

Как же мы потом жить будем?
 Что нам этот ужас принесет?
 Что теперь от ненависти к людям
 Душу мою спасет?



В журнале «Врач» напечатана корреспонденция из Владивостока.

«Здесь среди босяков умер врач А. П. Рюминский. Когда несчастный заболел, его отвезли было в городскую больницу, но там его не приняли за неуплату денег за прежнее время, и А. П. пришлось умирать в участке. Босяки устроили покойному теплые проводы, причем один из них сказал следующую прощальную речь: «Ты жил между нами, покинутый и забытый своими... То горе жизни и те пороки, которые мы носили и делили вместе, были нашим общим несчастьем. И, вот, мы здесь... собрались проводить тебя в желанную для всех нас могилу»...

Я дважды встречал этого человека: в 91-м году около Майкопа, на Лабе, а потом, лет через десять, в Ялте. На шоссе, над Лабою, компания ростовских босяков «била щепенку». Я набрел на них вечером, когда они, кончив работу, готовились пить чай. Толстый бродяга с длинной седой бородой озабоченно прилаживал чайник над маленьким костром; в стороне, под кустами, лежало трое его товарищей и сидел на куче булыжника кто-то в чешуйчатом костюме, в широкой соломенной шляпе и белых туфлях. Он держал в пальцах папиросу, отсекал взма-

хами тоненькой трости серый дымок табака и, не глядя на людей, спрашивал их:

— Так — как-же, а?

На синеватой воде быстрой Лабы колыхались кумачевые отблески зари; рыжая, бритая степь дышала жаром, за рекою сверкали, точно груды парчи, огромные ометы соломы, в туманной дали поднимались к небу лиловые горы, и где-то далеко торопливо тарахтела молотилка.

Человек с опухшим лицом больного водяной грубовато сказал:

— Вы, барин, бросьте очки втирать мне, я сам фельдшер...

— Вот как?

— Да. Так то вот...

— Вот как? — повторил барин, помахивая тростью, отсекая дым. И взглянув на меня странными глазами, спросил:

— А вы кто, молодой человек?..

— Молодой человек, — ответил я; босяки одобрительно взглянули на меня.

Выпуклые глаза «барина» странно ярки и, улыбаясь насмешливой улыбкой, точно присасывались к лицу моему. Этот сухой, хватающий взгляд вызвал у меня неприятное ощущение щекотки и навсегда остался в памяти моей. Тонкое, холеное, чисто выбритое лицо человека было надменно. Когда один из босяков, лениво переваливаясь с бока на бок, коснулся его ног, человек быстро отдернул маленькие ноги свои и предостерегающе поднял трость белой, изящной рукою. На пальце его золотой перстень с крупным опалом, «камнем несчастья», в радужной игре опала было что-то общее с блеском глаз

человека, надменного человека. Ленивеньким, но раздражающим, задорным баритоном он все выспрашивал людей: кто они? Отвечали ему не охотно, грубо, но это не смущало его, он переводил крепко обнимающий взгляд с одного лица на другое и назойливо говорил:

— А что-же будет, если все начнут жить так же безответственно как вы?

— Мне какое дело? — сердито пробормотал фельдшер, а бородатый у костра, спросил хрипящим голосом:

— Вы — кому отвечаете?

И победоносно добавил:

— То — то!

С чудесной быстротою, незаметно, степь покрылась южной ночью, на потемневшем небе вспыхнул густой посев звезд, на реке заколыхался черный бархат, засверкали золотые искры. В торжественной траурной тишине, стал почему-то сильнее слышен горький запах дыма.

Люди, достав из котомок хлеб и вкусное сало, начали есть, а барин, щелкая тростью по своим туфлям, все спрашивал:

— Но что-же будет, если порвать все связи с жизнью?

Седой угрюмо ответил:

— Ничего и не будет.

Где-то за рекою уныло скрипела арба, посвистывали суслики. Костер угасал, красненькие искры прыгали в воздух, бесшумно откатывались в сторону круглые угли сгоревших веток.

— Аркадий Петрович! — донесся издали звонкий, женский голос. Человек с перстнем ловко встал на ноги, сбил пыль с брюк ударами трости и сказав:

— До свидания! — пошел берегом реки в темноту. Его проводили молча.

— Кто это? — спросил я.

— А, чорт его знает...

— Тут, у казаков живет, на даче, что-ли...

— Назвался — доктором.

Отвечали намеренно громко, явно желая, чтоб человек слышал, как говорят о нем. Тоненький, рыжий босяк с язвами на лице, вытянулся на земле вверх лицом и сказал:

— До звезды — не доплюнешь.

А фельдшер сердито проворчал:

— В Турцию надо пробираться, братья. Хороший народ турки. Надоело мне здесь...



...Однажды, не встретив Д. Н. Мамина-Сибиряка в городском саду Ялты, обычном месте наших свиданий, я пошел к нему в пансион и, войдя в комнату Мамина, сразу наткнулся на выпуклые глаза. Яркий блеск их тотчас напомнил мне вечер на Лабее, босяков и доктора в чесунче.

— Вот, знакомьтесь, — сказал Дмитрий Наркисович, махнув на гостя короткой, толстой рукою, — интересная мизма!

Гость приподнял голову и снова опустил ее, упершись подбородком в край стола; так — голова его казалась отрезанной. Сидел он согнувшись, далеко отодвинув стул, руки его были скрыты под столом. С обеих сторон лысого черепа рогато и задорно торчали вихры сивых волос, открывая маленькие уши. Мочки ушей оформлены резко, как будто вспухли. На бритом лице воинственно топорщились серые усы. На нем синяя ру-

баха, оторванный ворот ее не застегнут, обнажает кусок грязной шеи и мускулистое правое плечо. Сидит он так, как будто приготовился перепрыгнуть через стол, а под столом торчат его босые ноги в татарских туфлях. Зорко присматриваясь ко мне, он говорит знакомым, ленивеньким баритоном:

— Есть такой грибок, по латыни его зовут: мерулиус лакриманс, — плачущий; он обладает изумительной способностью втягивать влагу воздуха. Дерево, зараженное им, гниет с чудовищной быстротой. Достаточно, чтоб одна балка построенного вами дома была поражена этим грибом и — весь дом начинает гнить.

Подняв голову, доктор стал медленно высасывать пиво из стакана, двигая острым кадыком; кадык и щеки его были покрыты темной густой шерстью.

Мамин, уже сильно выпивший, внимательно слушал, выкатив свои огромные, круглые глаза. Под его армянским носом дымилась любимая коротенькая трубка, он покачивал головою и сопел, втиснув круглое, тучное тело свое в плетеное кресло.

— Все врет, мназма, — сказал он, когда гость начал пить, а гость, опустошив стакан, снова наполнил его и, облизывая намокшие в пене усы, продолжал:

— Так вот: русская литература нечто очень похожее на этот грибок; она впитывает всю сырость жизни, грязь, мерзость и неизбежно заражает гниением здоровое тело, когда оно соприкоснется с нею.

— А? — спросил Мамин, толкнув меня локтем. — Каково?

— Литература такое-же болезнетворное, гнилостное начало, как этот плачущий грибок, — невозмутимо и настойчиво повторил гость.

Мамин начал тяжело ругать злого критика и, схватив пустую бутылку, застучал ею по столу. Боясь, как бы он не стукнул по лысому черепу гостя, я предложил ему пойти гулять, но гость встал и, бесцеремонно, — кажется, искусственно — зевнул.

— Это я пойду гулять, — сказал он, усмехаясь, и ушел, шагая легко, быстро, как привычный пешеход.

Дмитрий Наркисович рассказал мне, что человек этот привязался к нему в порту, заинтересовал его своим злобным речением и второй день раздражает, всячески порицая литературу.

— Присосался, как пиявка. Отогнать — духа не хватает, все-таки он интеллигентный подлец. Доктор Аркадий Рюминский или Рюмин, фамилия от рюмки, наверное. Умная бестия, злая! Пьет, как верблюд, а не пьянеет. Вчера я с ним целый вечер пил, он рассказал мне, что пришел сюда повидаться с женой, а жена у него, будто бы известная актриса...

Мамин назвал имя громкое в те годы.

— Действительно, она здесь, но, наверное, эта мизантропка врет!

И свирепо вращая глазами он стал издеваться надо мною:

— Это — ваш товар, ваш герой, очень хорош! Лгунище. Все неудачники — лгуны. Пессимизм — ложь потому, что пессимизм — философия неудачников...

...Дня через два, поздно ночью, гуляя на холме Дарсан, я снова встретил доктора: он сидел на земле, широко раскинув ноги, пред ним стояла бутылка вина, и на листе бумаги лежала закуска — хлеб, колбаса, огурцы.

Я снял шляпу. Вадернув голову, он присмотрелся ко мне и приветствовал жестом, воскликнув бойко:

— Ага, узнал! Хотите составить компанию? Садитесь.

И когда я сел, он, подавая бутылку, измерил меня цепким взглядом.

— Из горлышка, стакана нет. Странная штука: как будто я уже встречал вас в детстве моем?

— В детстве — нет.

— Ну, да, я лет на двадцать старше вас. Но, — детством я называю время лет до тридцати; все то время, которое я прожил в условиях, так называемой, культурной жизни.

Барский баритон его звучал весело, слова соскакивали с языка легко. Крепкая, холщевая рубаша солдата, турецкие шаровары и сапоги на ногах показывали, что человек этот хорошо заработал.

Я напомнил ему, где видел его впервые; он внимательно выслушал меня, ковыряя в зубах былинкой, потом знакомо воскликнул:

— Вот как? Чем-же вы занимаетесь? Литератор? Ба! Вот как! Ваше имя? Не знаю, не слышал. Впрочем, я вообще ничего не знаю о современной литературе и не хочу знать. Мое мнение о ней вы слышали у этого, у Сибиряка — он, кстати, удивительно похож на краба! Литература, — особенно русская, — гниль, ядовитое дело для людей вообще, маниакальное для вас, писателей, спсателей, сочинителей.

В этом тоне, но очень добродушно и с явным удовольствием, он говорил долго, я-же слушал его терпеливо, не перебивая.

— Не возражаете? — спросил он.

— Нет.

— Согласны?

— Нет, разумеется.

— Ага! — Возражать мне, это ниже вашего достоинства, так?

— Тоже нет. Но — ниже достоинства литературы.

— Вот как? Это — хорошо...

Запрокинув голову, закрыв глаза, он присосался к горлышку бутылки, выпил, и, крикнув, повторил:

— Это — хорошо. Слышу голос человека церкви. Вот так, когда для кузнеца церковь — кузница, для мятроса — его судно, для химика — лаборатория, только так и можно жить, никому не мешая своей злобой, капризами, привычками. Жить хорошо — значит жить полуслепым, ничего не видя и не желая, кроме того, что нравится. Это — почти счастье, уютный уголок, куда человек воткнулся носом, эдакий маленький, полутемный чуланчик. Шатобриан — читали «Записки из могилы»? — говорит: «Счастье — пустынный остров, населенный созданиями моего воображения».

Он говорил как человек только что освобожденный из камеры одиночного заключения, точно желая убедиться: не забыты ли им слова?

В городе, где-то близко, звучал рояль, по набережной шелкали подковы лошадей, черная пустота висела над городом, вдали ползал золотой жук — огонь судна, напоминая о широте моря. Человек смотрел в даль и глаза его напомнили мне опал перстня, хвастливо блестящий вечером, на берегу Лабы.

— Счастье, это когда человек хорошо выдумал себя и любит выдумку о себе, — не громко говорил он и вспыхивала папироса, освещая тонкий, прямой нос, щетку усов и темный подбородок.

— Любить себя доступно и свинье, собаке, каждому животному, это — инстинкт. Человек должен любить только то, что он сам создал для себя.

Я спросил:

— А что любите вы?

— Мое завтра, — быстро ответил он, — только мое завтра! Я имею счастье не знать, каково оно будет. Вы — знаете это: проснувшись, вы будете писать или делать что-то другое, обязательное для вас, потом увидите толстого рака Мамина или еще каких-то знакомых; вы, наверное, носите ваш костюм уже не первый месяц. А я не знаю, что стану завтра есть, что буду делать, с какими людьми позволю себе говорить. Вы, конечно, думаете, что пред вами алкоголик, беспутный, отверженный человек? Вы ошибаетесь, если так. Я терпеть не могу водку, пью только вино, редко — пиво, и я не отверженный, а — отвергнувший.

Воодушевление этой речи не позволяло сомневаться в искренности человека. Я попросил: не расскажет ли он, что побудило его отвергнуть обычные условия жизни интеллигентного человека? Хлопнув меня ладонью по колену, он шутливо воскликнул:

— Хотите запасть на материальцем?

Затем охотно и немножко хвастливо, любуясь своей речью, как адвокат, он начал рассказ о себе, рассказ, в котором, вероятно, было не меньше правды, чем во всякой другой автобиографии.

— Сознательную жизнь мою я начал ошибкой: увлечением естественными науками, биологией, физиологией, — науками о человеке. Естественно, что это увлечение толкнуло меня на медицинский факультет. С первого же

курса, препарируя трупы, я задумался о ничтожестве человека, почувствовал чью-то злую иронию надо мною, и у меня стала развиваться брезгливость к людям и отвращение к себе, человеку, который обязан быть трупом. Мне следовало бросить это грязное дело, но — я упрям и захотел победить себя. Вы пытались побеждать себя? Это так же невозможно, как отрезав свою голову, заменить ее головою ближнего, это невозможно не только потому, что ближний едва ли согласится на такой обмен.

Ему понравился шутка, он сочно засмеялся, потом, закрыв глаза, глубоко вздохнул соленый, свежий ветер.

— Хорошо пахнет море... И так, я задумался: что такое и где душа, разум и т. д. Скоро мне стало ясно, что разум, на веки полуслепая собака Сатаны, зависит от функций организма, а мир особенно отвратителен, когда у меня ноют зубы, болит голова или печень. Мышление — функционально, только воображение независимо. Это недурно понимал один английский епископ, но — не думайте, что я идеалист или какой либо другой ист. Нестово враждую со всякой философией, хотя — хотя, конечно, понимаю, что философия — неизлечимая болезнь мозга. Кратко говоря, я — человек, который отказался принимать пустяки серьезно, обманывая себя и других. То, что именуется культурой, вся внешняя и внутренняя мишура, увлекающая людей все глубже и далее в хаотическую бесполезность, — впрочем вы, наверное, поклонник культуры? Я не хотел бы огорчить вас...

— Огорчайте, — и разрешил ему, и попросил я. — Мне так хочется понять, что за человек вы?

— Вот как? Ну, что-ж...

Сотней ловко сказанных слов этот человек разрушил культуру в пыль и прах. Он сделал это с веселой

яростью, подобной ярости гимназиста, который, кончив учиться, уничтожает учебник. Свежесть ночи, сжимающая, умаляла доктора; засунув руки в рукава рубахи он скорчился и, тоненький, гибкий, стал похож на подростка. Внизу, далеко, во тьме, повис растрепанный пучок огней, он плыл на север, откуда тьма дышала сыростью. В окнах домов города, вздрагивая, исчезали желтые пятна, и казалось, что дома, один за другим, быстро низвергаются в черноту моря.

— Я был красив, ловок, умел говорить забавно и меня очень любили женщины. На одной из них, актрисе, я женился, когда мне было тридцать лет; женился из упрямства, она любила меня меньше других. В то время я уже чувствовал, что все это: театрики, концертники, разговорчики о литературе, ахи и охи по вопросам политики — не для меня. После того, как увидишь человек двадцать, тридцать, а то и сотню людей, которых неизвестно зачем грызут и убивают мучительнейшие болезни — Чайковский, Островский, Достоевский и прочие подобные, напоминали мне равнодушной и противную старуху Букину, сиделку больницы; она имела гнусную привычку утешать больных и умирающих, сладко рассказывая им «Сон Богородицы». Я чувствовал себя в культуре чем-то вроде приказчика в магазине модных вещей, лично мне эти вещи не нужны, а приходилось возиться с ними, даже пользоваться ими и хвалить: из вежливости. Жизнь суть драка; вежливость же — тот фиговый лист, которым можно прикрыть скотское и звериное в человеке... У меня хорошая талия, я не любил подтяжек, брюки и без них сидели хорошо, а жена требовала, чтоб я носил подтяжки, — все носят! И — представьте! — на этой почве — подтяжки, галстуки, книги

— мы с женою драматически ссорились. Я думаю, что она часто устраивала мне сцены из профессиональных побуждений, для практики. Она часто говорила мне: «О, Аркадий, нигилизм не в моде!» Она — не глупая женщина, и даже говорили, писали — талантлива.

Доктор засмеялся, — не очень весело, как показалось мне. Потом, извиваясь на земле, сказал:

— Кажется, будет дождь, чорт его возьми!

Вынул из кармана брюк войлочную крымскую шляпу и туго натянул ее на свой лысый череп.

— Рассказывать — долго. И — скучно. Мораль — проста: если я осужден на смерть, я имею право жить, как хочу. Человеческие законы совершенно пенужны мне, если стихийный закон всеобщего уничтожения обязательен и для меня. Вы меня встретили там, на Кубани, как раз в те дни, когда я догадывался об этом. Но, разумеется, идея пришла пост фактум, как говорили римляне, лучшие люди мира, ибо всякий сентиментализм, гуманизм и прочее такое было органически, решительно враждебно им. Идеи всегда являются после фактов, их вызывает наша дурная привычка оправдываться, объясняться. Зачем оправдываться? Не знаю. Да. В сущности я отошел, потому что захотел, а объяснение явилось потом. Уродливо много в жизни нашей обязанностей, ответственностей и прочих комедий. Не хочу комедии, сказал я сам себе и раскланялся с культурой. С того дня прошло — лет десять. Я прожил их очень интересно, вполне независимо и надеюсь прожить еще лет десяток. Ну-с, спасибо за компанию и — до свидания в лучшем мире!

— Это — в каком — же?

— О, разумеется — здесь, на земле, но в том, где я живу. Надеюсь, что вы сощетесь, и это возвратит вас на правильный путь, — прочь от пустяков, прочь!

Он быстро пошел вниз, в сторону Мордвиновского парка, и вслед ему стеклянными бусами посыпался дождь, зашуршала трава... Дня два искал я его в кофейнях базара, в ночлежках, в порту, но не нашел. Хотелось еще раз послушать его речи.

Мамин-Сибиряк написал рассказ о встрече босяка-доктора с его женою, знаменитой артисткой. Не помню, как озаглавлен этот рассказ. Босяк изображен в нем несчастнейшим пьяницей и не похож на человека, каким доктор Рюминский захотел показаться мне.

Людей такого типа, — людей, по их словам, сознательно ушедших от «нормальной» жизни — должно быть не мало на Руси. Вот еще заметка «Нового Времени» о человеке, видимо, подобном доктору Рюминскому.

Оригинальный бродяга

Во время одной из облав, устроенных чинами полиции, задержан, — по словам «Варш. Курьера», — оригинальный бродяга, некто Г., человек уже пожилой, лет 50. Все документы его оказались в порядке, и он не мог только указать своего места жительства. По наведенным справкам, Г. оказался состоятельным человеком, любящим сильные ощущения. Интересуясь жизнью бродяг и бездомных, он, после смерти жены, поместил дочь в один из пансионов, а сам начал бродячую жизнь профессиональных бродяг, ночуя в печах кирпичных заводов и т. п. Только зимой, во время сильных морозов Г. возвращается в Варшаву и переживает морозы в одной из гостиниц. Захваченный вместе с толпой бродяг, Г. обещал переменить образ жизни, хотя, — добавил он, — «ручаться за это не могу».

В 90-х годах я собирал заметки на эту тему и собрал их десятка три, но в 905 году пакет, в котором они хранились, отобранный у меня при обыске, был потерян в Петроградском Жандармском Управлении. Лично я встретил таких людей тоже не мало. Особенно памятен для меня «Башка», человек, которого я видел на постройке железной дороги Беслан—Петровск.

В тесной горной щели, среди суетливой толпы рабочих он сразу привлек мое внимание, он сидел на солнечной стороне ущелья, в груде взорванных динамитом камней, а у ног его сверлили, дробили и возили камень пестрые, шумные люди. Полагая, что этот человек «начальство», я пробрался к нему и спросил: нет-ли работы? Тоненьким, сверлящим ухо голосом, он ответил:

— Я не идиот, я не работаю.

Уже не впервые слышал я слова такого тона, они не удивили меня.

— Что-же вы делаете здесь?

— Видишь — сижу, курю, — сказал он, оскалив зубы.

В широкой разлётке, в котелке с оторванными полями, он напоминал летучую мышь. Его маленькие острые уши торчали настороженно. У него большой лягушачий рот; когда он улыбнулся, нижняя губа дрябло опустилась, открыв плотную линию мелких зубов. Это сделало улыбку холодной и злой. Глаза его—необыкновенны: в узком золотистом кольце белков мерцают темные, круглые зрачки ночной птицы. Лицо голое, точно у пастора, ноздри длинного, тонкого носа уродливо сплющены. В длинных пальцах музыканта он держал толстую папиросу, быстрым жестом совал ее в рот, глубоко втягивал дым и кашлял.

— Вам вредно курить.

Он ответил очень быстро:

— А тебе — говорить, сразу видно, что глуп...

— Спасибо.

— Носи на здоровье.

И помолчав минуту, искоса посмотрев на меня, он посоветовал несколько мягче:

— Уходи, здесь работы нет!

В небесах над ущельем озабоченно хлопотал ветер, сгоняя облака, точно стадо овец. На солнечной стороне ущелья качались рыжие, осенние кусты, сбрасывая мертвый лист. Где-то близко рвали камень, гулкий гром перекачивался по горам; визжали колеса тачек, мерно стучал молот, загоняя в горную породу стальные «иглы», высверливая глубокие дыры для зарядов.

— Жрать хочешь? — спросил горбун. — Сейчас засвистят к обеду. Сколько вас шляется по земле, — заворчал он, сплюнув.

Пронзительный свисток разрезал воздух, — точно металлическая струна хлестнула по ущелью, заглушив все звуки.

— Иди, — сказал горбун.

Быстро разбрасывая по камням свои руки, ноги, ловко цепляясь ими, он, точно обезьяна, безшумно и уродливо скатился вниз. Обедали сидя на камнях и тачках вокруг котлов, ели кашу из проса с бараньим салом, горячую и очень соленую. За нашим котлом шесть человек, не считая меня. Горбун вел себя, как властный имущий; отдавая кашу, он сморщил голое свое лицо, и, грозя ложкой старику в дамской соломенной шляпе, закричал сердито:

— Опять пересолил, подлец!

Пятеро людей зарычали, большой черный мужик предложил:

— Вдуть его надо...

— Кашу варить можешь? — спросил меня горбун. — Не врешь? Смотри-же! Вот этого попробуем, — распорядился он, и все согласились с ним.

После обеда горбун ушел в барак, а старик кашевар, добродушный и красноносый, показывая мне, где лежит сало, просо, хлеб и соль, в полголоса говорил:

— Ты не гляди, что он горбат, он барин, помещик, предводителем дворянства был, да-а! Голова! Он у нас вроде-бы старосты, да-а! Все счета-расчеты ведет, уж строгой! Он — редкой, да-а...

Через час в ущелье снова загрохотала работа, забегали люди, а я стал мыть в ручье котлы и ложки, зажег костер, повесил над ним чайники с водой, потом принялся чистить картофель.

— Был поваром? — раздался тонкий голос горбуна; он подошел не слышно, встал сзади и внимательно смотрел, как я действую ножом. Когда он стоял, его сходство с летучей мышью увеличивалось.

— В полиции не служил? — спросил он и тотчас-же сам себе ответил:

— Впрочем — молод.

Взмахнув крыльями разлетайки, точно нетопырь, он прыгнул на камень, на другой, быстро взобрался на гору и сел там, густо дымя папирсой.

Моя стряпня понравилась, рабочие похвалили меня и разбрелись по ущелью, трое начали играть в карты, человек пять стали мыться в горном холодном ручье; где-то, среди камней и кустов, запели казацкую песню. В этой группе было двадцать три человека, считая меня

и горбуна, все они обращались к нему на «ты», но уважительно и даже, как будто, со страхом.

Он молча сел на камень у костра, разгребая угли длинной палкой, около него, не спеша, собралось человек десять; черный мужик, точно огромная собака, растянулся у его ног, тощенький, бесцветный парень просительно сказал:

— Да, не возитесь! Тише...

Горбун заговорил, ни на кого не глядя, внушительно и звонко:

— Значит: сеть судьбы, подсудбинки и доли...

Я удивленно взглянул на него, заметив это, он строго спросил:

— Ну?

Все уставились на меня, чего-то ожидая; смотрели — неприязненно. Помолчав, плотнее окутав плечи, горбун продолжал:

— Доли, это вроде ангелов хранителей, только их представляет к человеку Сатана.

— А — душа? — тихонько спросил кто-то.

— А душа — птица, которую ловит Сатана, — вот!

Говорил он чепуху, но — страшную. Он, видимо, знал статью Потебни «О доле и сродных с нею существах», но серьезное содержание научной статьи у него смешалось со сказками и мрачными вымыслами. К тому же он скоро утратил простоту речи и заговорил литературно, почти изысканным языком.

— С начала дней своих человечество окружено таинственными силами, понять их оно не может, бороться с ними — не умеет. Древние греки...

Его острый, напряженно звенящий голосок, непонятные сочетания слов и, должно-быть, жутковатый внеш-

ний облик его, — все это действовало на людей подавляюще: они слушают молча и смотрят в лицо учителя, как верующие на икону. Птичьи глаза горбуна мерцают напряженно, дряблая губа его шевелится и, как будто, пухнет, становясь все толще, тяжелее. И мне кажется, что в его мрачных выдумках есть нечто, чему он сам верит и чего боится. Лицо его умывают красноватые отблески костра, а оно становится все более темным и угрюмым.

Над ущельем недвижимо повисли серые облака; в сумраке огонь костра густеет, становясь все красней, камни растут, суживая глубокую щель горы. За спиною у меня ползет, плещет ручей и что-то шуршит, — точно ёж идет в сухой траве.

Когда стало совсем темно, рабочие, озираясь, пошли в барак, кто то сокрушенно, в полголоса сказал:

— Вот она, наука-то...

Ему — еще тише — ответили:

— До чертей дошла...

Горбун остался у костра, ковыряя палкой угли. Когда конец палки загорался, он, подняв ее, держал в воздухе, как факел и смотрел совиными глазами на желтые перья огня. Перья, отрываясь, улетали в воздух, тогда он быстро крутил палкой и в воздухе, над головой его, являлся красный нимб. Голова его, в котелке без полей, напоминала чугунную гирию, воткнутую дужкой в широкие плечи горбуна.

Два дня наблюдал я, стараясь понять: что это за человек? Он тоже присматривался ко мне подозрительно и зорко, но не разговаривал со мною и на вопросы мои отвечал грубо. После ужина, у костра, он рассказывал людям утрашающее:

— Тело человека построено как пемза, или губка или хлеб, оно ноздревато, понимаете? И по всем ноздрям его течет кровь. Кровь—жидкость, в которой плавают миллионы невидимых глазу пылинки, но пылинки эти живые, как мошки, только — мельче мошек.

И, повысив голос почти до визга, он сказал:

— Вот в эти пылинки и вселяются черти!

Я хорошо видел, что его рассказы пугают людей. Мне хотелось спорить с ним, но когда я ставил ему вопросы, он не отвечал мне, а слушатели, толкая меня ногами и локтями, ворчали:

— Молчи!

Если осколок камня рассекал человеку кожу на лице или на ноге, горбун таинственным шопотом заговаривал кровь. У одного парня вздулся огромный флюс, горбун слазил на гору, собрал там каких-то корней, трав, сварил их в чайнике, сделал из бурой, горячей кашицы припарку и, трижды перекрестив парня, сказал что то смешное о камне Алатыре и о том, как Аллилуйя сидела на нем.

— Ну, ступай!

Я не заметил, чтоб он усмехнулся, хотя он имел достаточно оснований смеяться над людьми. Его лицо всегда было недоверчиво надут и уши насторожены. С утра он влезал на солнечную сторону ущелья и черной птицей сидел там в камнях, покуривая, наблюдая за возней людей внизу. Люди иногда звали его:

— Башка!

Он быстро скатывался оттуда, и меня всегда удивляла ловкость, с которой он цеплялся руками и ногами за камни, изуродованные динамитом. Он примирял ссоры, беседовал с десятником и его тонкий голосок не тонул в грохоте работы.

Десятник, толстый человек с деревянным лицом солдата, слушал его почтительно.

— Кто этот человек? — спросил я десятника, когда он раскуривал трубку у костра. Оглянувшись, он ответил осторожно:

— Пес его знает. Колдун, что-ли. Оборотень какой-то...

Все-таки мне удалось побеседовать с горбуном. Когда он, прочитав очередную лекцию о чертях и микробах, о болезнях и преступлениях, остался у костра, я спросил его:

— Зачем вы говорите им все это?

Он взглянул на меня сморщив переносье, отчего нос стал еще острее, и горящей палкой хотел ткнуть в ногу мне. Отодвинув ногу, я показал ему кулак. Тогда он уверенно пообещал мне:

— Завтра тебя вздуют.

— За что?

— Вздуют.

Странные глаза его сердито блеснули, дряблая губа отвалилась, обнажив зубы, он сказал:

— У-у, р-рожа!

— Нет, серьезно! Ведь не верите-же вы в эту чепуху?

Он долго молчал, ковыряя палкой угли, размахивая ею над головою своей и снова над нею мелькал, кружился красный нимб.

— В чертей? — неожиданно спросил он. — Почему же не верить в чертей?

Голосок горбуна звучал ласково, но фальшиво, и смотрел он на меня не хорошо.

— Велит избить, — подумал я.

А он, все так-же ласково, стал спрашивать: кто я, где учился, куда иду? И, видимо, незаметно для себя, изменил тон, в словах его я почувствовал барское снисхождение, смешную небрежность «высшего» к «нижнему». А когда я снова спросил его о вере в чертей, он, усмехаясь, заговорил:

— Ведь ты веришь во что-нибудь? В Бога? В чудеса?

И — подмигнув:

— Может быть — в прогресс, а?

Огонь румянил его желтое лицо и над верхней губой сверкали серебряные иголочки редких, коротко подстриженных усов.

— Семинарист? Сеешь в народе «разумное, доброе, вечное»? Так?

Качнул головою, добавив:

— Дурачина! Я сразу понял, какая ты птица, я знаю эти ваши штуки...

Но говоря, он подозрительно озирался, и что-то беспокойное явилось в нем.

На золоте углей извивались лиловые языки, цвели голубые цветы. В темноте над костром возник светлый колокол, мы сидели под его куполом, отовсюду на него давила сыроватая тьма, он дрожал. Тяжелая тишина осенней ночи наполняла воздух, разорванные камни казались сгустками тьмы.

— Подложи дров.

Я бросил на угли охапку сучьев, колокол наполнился густым дымом, стало еще темнее и тесней, потом сквозь сучья с треском поползли желтые змеи, свились в клубок и, ярко вспыхнув, раздвинули границы тьмы. И в то же время раздался голос горбуна, первые слова его

прозвучали не ясно, исчезли, не понятые мною. Он говорил тихо, как будто засыпая.

— Да, да, — не шутка... Такая-же действительность, как люди, тараканы, микробы. Черти бывают разных форм и величин...

— Вы — серьезно?

Он не ответил, только качнул головою, как-бы стукнул лбом по невидимому, беззвучному, но твердому. И глядя в огонь, тихонько продолжал:

— Есть, например, черти лиловые; они бесформенны, подобны слизнякам, двигаются медленно, как улитки, и полупрозрачны. Когда их много, их студенистая масса похожа на облако. Их страшно много. Они занимаются распространением скуки. От них исходит кислый запах, и на душе делается сумрачно, лениво. Все желания человека враждебны им, все...

— Шутит? — подумал я. Но, если он шутил, то — изумительно, как тонкий артист. Глаза его мерцали жутковато, костлявое лицо заострилось. Он отгребал угли концом палки и легкими ударами дробил их, превращая в пучки искр.

— Черти голландские — маленькие существа цвета охры, круглые, как мячи, и лоснятся. Головки у них сморщены, как зерно перца, лапки длинные, тонкие, точно нитки, пальцы соединены перепонкой и на конце каждого красный крючок. Они подсказывают странное: благодаря им, человек может сказать губернатору — дурак! изнасиловать свою дочь, закурить папиросу в церкви, да — да! Это — черти неосмысленного буйства...

— Черти клетчатые — хаос разнообразно кривых линий; они судорожно и непрерывно двигаются в воздухе, образуя странные, ими-же тотчас разрушаемые узоры,

отношения, связи. Они страшно утомляют зрение. Это похоже на зарево. Их назначение — пресекать пути человека, куда-бы он ни шел... куда-бы ни шел...

— Драповые черти напоминают формой своей гвозди с раздвоенным острием. Они в черных шляпах, лица у них зеленоватые и распространяют дымный, фосфорический свет. Они двигаются прыжками, напоминая ход шахматного коня. В мозгу человека они зажигают синие огни безумия. Это — друзья пьяниц.

Горбун говорил все тихе и так, как будто-бы затверживал урок. Жадно слушая, я недоумевал, что это: болтовня шарлатана или бред безумного?

— Страшны черти колокольного звона. Они — крылаты, это единственно крылатые среди легионов чертей. Они влекут к распутству и даже внешне напоминают женский орган. Они мелькают, как ласточки и, пронизывая человека, обжигают его любовным страстием. Живут они, должно быть, на колокольнях, потому что особенно яростно преследуют человека под звон колоколов.

— Но еще страшнее черти лунных почей. Это — пузыри. В каждой точке окружности каждого из них, непрерывно возникает, исчезает одно и то же лицо, прозрачно голубоватое, очень печальное с вопросительными знаками на месте бровей и круглыми глазами без зрачков. Они двигаются только по вертикали вверх и вниз, вверх и вниз и внушают человеку неотвязную мысль о его вечном одиночестве. Они внушают: на земле, среди людей я живу только еще в предчувствии одиночества. Совершенное же одиночество наступит для меня после смерти, когда мой дух унесется в беспредельность вселенной и там навсегда, неподвижно прикованный к одной точке ее, ничего, кроме пустоты, не видя, будет навеки осуж-

ден смотреть в самого себя, вспоминая свою земную жизнь до ничтожных мелочей. Тысячелетия — только это одно: всегда жить воспоминаниями о печальной глупости земной жизни. И — неподвижность. Пустота...

Он держал палку в костре неподвижно, и зубастые огоньки тихонько подбирались по ней к его руке. Когда коже руки стало горячо, горбун, вздрогнув, взмахнул палкой, согнал с нее огни, соскреб угольки обгоревшего конца палки о камни, — она густо дымилась. Потом он снова пачал дымящейся палкой отгребать угли из костра и дробить их, брызгая искрами. Замолчал.

Прошла минута, две. Было очень странно. Я спросил:

— Вы серьезно верите...

Он не дал мне кончить, крикнув звонко:

— Пошел прочь!

И погрозил мне дымившейся палкой:

— Завтра вздуют тебя!

Этого мне не хотелось, но я был уверен, что это вполне возможно. И когда горбун отправился в барак, спать, — я ушел по дороге во Владикавказ.

II

17-й год, февраль.

Брызгая грязью на стены домов, на людей, по улице мчатся с грохотом и ревом автомобили. Они туго набиты солдатами, матросами и оцетинились стальными иглами штыков; точно огромные, взбесившиеся ежи. Иногда сухо щелкают выстрелы. Революция. Русский народ суетится, мечется около свободы, как будто ловит,

ищет ее где-то вне себя. В Александровском саду одиноко работает садовник, человек лет пятидесяти; коренастый, неуклюжий, он спокойно сметает лист и сор с дорожек и клумб, сгребает подтаявший снег. Его, видимо, ни мало не интересует бешеное движение вокруг, он как-бы не слышит рев гудков, крики, песни, выстрелы, не видит красных флагов. Наблюдая за ним, я жду, когда он поднимет голову, чтоб посмотреть на людей бегущих мимо него, на грузовики, сверкающие штыками. Но согнувшись, он упрямо работает, точно крот, и, кажется, так же слеп.

Март.

По улице, по дорожкам сада, направляясь к Народному дому, медленно шагают сотни, тысячи серых солдат, некоторые из них везут за собой на веревочках пулеметы, точно железных поросят. Это пришел из Ораниенбаума какой-то неисчислимый пулеметный полк; говорят, что людей в нем более десяти тысяч. Им некуда девать себя, они с утра бродят по городу, ищут пристанища. Обыватели боятся их, — солдаты устали, голодны и злы. Вот несколько человек уселось и разлеглось по краям большой, круглой клумбы, разбросав на ней пулеметы, ружья, вещевые мешки. Не спеша, к ним подходит с метлой в руках садовник и сердито увещевает:

— Ну, где разлеглись? Тут — клумба, цветы посажены будут. Ослепли? Детское место. Вставай, уходи!

И сердитые, вооруженные люди покорно сползают с клумбы.

Июль, 6-ое.

Солдаты, в металлических племах, вызванные с фронта, окружают Петропавловскую крепость; не торопясь, они идут по торцам дороги, по саду, тащат пулеметы,

небрежно несут ружья. Иногда, тот или другой, добродушно покрикивает обывателям:

— Расходись, сейчас стрелять будут!

Горожанам хочется посмотреть сражение, они молча, крадущейся лисьей походочкой, идут по следам солдат, прячутся за деревьями и вытягивают шеи, жадно заглядывая вперед.

В Александровском саду на куртинах цветут цветы, по дорожкам сада ходит садовник. Он в чистом переднике, в руках у него лопата, он покрикивает на зрителей и солдат, как на баранов.

— Куда? Куда лезешь на траву? Нет вам места по дороге?

Бородатый, железноголовый мужик в солдатской форме, держа ружье под мышкой, говорит садовнику:

— Гляди, дядя, застрелим...

— Иди, знай! Застрельщик...

— Воюем, брат...

— Ты воюй, а у меня свое дело.

— Это так. Покурить — нету?

Доставая из кармана кисет, садовник громко ворчит:

— Ходите, где нельзя.

— Война!

— Мало-ли что! Воевать — просто, а я тут — один. Ты, вот, ружье-то почистил-бы, заржавлено ружье-то...

Вережит свисток, солдат, не успев закурить, бежит между деревьями, а садовник, плюнув вслед ему, кричит:

— Куда те черти понесли? Нет тебе дороги?..

Осень.

Садовник ходит по аллее с лестницей на плече, с ножницами в руках, подстригает деревья. Он похудел, с'ежился, платье на нем висит, как парус на мачте в

безветренный день. Ножницы, перекусывая голые ветки, щелкают громко, сердито.

Глядя на него, я подумал, что ни землетрясение, ни всемирный потоп не могли-бы помешать этому человеку делать его дело. И если-б оказалось, что трубы архангелов, возглашающих конец мира, день страшного суда, не достаточно ярко блестят, человек этот, наверное, деловито и сурово упрекнул-бы архангелов:

— Трубы-то почистили-бы...

III

Ночью, в грязненьком трактире, в дымной массе полупьяных, веселых людей, человек, еще не старый, но очень помятый жизнью, рассказал мне:

— Погубил меня телеграфист Малашин.

Наклонил голову в измятой кепке жокея, посмотрел под стол, передвинул большую ногу свою, приподняв ее руками и длительно, хрипло вздохнул.

— Телеграфист Малашин, да. Благочинный наш именовал его нелепообразным отроком, девицы — Малашей. Был он маленький, стройный, розовые щеки, карие глаза, брови — темные, руки — женские; писанными красавцами называют таких. Веселый, со всеми ласковый, он был очень заметен, даже, пожалуй, любим в нашем городишке, где три тысячи пять сот жителей не спеша исполняли обыкновеннейшие обязанности людей. В двадцать лет от роду моего проникся я скукой жизни до немоты души; очень уже раздражала и даже пугала меня тихая суета людей, не понятен мне был смысл этой суеты, смотрел

я на все недоуменно и, однажды, в порыве чувства, написал рассказ «Как люди живут». Написал и послал рукопись в журнал «Ниву». Ожидал решения судьбы недели, месяц, два и махнул рукой: эти штучки не для нашей внучки!

А месяца через три, может быть и больше, встречаю Малашина:

— У меня, — говорит — для тебя открытка есть.

Подал мне открытое письмо, а на нем написано:

«Рассказ Ваш скучно написан и его нельзя признать удачным, но, повидимому, у Вас есть способности. Пришлите еще что нибудь».

Не стану говорить, как я обрадовался. Малашин любезно рассказал, что открытка уже третий день у него. «Случайно», — говорит — захватил на почте, чтоб передать тебе, да все забывал. Так ты, — говорит — рассказы пишешь, в графы Толстые метишь?

Посмеялись и разошлись. Но уже в тот-же день, вечером, когда я шел домой, дьякон, сидя у окна, крикнул мне:

— Эй, ты, писатель! Я т-тебя!

И погрозил кулаком. В радости моей я не взвесил дьяконов жест. Знал я, что это человек фантастический: в молодости он стремился в оперу, но дальше регента в архиерейском хоре не пошел и в губернии не мог составить карьеры себе, страдая наклонностью к свободе действий. Пил он, и в пьяном виде, на пари, бил лбом грецкие орехи, мог разбить целый фунт орехов, так что кожа на лбу у него лопалась. Носил в кармане железную коробочку с продуктами летом — для лягушат, а зимою для мышей и, улучив удобную минуту, пускал зверюшек этих дамам за шивороты. Шутки эти прощались ему за веселый его

прав и за то, что он удивительно знал рыбий характер, чудесный был рыболов! Но сам рыбу не ел, боясь подавиться костью, и пойманное дарил знакомым, чем весьма увеличивал любовь к нему.

— Так вот, — обрадовался я. Был я в ту пору юноша скромный, характера задумчивого, собою не красив.

Он прижал губами жиденькие, выцветшие усы, прищурил желтые белки скучных глаз и дрожащей рукою стал бережно наливать рюмку водки. В двадцать лет он был, вероятно, неуклюж, костляв, серые вихрастые волосы его были, видимо, рыжими, мутные глаза — голубыми. И — множество веснушек на лице. Теперь его дряблые щеки густо исчерчены сложным узором красных жилок, сизый нос пьяницы печально опускался на усы. Водка уже не возбуждала его. Он бормотал натужно и как-бы сквозь сон.

— Почувствовал я себя красавцем, значительной фигурой. Еще-бы: имею способности редкого качества! Душа моя запела жаворонком. Начал жестоко писать, ночи на пролет писал, слова с пера ручьем текут. Радость! Замечаю, что горожане стали смотреть на меня особенно внимательно. Ага, думаю...

Малашин пригласил меня в гости к акцизному, а у того — дочь, бойкая такая барышня. Ну и еще разная молодежь. Интересуются мною, спрашивают:

— Пишете? Пожалуйста — чаю! В накладку!

Ого, думаю, в накладку даже!? Размешивал чай ложечкой, хлебнул — что такое? Солоно. Так солоно, что даже горько. До отвращения. Все таки пью, по скромности моей. И вдруг все, хором, захохотали, а Малашин просмеялся и говорит:

— Как-же это? Писатель должен уметь различать все вещи, а ты соль от сахара не можешь отличить, как-же это?

Я сконфузился, увял; эх, думаю...

— Это — говорю — шутка, конечно...

Они еще больше хохочут. Потом стали уговаривать меня, чтоб я стихи читал, — я и стихи сочинять пытался. Малашин знал это. Уговаривают:

— Поэты в гостях всегда стихи читают, и вы обязаны.

Но тут мордастый сын головы вмешался; сказал:

— Хорошие стихи пишутся только военными.

Барышни стали доказывать ему, что он ошибается, а я незаметно ушел. И с этого вечера всем городом начали меня травить, как чужую собаку. В первое-же воскресенье встретил я дякона, идет с удочками, попирая землю, как чудовищный слон.

— Стой, — кричит. — Пишешь, дурак? Я, — говорит, — три года в оперу готовился и вообще не тебе чета, а ты — кто? Муха ты! Такие — говорит — мухи только засиживают зеркало литературы, сволочь... — И так изругал меня, что мне даже обидно стало. За что? — думаю.

— Через некоторое время тетка моя, — я сирота, у тетки жил: — что это говорят про тебя будто пишешь ты? Бросил-бы, тебе жениться пора...

Пытался я объяснить ей, что в деле этом ничего зазорного нет, что даже графы и князья пишут и вообще это запятие чистое, дворянское, но она заплакала; взывает: Господи, и кто, злодей, научил тебя этому?

А Малашин, встречая меня на улице, орет:

— Здравствуй, без четверти граф Толстой!

Сочинил глупенькую песенку и, при виде меня, молодежь города зудит:

Все пташки, канарейки
Прежалостно поют,
Хотя им ни копейки
За это не дают...

Эх, думаю, попал жук под копыто!

Так дразнят, — на улицу показаться нельзя. Особенно — дьякон, освищепел, того и жди, отколотит.

— Я, — рычит, — три года, а ты, негодяй...

Бывало, ночами, сижу я над рекой, соображаю:

— Что такое? За что?

Над рекой уединенное место было, мысок, и на нем ольховая роща, так я заберусь туда и, глядя на реку, чувствую, будто вода эта темная, омыв город, сквозь мою душу течет, оставляя в ней осадок мутный и горький.

Была у меня знакомая девушка, золотошвейка, ухаживал я за ней с чистым сердцем, и казалось, что я тоже приятен для нее. Но и она стала кукситься, осторожно спрашивает меня:

— Правда, что будто вы что то написали в газеты про нас, про город?

Кто вам сказал?

Поёжилась она и рассказала:

— Писательство ваше у Малашина в руках, и он его всем читает, а над вами смеются и даже хотят бить, за то, что вы графу Толстому предались. Зачем вы Малашину дали писательство это?

Подо мной земля колыхнулась; у-ю-юй, думаю! Там у меня и про акцизного, и про дьякона, про всех, без ра-

дости, говорится. Конечно, несчастное писание мое я Малашину не давал, он сам взял рукопись на почте. Тут любезная моя еще подлила мне горечи:

— За то, что я гуляю с вами, подруги смеются надо мной, — так что, я уж не знаю, как мне быть.

— Эх, — думаю я. Иду к Малашину:

— Отдай рукопись, пожалуйста!

— Ну, зачем она тебе — говорит, — если ее забраковали!

Не отдал. Нравился мне этот человек, замечаю я, что как ненужные вещи приятнее полезных, так-же, иногда, приятен нам и вредный человек. И еще пример: нет битюга дороже скаковой лошади, хотя люди живут трудом, а не скачками,

— Наступили Святки, пригласил меня Малашин рядиться, нарядил чортом, в полшубок шерстью вверх, надели мне на голову козлиные рога, на лицо — маску. Н-ну, плясали мы и все прочее, вспотел я и чувствую: нестерпимо щиплет мне лицо. Пошел домой, а меня на улице обогнали трое ряженных и кричат:

— Ох, чорт! Бей его!

Я — бежать. Конечно — догнали. Избили меня не сильно, но лицо горит — хоть кричи! Что такое? Утром подполз я к зеркалу, а рожа у меня неестественно багровая, нос раздуло, глаза опухли, слезятся. Ну, думаю, изуродовали! Они маску-то изнутри смазали чем-то едучим и когда вспотел я, мазь эта начала мне кожу рвать. Недель пять лечился, думал, глаза лопнут. Однако, — ничего, прошло.

Тогда я догадался: нельзя мне оставаться в городе. И тихонько ушел. Гуляю с той поры вот уже тринадцать лет.

Он зевнул и устало прикрыл глаза. Он казался человеком лет пятидесяти.

— Чем вы живете? — спросил я.

— Конюх, служу на бегах. Даю материал о лошадях репортеру одному.

И, улыбаясь медленно, доброй улыбкой он сказал:

— До чего благородные животные лошади! Сравнить не с чем лошадей. Только, вот, одна ногу разбила мне...

Вздыхнув, он тихо добавил, точно строчку стиха прочитал:

— Самая любимая моя...

IV

В массе народопоклонников, которых я встретил на путях моей жизни, особенно памятен мне ветеринар Милий Самойлович Петренко.

Высокий, сутулый. Длинное, до пят, узкое пальто из парусины неестественно увеличивает его рост. Бритое лицо украшено пышными усами, концы их картинно спускаются на грудь. Из под густых бровей непреклонно и сурово сверкают светлые глаза. Выпуклый лоб глубоко распахан морщинами, на голове буйно торчат жесткие ключья сивых волос, они прикрыты выцветшей, широкополой шляпой, шляпа сдвинута на затылок, и это придает старику задорный, боевой вид.

Я познакомился с ним в 903 г. в Седлеце, у М. А. Ромаса, и Петренко пожелал ознакомить меня с «работой его жизни». Холостяк, он снимал комнату в деревянном, грязеньком домике извозчика-еврея; против окон этой

печальной комнаты внушительно возвышались красные, солиднейшие стены Седлецкой тюрьмы.

Размахивая руками, длинными как весла, ветеринар усадил меня к столу и зарычал глубоким басом, произнося каждое слово отдельно:

— Сура. Пива. Две.

Бросил шляпу в угол, на койку, достал из маленького желтого комода толстую тетрадь в клеенке и, гулко крикнув, начал:

— Вот. Называется:

«Несколько соображений по вопросу об усвояемости пищевых веществ едоками различных сословий. Социально-экономический очерк».

Частью — рассказывая, иногда — читая, он в течение добрых полутора часов знакомил меня со своей работой. Она была основана на химическом исследовании экскрементов. Ее выводы убедительно, длинными столбцами цифр утверждали, что чем выше стоит человек на ступенях социальной лестницы, тем хуже он переваривает пищу, тем большее количество выбрасывает его кишечник ценных веществ не усвоенными организмом. А — наиболее преступно ведут себя, в этом отношении, чиновники и особенно — юристы: желудок юриста переваривает менее 50 процентов поглощенной им пищи, все же остальную извергает без пользы для себя и явно во вред хозяйству государства.

— Сидячая жизнь! — победно рычал Петренко. — Ненормальная деятельность желчной железы. Все чиновники — желчны.

Хлопая по страницам тетради широкой ладонью, с кустиками серых волос на сгибах пальцев, ветеринар торжествовал:

— Расчет таков: четыре фунта в день. Три пуда в месяц. Тридцать шесть в год. На едока. Двадцать пудов липших. Беру среднюю продолжительность жизни едока минимально — тридцать лет. Хо!

И понизив голос до глубочайшей октавы, он с гневом и ужасом загудел:

— Привилегированные сословия, о? Так называемые. Бесплезно уничтожают пищу, о! В количестве нескольких миллионов пудов в год. Грabeж, о!

Далее он неопровержимо доказал, что наиболее идеально усваивает питательные вещества желудок мужика, — в отбросах мужичьего кишечника непереваренная пища почти совершенно отсутствует.

— Мужик усваивает все. Целиком. До нуля!

Встал со стула и, махая рукой над головой моей, зафыркал:

— Цифры! Мужичье слово: дармоеды, имеет глубочайший научный смысл. За мужика — цифры! Доказано цифрами. Кто может опровергнуть цифры? Правда всегда в цифрах. В корне точных наук цифры!

Когда он произносил слово «цифры», его пышные усы победоносно раздувались. Он сел, вылил под усы стакан пива, вытер рот полою пальто и продолжал, стучая по тетради крепким пальцем:

— Здесь р-радикальное р-решение пр-роблемы р-рационального питания населения России. Понимаете? Хо-хо! Мы можем или сократить труд мужика на 50%, или кормить весь мир. На выбор. Потому что: мужик испражняется честно. Он честно переваривает пищу, о! Мужик — первоначальная субстанция всякого социального тела, о! Он святее. Все — его плоть. Его кровь, о!

Снова вскочив со стула, он дважды стукнул кулаком в стену, тотчас же в приоткрытую дверь заглянули три рыженькие головки, три чумаые мордочки. Одна из них тоненьким голосом что-то спросила непонятными словами еврейского языка. Ветеринар вытащил откуда-то измятую рублевку и, показав детям четыре пальца, командовал:

— Четыре. Не бултыхайте.

Подбежал кудрявый мальчуган лет семи, схватил бумажку, смачно плюнул на нее и стал аккуратно расправлять рублевку на ладони.

— Ша! — крикнул старик, но это не испугало детей.

Я спросил:

— Вы не читали статейку об идеалах и идолах?

— Не помню. Нет. Марксистская?

Глаза его расширились, нос покраснел, и над бровями явились тоже красные пятна:

— Маркса — не люблю. Марксистов — ненавижу. Враги народа. Еврейское учение. Я — антисемит. Юдофоб, о! Евреи — паразиты. Как все неземледельческие народы. Христианство — еврейская ловушка. Нитцше — прав. Христос — яд. Обессиливать. Родина человека — земля. Человек это мужик, все от мужика, все сквозь мужика, о! Вот моя вера. Толстой путает. Вера, это когда просто. Просто и ясно. Юзова — знаете? Каблица? Читали? О! Честный мыслитель. Я его знал. В молодости. Мудрый человек. Любил. Знал. Верил.

Я спросил:

— Вы не пробовали напечатать ваши работы?

— Нет. Беден. Посылал в журналы. Не берут. Понятно! Интеллигенция. Паразитивное образование. В

сущности, в глубине разума — относится к мужику враждебно. Рассматривает его, как физическую силу. Как оружие. И — только. Мечтает его силой захватить власть, о! Шулера!

Он ударил по столу кулаком, стаканы, негодуя, зазвенели.

— Мужик чувствует это. Он не пойдет за интеллигенцией. У него свой путь. Свой ум. Все, что не он — лишнее. Он знает это, о!

Вбежали дети. Старший тащил две бутылки, двое других — по одной. Старик, ухмыляясь, мягко заворчал:

— Мотыка! Я-ж сказал: не бултыхай бутылки!

И, погладив рыжие кудри мальчнн, сунул в ладку его какие-то монеты, а когда тот, взвизгнув и подпрыгивая, убежал, ветеринар проводил его широчайшей улыбкой, говоря:

— Люблю этих. Честно переваривают пищу. Еврейские дети — милый народ, о!

— Вы-же юдофоб?

Он, усмехаясь, мотнул головой:

— Теоретически. Конечно, евреи — ни к чорту! Ужасно живут. Но — если дать им земли...

Навалился грудью на стол и умоляюще глядя на меня светлейшими глазами фанатика попросил:

— Дайте земли! Всем. Всю. Больше — ничего. Земли! Все остальное приложится. Жизни пачата мужиком. К идеалу приведет ее только мужик, о! Города — ошибка. История — ошибка. Надо все сначала...

Резким жестом он схватил бутылку и, наливая в стакан теплое пенное пиво, сказал более спокойно:

— Ничего! Мужик — все поправит...

Потом он снова заговорил о рациональном усвоении пищи, долго рассказывал мне о премудрости желудков лошадей, коров, особенно восхищался желудком овцы и кончил речь свою густым, страстным восклицанием:

— Духовная энергия — результат работы желудка и кишек! Только это. Ничто иное, о!

А когда я уходил от него, он сказал прощаясь:

— Надо честно переваривать пищу! В этом — все. Мужик доказал это. Х-хо! И — как доказал!..

V

...На обрывке «Нового Времени» от 14-го июня 1915 года я прочитал:

«Поднимаю перископ, смотрю, вижу зеленую волну-ющуюся рожь и синие пятна васильков, раскиданные посреди нее. Несколько дальше дорога, обсаженная деревьями. Поперек ее и дальше, через все поле, тянется низенький валик желтой земли. Это и есть вражеский окоп. Там сидят немцы. Отсюда до них будет шагов двести.

Я спрашиваю:

— Можно ли увидеть отсюда немецкую каску, над гребнем вала?

Можно, но это бывает редко, очень редко, особенно днем. У нас тоже шутить не любят и следят за противником в оба глаза. Есть такие специалисты. И тут же мне показывают одного из них.

Маленький, невзрачный солдатик, на вид сонный и вялый, сидит неподвижно у бойницы, защищенный от пуль неприятеля стальным щитом. Сидит и пристально смотрит в щелку. В этом положении он проводит целые дни. Никто его не назначал сюда, никто его не принуждает, а просто у него уж такое пристрастие. Как раз в эту бойницу, и только в нее, видна ло-

пинка, по которой немцы ходят за водой. Ходят, разумеется, согнувшись, но, если кто-либо из них выпрямится раньше времени, его можно заметить. И тогда — хлоп! Винтовка лежит тут же наготове, — навести ее и спустить курок — дело двух секунд. Промахов не бывает.

— Пленные уверждают, — говорит офицер, — что эта тропинка называется у них дорожкой смерти. За последние недели там убито около сорока человек. И подумать — все работа того господина.

«Господин» слушает наш разговор совершенно безучастно, словно он не его касается. Его равнодушные, как бы заспанные глаза прикованы к отверстию в щите».

Этот механический истребитель себе подобных, напомнил мне другого «господина», не менее серьезного.

В купе было шесть человек, но на станции Волхов влез, согнувшись, еще один, — коренастый, широкоплечий солдат с тяжелым мешком за спиной. Сложив мешок на колени моего соседа, он поправил на груди своей крест Георгия и, шевеля губами, внимательно осмотрел нас.

— Шестеро, — сказал он. Правильно. Однако — потеснитесь.

Сосед мой, чиновник таможни, сердито заворчал:

— Как-же тут потесниться?

— Для героя можно! Герой должен получить место.

Герой отжал чиновника сначала коленом, потом втиснулся на диван и раздвинул нас своими бедрами...

— Вот и готово.

Его толстое лицо было выбрито до синевы, так-же как и шишковатый череп. Редкие, черные брови казались выщипанными, из под них смотрели кругленькие, выпуклые и точно вымороженные рыбы глазки.

Вагон дернуло, покачнуло; полусонные люди, поворчав, примолкли. Солдат отважно закурил папиросу, а

я — задремал, прислушиваясь, сквозь дрему к его беседе с рыжим человеком, сидевшим против меня.

— Агромаднейший интерес для всех в этой войне, — говорил усатый; солдат, отхаркнул, плюнул и подтвердил:

— Правильно.

— Главное — оживление жизни от нее...

— И во все стороны — свободный ход.

— Правильно, господин! Хоша, конечно, многих убивают...

— Ну, человек во всех случаях может умереть...

И после этого предисловия вступительно и одиноко зазвучал, под шум колес, сиповатый голос солдата:

— Хоша-бы взять меня: был я обыкновенный, штатский человек, вроде вас, пять годов гонял плоты, а теперь, по случаю большой убыли командного состава, сдам экзаменты и буду унтер-офицером. Вот — еду сдавать. Раненый лежал, — учился. Отличаюсь строгостью характера и верным глазом. Злодейский глаз имею, такое утешение мне от Бога глаз мой, что даже сам удивляюсь — за что? Стрельбой моей господа офицеры, призовые стрелки, любоваться приходили, такая правильная стрельба! До первой моей раны двадцать девять немцев положил я. Это — счет честный, я не сам убитых считал, потому, заметно стало мне: когда сам считаешь — промахиваешься. Другой охотник за всю жизнь зайцев столько не убьет, сколько я в один годок людей наколотил. Конечно, человек не заяц, не утка, однако-ж, ведь, редко приходится стрелять по всей его туше, а всего больше в голову бьешь, когда она высунется из окопика или покатится по ходам сообщения. Я, видите, в окопчике действовал, приснастился к бойнице, перед окопчиком болотце неширокое, шагов в сотню, а за болотцем — он,

немец этот. Позиция там, прямо скажу, была неудобная для них. Один раз я в день восемь штук положил.

Солдат засмеялся рыгающим, киргизским смехом и шумно вздохнул:

— Очень удивляюсь подвигу моему!

Я посмотрел на него. В сумраке осеннего утра голос, круглое лицо героя лоснилось, точно салом смазанное, сладостной гордостью, рыбы глазки счастливо улыбались.

Я рассказал об этом солдате знакомому священнику и услышал в ответ:

— Чем-же возмущаетесь? Если мы верим в неизбежность того, что делаем, — мы должны делать это отлично. И если Господь наш допускает грозную кару войны, — значит: обязаны мы принять допущение это как закон. Если-же закон, то — уж извините! — Господь не жесточе нас, а посему: исполним волю его покорно и, повторю, отлично...

Был этот священник маленький, сухонький, детские, светлые глаза его смотрели печально. Опустив их, он тихонько повторил:

— Господь — не жесточе нас...

VI

Мокрым утром Марта в 17-м году, ко мне пришел аккуратненький человечек лет сорока, туго застегнутый в поношенный, но чистый пиджачек. Сел на стул, вытер платком лицо и, отдуваясь сказал, не без упрека:

— Высокенько изволите жить, для свободного народа затруднительно лазить на пятый этаж.

Ручки у него маленькие и темные, как птичьи лапы, стеклянные глазки строги, в них светится что-то упрямое, недоверчивое. На желтом, костистом лице острый и желтый, точно у грача, нос. Осторожно внюхиваясь, человек осмотрел меня, полки книг и спросил:

— Действительно — господин Пешехонов будете?

— Нет, я Пешков.

— А это не одно тоже самое?

— Не совсем.

Он вздохнул и — еще раз осмотрев меня, согласился:

— И не похоже: у того — борода. Значит: я попал в недоразумение. — Сокрушенно покачал головою:

— Эдакие путанные дни!

Я сообщил ему, что, вероятно, он найдет А. В. Пешехонова по Каменноостровскому, в кинематографе «Элит», где организуется Комиссариат Петроградской стороны.

— У вас какое дело к нему, можно спросить?

Человек сначала независимо и громко высморкался, потом, взяв со стола книгу, посмотрел на корешек ее и, наконец, ответил:

— По обязанности свободного гражданина хочу предложить для расклейки на заборах небольшой закончик...

Чувствуя нечто курьезное, я осведомился: какой именно?

— А — вот - с!

Сунув руку за пазуху, он вынул и подал мне лист бумаги, сложенный в четверо; крупными буквами, тщательно на бумаге было изображено:

«Обязательные постановления».

Настоящие постановления имеют цель в виду всеобщего возмущения строжайше охранять свободу для чего

Немедленно:

Пунт 1. Арестовать всех лиц которые обсуждают события и свободу скопчески. Продолжая жить по старому обычаю как господа.

Пунт 2. А именно: одну жену содержателя публичного дома: в Новой Деревне в доме Иакова Федорова Анну Погосову по прозвищу Варнашку.

Пунт 3 и примечание. Означенная Варнашка злобно фыркает на его Благородие господина гражданина Пешехонова за неимение у него знака власти и штатский вид а так-же по причине законного отказа ей присвоить чужие бочки, хотя они даже - бы и пустые.

Пунт 4 и продолжения примечания. А так-же порицает бородку и вообще наружность. И говорила: что Свобода как Невинная Девушка стоит дорого. Ее нельзя хватать каждому.

Пунт 5. А посему: ее в первую очередь не взирая на отговорки.

Верно. Составитель закона

Иаков Федоров».

Прочитав закон, я попросил законодателя разрешить мне снять копию с его труда.

Прищурясь, он осведомился:

— Для какого намерения?

— На памяти!

Он бережно свернул лист, говоря:

— А вы, когда его расклеют, с заборчика сдерите.

Но я стал упрасивать его и, подумав, он милостиво дал мне бумагу.

Пока я писал, он, принохиваясь, рассматривал титулы книг на столе, вздыхал, покачивая головою и ворчал:

— Многие теперь запрещены будут книги. Тоже закончик надо. Обязательно.

Кончив переписывать, я спросил его:

— Так по вашему, надо арестовать всех людей...

— Обязательно, которые скопчески...

— Вы хотите сказать — скептически?

Но он строго поправил меня:

— Скопцы, значит — скопчески. Исковеркавши слово, правду не скроешь. Скопцы, это которые не признают меня членом жизни.

Видя, что с ним трудно говорить, я спросил: чем он занимается?

— А — вот - с!

И человек угрожающе потряс в воздухе законом.

— А до законодательства — чем?

Он встал со стула, оправил пиджачек и сказал:

— Думал.

Потом, выпрямясь, недоверчиво проговорил:

— Значит — господин Пешехонов не одно то самое, что господин Горький? Писатель?

— Нет, не одно...

— Очень затруднительно понять это, — сказал он, вдумчиво прищурясь. — Как будто-бы два лица, а выходит — три! Если - же считать — трое, то будет два. Разве нарушение закона арифметики не запрещено властями?

— Властей еще нет...

— Н — да... Так! И — с точки зрения устава о паспортах — по двум паспортам жить не разрешается. Закон!

Неодобрительно кивнув головою, он пошел к двери, но по пути запнулся за что-то и, обернувшись, сказал:

— Извиняюсь, попал в недоразумение. Омрачен думами, хотя голова у меня светлая, как известно. Такое, знаете, время...

За дверью, набивая на ноги галоши, он ворчал:

— Тут сам Бисмарк... Не то — двое... не то — трое...

Николай Оцун

ДОН-ЖУАН

Ширится луна сырая,
За плагбаумом скрип телег,
Крышу рыжего сарая
Придавил тяжелый снег.

У платформы станционной
Двадцать два ломовика,
Привезли трески соленой
С песнями из городка.

Там живет рыбачка Эдит.
С милым и простым лицом.
Муж на буэре уедет —
Тень качнется под окном.

Лес гудит, в сосновом доме
Дверь запела. Два часа.
Разметалась на соломе
Темно-рыжая коса.

Скоро у Невы широкой
Плечи Анны целовать,
О рыбачке светлоокой
Благодарно забывать.

Тките медленнее, пряхи,
О любви далеких стран!
В храме, черные монахи,
Был зарезан Дон-Жуан.

Тело опустили в море,
Теплый ветер зашумел,
Станный миф о Командоре
Эту землю облетел.

Мстительное привиденье
Снова жертву стережет,
Сердцу шепчет подозренье,
Нож ревнивцу подает. —

★

На серебристом океане
Узкий Ледяной Топор.
На мысу в густом тумане
Снег шипит, трещит костер.

Лосось оплывает мрежи,
Ждет лисицу западня,
Север спит в дохе медвежьей,
Кто-то ходит у огня.

Наклонился, пробуждает
Дремлющего рыбака.
Каменную длань встречает
Сонная еще рука.

«Скоро звезды перестанут
Мне дорогу освещать.
Просыпайся, ты обманут...»
— Отвяжись...

«Что-же? спи, сомненье старит,
Сини очи рыбака,
А жена ему подарит
Черноглазого щенка».

— Полно, Эдит не такая! —
И в затылке почесал.
Крепкий воздух рассекая,
Мерзлый парус застучал.

Дует ветер из Севиль
В Ледовитый океан.
Спит любовница в бессилы,
Встал зевая Дон-Жуан.

На стекле заиндевелом
Разрастается заря.
Полумрак над милым телом.
Память сняла якоря.

И любовник вдохновенный
 Прямо в прошлое глядит:
 На другом конце вселенной
 Море теплое шумит;

Там волна его качала
 Бездыханного — по вот
 Снова жизнь, и все сначала,
 И любовь в груди растет.

«Эдит, ветер завывает,
 Эдит, кто-то к нам идет!»
 Длань вожатый простирает,
 Дверь томительно поет.

Заскрипела половица,
 Дегтем дышут сапоги...
 — Сударь, стоило трудиться,
 Под глазами то круги. —

У кровати два стакана,
 — То-то! подчевал вином! —
 И взглянув на Дон-Жуана,
 Замахнулся топором.

Прокричал петух трикраты.
 Ветер за окном вздохнул,
 Дрогнул каменный вожатый,
 В белом утре потонул.

Солнцем залилась лачуга,
 Брызнул резвый лай собак,
 Посмотрели друг на друга,
 Усмехается рыбаки:

— Вижу, человек столичный.
 Эдит, повезло тебе.
 Что-же, сударь: дом кирпичный
 Не ровня простой избе.

Увози свою голубку! —
 Рыжекудрая жена
 С пола подбирает юбку;
 Плечи рдеют; смущена

Эдит странным приговором,
 Мрачен Дон-Жуан... Туман.
 Над сияющим Босфором
 Прожжужал аэроплан.

Гор расколотое чрево,
 Океанов темный вой,
 Это бомба в Сараево
 Разорвала шар земной.

И в пространства мировые,
 В ночь с разодранного дна
 Льются чудища морские,
 Трещина озарена:

Пропадая под морями,
Роковая полоса
Голубыми огоньками
Дразнит темные леса.

Не береза ветви клонит,
Душно, не передохнуть.
Саблю выронил, и стонет,
И хватается за грудь.

Под зелеными ветвями
Дни и ночи перед ним
С изумленными глазами
И похожие на дым.

«О воды, воды, Елена,
Царскосельский соловей!»
Но услышит-ли Елена:
«Умираю, пожалей?»

В белом платье, беглой тенью
Столько лет и до сих пор!
Вот обрызганный сиренью
Металлический забор.

«Душно, уходи, другая,
Ольга, жарко на песке».
Загорелая, босая,
Ропщет море вдалеке.

Мелочь лодок просмоленных;
Парус меньше, чем платок;
Ветер, сосен воспаленных
Сплошь дырявый потолок.

Сколько их? но кто услышит
Из покинутых подруг?
Только ветер тронет крыши
Стройных зданий и лачуг.

Кто-то рядом пробегает,
И винтовка на весу.
Пламя. Трещина зияет,
Привидение в лесу:

Не отбрасывая тени,
Вдаль протянута рука,
Не сгибаются колени,
Шляпа круглая легка.

К раненому наклонился.
«Кто ты? не гляди в упор,
Мой клинок переломился,
Падай, падай... Командор...»

Холодно и бело, бело...
Сети мерзлые, весло...
Окровавленное тело
В той лачуге, сквозь стекло.

Кто она? глаза открыла,
 Стонет, падает без сил.
 — Ты исчез, она грустила
 И рыбак ее убил. —

Раненый уже не бредит.
 Пламя по небу. Закат.
 Мох шуршит. Бедняжка Эдит,
 Только я не виноват.

Но тебя, о Соглядатай,
 Вижу я не первый раз.
 Изойди огнем, проклятый,
 Даже в этот темный час!

Не хочу я сожаленья
 Жил-бы только для любви. —
 Страшен голос привиденья:
 — Мы сочтемся — поживи!

А н д р е й Б е л ы й

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

1. БЕЛЬГИЯ

Подхожу к тому сложному, смутному, трудному времени, которое и по сию пору оформить никак не умею я; стало быть: то, что стоит предо мною, есть факт, пережитый сознанием, вплетенный конкретно в реальную жизнь, обусловивший изменение в стиле жизни и обусловивший расхождение с рядом друзей; передо мною возник: иной быт, иной ритм отношения к жизни; и до сих пор: десятилетие (1912—1922) во многом окрашено нотами, прозвучавшими именно в это время. И вместе с тем я боюсь: если включу я переживания внутренней биографии, то мной взятая тема, конечно же, сузится.

Буду описывать факты, которые мне непонятны; в них есть нечто странное; были ль болезнью они, или были внимательным проникновением в жизнь? Я не вижу уж жизни в былом, странном свете; сознание мое прозячно; но тем отчетливее стоят предо мной пережитые годы (1912—1914); необъяснимые звуки тех лет разложить не сумел на обычные объяснения. Я проведу их пред взором читателя так, как они мне звучат.

В апреле 1912 года мы выехали из России: на день мы остались в Берлине — увидеться с Эллисом, жившим

около Motzstrasse, (на Motzstrasse, 17 жил Штейнер); но Эллиса мы не застали: уехал он, кажется, в Христианию: слушать цикл лекций Штейнера, чтобы оттуда попасть — в Гельсингфорс, где должно было состояться свидание Штейнера с группой русских антропософов (на Пасхе); оставили Эллису мы небольшую записку; и уехали далее, через Кельн (где остались на день), прямо в Брюссель. Там скоро нашли помещение, с окнами, выходящими на собор St. Gudule; черно-серые стены собора бросали свои черносерые тени нам в комнату; в окна глядели химеры, свисая от кровли собора. Тут мы заболели сильнейшим бронхитом; метаясь в жару, вспоминал былое; рассказывал Асе я об исчезнувшей Минцловой, и о словах, ею сказанных, передавал ощущение мое медитаций, которым она обучала меня; с недоумением вспоминал я признания ее об оккультистах; за нею стоящих, которые обещали через нее к нам прийти; говорил я о том, что никто не пришел, что душою влекусь я к духовному знанию; Ася меня понимала; и в ней постепенно слагалось влечение к пути. Проговорили весь вечер, но наш разговор был значителен; мрачные стены собора мрачнели в окне.

Мы — заснули. А на другое утро сказала мне Ася: приснился ей сон, столь отчетливый, столь поразивший ее, впечатлившийся в душу ей; видела, будто с нею мы в комнате, напоминающей зал; но наполнилась комната — вдруг; и какие то люди из двери поспешно направились к нам, с незнакомцами (двумя), столь замечательной внешности, что Ася была потрясена; они были почтенного возраста; кто-то сказал, обращаясь к Асе: — «Вы ищете Штейнера, а ведь он в Брюсселе!» И — удивилась она: Штейнера не искали мы вовсе; и тут пробуди-

лась; рассказывая тот сон, переживала она сызнова странное впечатление сна; а во время рассказа ее смутно вспомнилось, что и я будто видел ту комнату, — комнату, переполняемую людьми с двумя лицами, возглавлявшими шествие; лиц я не помню; не помню и голоса; помню лишь я волнение свое при приближении группы людей; показалось курьезным, что Асин сон прозвучал во мне очень бледным отображением.

Подвились и скоро забыли мы сон, погрузившись в суету нашей жизни. Я принялся за продолжение Петербурга и увлекался в свободное время коллекцией марок, которую стал собирать; Ася ездила в Uccle каждый день, заниматься прилежно гравюрой — у Данса; мы посещали музеев; встречались часто мы с дочерью Данса, женой адвоката и депутата Дестра (бывшего после министром); порой присоединялся и он. Я не помню всех тех, с которыми приходилось встречаться: из общества, среди которого мы вращались, запомнился Санд (собиратель картин и банкир), жена Санда, поэт молодой и художник де-Гру, остроумный, талантливый, чудаковатый. Обедали мы очень часто у Данса; и иногда у Дестра; посещали театр; чувствовали себя превосходно.

Однажды, вернувшись от Данса, с волнением передавала мне Ася о происшедшем с ней в трамве, с которым она почти каждое утро из Брюсселя ездила в Uccle по шоссе Ватерлоо — к учителю; на одной остановке трамвая, в трамвай вошел медленно господин лет пятидесяти пяти, очень строго одетый, с лицом изумительным, выделяющимся настолько от всех других лиц, что естественно Ася уставилась на него с удивлением; в этом старом скорее лице поразила гравюрная почти тонкость прорисованных лицевых тонких мускулов, придававших лицу необъяс-

нимое выражение почти повелительной мощи; и вместе с тем: благодати; скоро я понял ее изумление, граничащее с потрясением; лица подлинных оккультистов весьма характерны отметкой, которая налагается тою самой прочерченностью малых мускулов лицевых, придающих лицу отпечаток особый; но не лицо потрясло главным образом Асю, а серые, серо-зеленые, углубленные, пристально в нее вперенные взоры, которых, по заверению ее, не могла она вынести, и которых вошедший в трамвай господин не отрывал от нее; он ее наблюдал в совершенном спокойствии, с жестом сдержанной мощи; то сочетание строгой корректности с необычным вниманием к Асе произвело на нее столь огромное впечатление (чего то давящего и одновременно манящего), что едва она не спростила вошедшего незнакомца.

— «Скажите же...»

— «Что Вам нужно?»

— «Зачем вы глядите так?»

Ну, конечно же, в этом пристальном взгляде не могла содержаться по отношению к Асе житейская пошлость; и стало быть, любопытство, которое возбудила она, относилось к содержанию ее морального мира; казалось ей, что вошедший глядит сквозь нее, все в ней видит и все узнает; он же, сидя пред ней, не спускал с нее глаз; и казалось от напряжения ей, что весь воздух меж нею и ним, натянулся, как тетива; что сорвется вот-вот с тетивы что-то важное и единственное; и она переступит через какой-то предел; передавала она: еще миг, и она бы воскликнула:

«Что вам надо?»

Но он встал, на ближайшей же остановке трамвая (проехавши одну станцию лишь); и, не прервав мол-

чания, вышел, обмеривая Асю своим непонятнейшим взглядом. И ту остановку, где слез он, запомнила Ася.

Я слушал; и — удивлялся; но удивительнее всего было то, что меня охватило под действием Асиных слов очень странное состояние сознания; я почувствовал: в нашей комнате изменяется атмосфера; будто бы слова Аси открыли лишь дверь среди стен нашей комнаты; обнаружилось комнаты средь двух наших комнаток, о которых не подозревали мы; и вот-вот: на нас хлынуло мощно и сладко какое то море даримых нам чувств (нет, не наших, принадлежащих кому то, благому, сияюще мощному); и мы чувствами этими рассветились, как ризами странной парчи, парчи света; и как будто предметы, оставшие нас, — не такие, как только что; все восприятия переменялись; и будто бы стены пропали; и кто-то, кого мы не знали, стоял за пространством незащищающих стен; и взирал на нас зовными взорами; право же, комната наша в тот миг показалась мне птичьей клеткой подвешенной в другой комнате, посредине которой стоит кто-то, знавший нас, знавший нас, и рассматривает нас так, как рассматриваем мы двух мечущихся по жердочкам канареек.

Восприятие мое проницаемости всех стен, передалось и Асе; она, оборвав свой рассказ, повернулась ко мне и сказала с недоумевающей улыбкой:

— «Послушай, — ты замечаешь» — и обвела глазами вокруг.

— «Замечаю...»

— «А что?»

— «Да будто бы стены пропали; и будто бы кто-то сквозь стены, — нас слушает».

— «Именно».

Мы замолчали и слушали звук тишины, точно сла-
достный колокол, нас призывающий; мне припомнилось
стихотворение Владимира Соловьева:

Лишь забудешься сном, иль проснешься к полночи:
Кто-то здесь. Мы вдвоем.

Относительно нас лучше было бы сказать: «Кто то —
здесь. Мы — втроем». И уж близится вечер; уже облака,
самодары небес, высылаемые над крышами Брюсселя, —
розовели.

Подивились мы происшествию с Асей; и — скоро за-
были его. Потекла суета; но запомнился день происше-
ствия: был то — четверг.

Вся неделя протекла очень быстро; утрами — работа
(над Петербургом и над статьями в «Труды и дни»);
после прогулки по Брюсселю; и — обед, одинокий (обе-
дала Ася у Данса); потом встреча с Асей в кафе, распо-
ложенном на крыше огромного дома, занимаемого мага-
зином (брюссельским Вертгеймом), пятичасовой чай; при-
соединялась к нам и Дестрэ очень часто; потом, уже к
вечеру, мирный ужин и тихие речи (а то — театр: опера);
так — каждый день. Через неделю, в четверг, мы поехали
с Асеею к Дансу обедать (он — звал нас); и вот: происше-
ствие — повторилось; я был теперь, так сказать, сам сви-
детелем Асиных слов.

Мы сидели в трамвае, везущем нас в Uccle; и в том
именно месте, где слез незнакомец, увиденный Асеею в пре-
дыдущий четверг (установила потом это Ася), — на оста-
новке в трамвай, вижу входит, совсем удивительный гос-
подин (я такого лица никогда и не видывал); и тотчас по-
думал: вот — тот, кого встретила Ася на прошлой неделе;
он был высок ростом и строен; на вид ему можно было
дать лет уже пятьдесят пять, был он в сером во всем,

очень строго одетый; и помнится у него была палка, ко-
торую он, сев напротив, поставил между колен; и сжимал
ее пальцами в темнокоричневых (помнится) новых пер-
чатках; его волосы были серы (от проседи); был же он
брит; и лицо было мелко исчерчено, будто бы гравиро-
вальными, маленькими штришками, и протенями, образу-
ющими удивительный отпечаток достоинства, сдержанной
мощи; казался же он: ни бельгийцем, ни немцем; скорей
— англичанином; впрочем, скорее напоминал представи-
теля он расы грядущей; будто бы из тридцать третьего
века проник он инкогнито к очень далеким он предкам,
напоминающим ему скорей род обезьян, чем людей; изу-
мительное выражение серых глаз, в нас вперенных, сму-
тило меня; так открыто, так явно пронизывал нас (то
меня, а то Асю) глазами; и чувствовал, как натягивается
вся атмосфера, как... тетива; что сорвется какая то элек-
трическая стрела — прямо в нас; делалось и чудесно, и
стыдно, и жутко от этого взгляда.

Я знал, что то самое переживает и Ася, но — повер-
нуться, спросить ее — не было сил. Переглянуться с ней
— выдать смущенность свою, нет, не мог.

Все то произошло в полторы-две минуты; проехавши
одну станцию, он поднялся на остановке трамвая; и про-
должая смотреть с той же пристальностью на нас, очень
медленно вышел он; и выходя, повернул свою голову: и
опять посмотрел на нас.

Трам стоял; и мы видели, как он улицу пересекает, оста-
навливаясь у подъезда старинного, серого дома, вложил
ключ от двери в замочную скважину; и опять повернулся
на нас; и посмотрел очень пристально, как бы давая
понять:

— «Видите; здесь я живу. Здесь меня вы застанете». Дверь отворилась; в нее он вошел; дверь защелкнулась; а над дверью прочел № дома я: 76. Этот номер запомнил.

И тут — трамвай тронулся.

— «Ася, — тот самый?»

— «Нет, вовсе не тот, но — подобный ему: тот — еще замечательней видом; не странно ли: *этот* вошел на той именно остановке, где вышел на прошлой неделе другой».

— «Что же это?»

— «Не говори: посторонние... Я не знаю...»

Понял, что говорить здесь, в трамвае, о происшествии неуместно. У Данса же (позитивного старика) — невозможно; мы отобедали с Дансом поспешно, вернулись домой уже к вечеру; и только тут принялись обсуждать происшествие встреч (этой, и Асиной ровно неделю назад); и пока обсуждали мы, — странное ощущение, что нас кто-то слушает через стены, опять повторилось, как и неделю назад; сопровождалось это чувство все тем же пронзительным, сладким, зовущим, непередаваемым лейт-мотивом блаженной тревоги, охватывающим без уговора обоих:

— «Опять?»

— «Да, опять!»

— «Что опять?»

— «Да: как будто нет стен» озиралася Ася. И мы — замолчали; и отдавались отчетливому подымавшемуся призыву: «Да, да, приходите же к нам: мы — вас ждем!»

И мне вспомнилось: эту ноту, зовущую ноту, я слушал уже: это было весной в 1909 году, когда Минцлова раз пришла ко мне и сказала: «Предисловие ваше к *«Урне»* есть зов к силам света; должна на него я откликнуться и сказать, что то, о чем сердце тоскует у вас, оно — сбывается». Тут начала говорить о таинственном братстве

духовных людей, помогающих силами света запутавшемуся человечеству; и тут вынула из ридикюля два кабинетных портрета, изображавших двух индусов с невыразимыми лицами, с нечеловеческими глазами; один портрет — руководителя Е. П. Блаватской; другой — Анни Безант; и в разговоре с ней я почувствовал в первый раз это странное ощущение: *отсутствия стен и присутствия* среди двух — Третьего: между ними стоящего; и этот зов, будто звон зазвучавшего колокола, слушаемого только внутренним ухом; и — Голос Безмолвия:

— «С вами — Я...»

Лишь забудешься сном, иль проснешься к полночи;
Кто-то — здесь...

Я посмотрел на смущенную Асю; и я сказал:

— «Ася?»

— «Что?»

— «А ведь это *то самое*, что стояло за Минцловой...»

Тут увидел я, что Ася в глубоком волнении смотрит на меня, что-то хочет сказать, глубоко ее изумившее, — то, что ей только открылось, чему ей не верится даже:

— «Ты что?»

— «Знаешь ли?...

— «Ну?»

— «А вспомнила все: я сейчас только вспомнила...»

И — запнулась.

— «Что вспомнила ты?»

— «Эти двое, которые повстречались в трамвае, — тогдашний, сегодняшний, — да ведь они — *те самые* двое».

— «Какие *те двое*?»

— «Да *двое*, которых я видела во сне — помнишь, сон рассказывала, приснившийся во время болезни».

И опять передала она содержание сна: как она со мной находилась в комнате, в которую вошла группа людей, окружающих двух господинов, слышала голос: «Вот ведь — ищите Штейнера вы, а Штейнер — в Брюсселе». Я же видел лишь бледное отражение сна ее. Признание Аси в минуту, когда мы сидели и слушали, как зовом истаяли стены («Мы ждем!»), — это признание произвело впечатление на меня электрического удара:

— «Ася?»

— «Да, да: это — те, кого видела во сне».

— «Не ошибаешься ты?»

— «Да нет, нет!»

— «Почему же ты прежде не вспомнила?»

— «Да я сон как то странно забыла; потом: и знакомых то не всегда узнаем в первый миг; как же сразу мне было сообразить это все?»

Я был — потрясен: разволнован и выбит из колеи. Произошел разговор между нами совсем ни на что не похожий; в нем Ася напомнила: Минцлова, исчезая навеки, сказала, что нас не забудут, придут к нам *какие то мудрые, посвященные* люди... А что если встречи в трамвае и сон — знак, нам данный: зов к пути, приглашение — откликнуться? И я должен признаться был Асе, что Минцлова неоднократно рассказывала, как именно происходят *духовные встречи*: они происходят как будто случайно; законы встреч — скрыты; случайная встреча в трамвае, на улице, да, — могла быть не случайной для тех, кто ее подготовил. Тут Ася сказала:

— «Если встречи в трамвае и сон — приглашение откликнуться, — то: дом то, *второго*, — мы знаем»... — «Но слушай, — куда ж мы пойдем: к неизвестному господину, внимательно наблюдавшему нас. Чего хочешь ты? разве

же он виноват, что ты прежде во сне его видела?» Так старался я не сойти с ума вовсе и удержаться в границах самообладания; а атмосфера, невидимо говорившая, приглашала: перешагнуть черту здравости; мы говорили: что может дурного случиться, коль все — лишь иллюзия наша: недоразумение, не больше; если же мы на возможный *призыв* не ответим, то так и останемся мы: без духовного руководства; а руководства искала душа; и — решили: написать в таком тоне *«ему»*, что если не сирота была эта встреча, то *он* должен выставить розы в окне дома «76», где он живет; если же наше письмо непонятно, то пусть «он» позабудет его.

Написали, решив письмо бросить в отверстие почтового ящика (в Бельгии каждый подъезд открывает вход в частное помещение: комнаты же квартиры — во всех этажах: столовая, кухня — в первом, приемная — во втором и т. д.; дома — узкие, заключающие одну лишь квартиру).

На другой день, уж к вечеру, возбужденные и охваченные все тем тоже волнением, вышли на площадь мы, откуда длиннилась улица, где жил незнакомец; пред домом № 76 остановились; его осмотрели внимательно: серый, старинный дом; именно: в *таком доме* мог жить человек с этим вещим лицом; надо было с письмом торопиться; полез я в карман за письмом; и ай, ай: а *письмо то — забыл*; мы решили: судьба! Что-то нас удержало от дикого очень поступка; прошли мы по улице; обернулись на дом; увидели: дверь дома — раскрыта; стоит на подъезде почтенный лакей, старичек, бритый, с белыми волосами, с лицом, очень умным, усмешливо-вещим, но — добрым; и — смотрит нам в спины; когда обернулись, он принял такой пригласительный вид, будто видом показы-

вал: «Знаю, пожалуйста!» Мы — отвернулись нервно; вернуться и подойти к старичку — означало: перешагнуть порог смысла; мы быстро пошли — все вперед, все вперед; и совсем неожиданно: мы повернули обратно, притягиваемые серым *домом*; опять подошли к нему: двери были закрыты; когда поровнялись со стенами дома и проходили под окнами, то железные жалюзи опустились с решительной быстротой и шумом: кто их опускал? Что то значило? И — опять, повернулись; опять подбирался к дому (по противоположной теперь стороне); мы заметили: *нового старичка*; с очень-очень внимательным, нас наблюдающим видом, переходил середину он улицы, направляясь от дома к нам; тихо пошел впереди нас, соразмеряя шаги свои с нашими и повертываясь на нас с тем же ласковым и внимательным, пригласительным видом; чтоб проверить свое впечатление, остановились пред окном магазина; остановился и он пред окном и — смежного, продолжая поглядывать и ожидая, что сделаем мы; мы — пошли: он — пошел. Стало жутко и дико опять: нестерпимо совсем; и безумье какое то нас охватило; мы были на волосок от того, чтобы, все позабыв, подойти к старику; ему бросить вопрос:

— «Вы ведь посланы за нами — от *них*?»

— «Вы нас ждете?»

Остановился проходящий трамвай перед нами как раз; без уговора поняли мы: если не сядем в трамвай, то совершится нелепость, и мы подойдем к старичку, без уговора мы прыгнули на площадку трамвая; понесся трамвай, относя от *безумия этого* — к дому.

А дома решили: не опускать нам письма, подождать — продолжения очень странных явлений, происходящих с обоими: сон на яву будет длиться; в этом было упорное

значение: продолжение — следует; и мудрей выждать, не бросаясь в мистический омут, который открылся пред нами; представилось: будет новая *встреча* на представлении «*Гибели Богов*», в оперном городском театре — в субботу, через неделю (мы были абонированы на серию вагнеровских опер, исполняемых гастролерами из Байрейта).

Здесь должен сказать: получили мы около этого времени от Петровского, из Москвы извещение о том, что в такие то числа мая назначена в Кельне публичная лекция Штейнера, и что если хотим мы послушать его, то ведь Брюссель от Кельна так близок (всего пять часов); сообщал он и адрес, где можно достать нам билеты на лекцию; мы открытку прочли, отложили, забыли о ней; и о Штейнере вовсе не думали; происходящее с нами, вполне поглотило нас; кроме того: именно в дни читаемой Штейнером лекции чествовали в Брюсселе Меттерлинка (в театре): хотелось увидеть его; мы достали билеты. Мы ждали субботы. Порой наплывали на нас те же острые, сладко томительные переживания *зова*; и так томительно остро менялся весь воздух вокруг; и изменялись восприятия окружающих обыденных предметов; прислушивались; но «*все*» — возвращалось на место; текла обыденная жизнь; Ася ездила к Дансу; писал «*Петербург*», углубляясь в фабулу его четвертой главы; покупал себе бразильские марки; встречались — с Дестрэ: пили в пять часов чай — там, на крыше огромного шестнадцатиэтажного дома, откуда развевалась панорама покрытого дымкою Брюсселя.

Раз — было дело уж к вечеру — мы посиживали уютно в своих малых комнатках; Ася расположилась за чаем (в удобнейшем кресле); я стоя пред ней, что-то весело ей

говорил: передавал эпизоды из жизни московской; смеялись. Вдруг, слышим: отчетливый стук — в нашу дверь, выходящую прямо на лестницу, убегаящую вверх, и вниз — к сдаваемым комнатам; лестницу в этот день перекрасили; и стоял там весь день терпкий запах и скипидара и краски; услышавши стук, машинально я крикнул: «Entrez!» В два шага был у двери; открыл — никого; удивился; подумал, что кто-то ошибся; но еслибы кто-то, ошибшись, взбежал вверх по лестнице, или сбегал вниз стремительно, то во первых: шаги бы за дверью мы слышали; еслиб не слышали, то открыв дверь, я не мог бы не слышать шагов, восходящих наверх, иль шагов спускающихся к выходной нижней двери (меж стуком и появлением моим за дверью не протекло двух секунд); между тем: освещенная лестница, тихая, пустела, но это не главное: главное, непостижимое, было — вот что: как раз у дверного порога услышал я прятные и сладчайшие ароматы цветов, напоминающие смеси запаха лилий и роз; тут же, вспомнив, что ведь лестница — крашена, что ведь пропахла она скипидаром, я спустился стремительно двумя ступеньками ниже, понюхавши воздух; и — бросился из под запаха лилий и роз запах терпкого скипидара мне в нос; я — взбежал кверху; и выступил там тот же запах; вернулся к порогу; опять охватили меня ароматы и лилий и роз. Это все произошло в три-четыре секунды: тогда инстинктивно, желая проверить себя, позвал Асю я. (Что это — галлюцинация обоняния?)

— «Ася, поди сюда?»

Ася — подходит.

— «Стань — здесь».

Стала: вижу, что нюхает; вижу лицо ее — недоуменно сплоское; оно озарилось улыбкою вдруг:

— «Что?»

— «Цветы».

— «Ведь — цветы? Ведь — цветы?»

— «Определенно».

Она, улыбаясь, прибавила:

— «Видишь, какой нам подарок?»

Опять выходили на лестницу: нюхать внимательно скипидарные стены; и стены — воняли; и возвратившись, закрыли мы дверь: и всю комнату переполнили запахи лилий и роз.

Мы стояли блаженные; мы улыбались глупо: «Они!» Даже мы не могли удивляться; мы знали, что сны на яву продолжаются; одновременно: мы сохранили всю трезвость.

— «Ведь стук то» — сообразил теперь только я — «стук спиритический. Ведь стучали то не в середину двери, а в верх: человек не достал бы рукою до верху! — Да, да».

Все отличие стуков реальных от спиритических знали мы по феноменам спиритическим в Боголюбах; реальный стук — глуше, и как то плотнее; а спиритический стук по моим наблюдениям имеет оттенок какого то неведомого треска, напоминающего разряд электричества.

Явное дело: стук в дверь — спиритический стук.

Через короткое время стал гаснуть развеянный в комнате запах цветов; он — погас.

Эти факты описываю я так именно, как предносятся мне они в памяти; десятилетие — время не малое; были всякие домыслы за десять лет; и попытки к членораздельному объяснению фактов; но все объяснения развеялись в годах; потому то я их приводить не хочу; факты — те же; в скептическом, в очень мистическом состоянии со-

знания я стоял перед фактами этими; и различные мне объяснения вставляли; я думал в годах очень многое; думал по разному; думалось, может быть, *двое* те суть действительно *двое из тех*, о которых мне некогда много раз говорила А. Минцлова; будто за нею стоят посвященные в тайное знание и посвященные эти за нами следят; потом думалось: может быть, *эти двое* — сомнительные гипнотизеры, внушавшие нам на расстоянии переживания, долженствующие нас отдать в руки их; и какое же счастье, что мы не откликнулись; думалось: это — символы некой судьбы; и еще тоже думалось, — самовнушение это; в последнем же случае любопытно: факт встречи и запах цветов переживали вдвоем мы (а случаи галлюцинации коллективной столь редки в XX-м столетии); совпадения лиц, нами виденных, с Асиным сном, где явились они до явления на физическом плане, — проверить не мог, разумеется, я, ибо я ведь не мог нырнуть в Асин сон; но правдивостью, трезвою честностью в передаче фактического отличалась особенно А. А. Тургенева.

Может быть, факты эти не так описал я; но пусть же поправит меня пережившая вместе со мною их А. А. Тургенева, объясняющая по своему, вероятно, их; думаю: еслиб скрыл навсегда эти факты, то был бы неправ; я и так не рассказывал почти никому о случившемся в Брюсселе, — десять лет; я, признаться, молчал потому, что в эпоху почти фанатического моего отношения к Штейнеру пересказ этих фактов, сколь многих, заставил бы с сожалением покачать головой; и счесть нас — сумасшедшими в лучшем случае; и шарлатанами — в худшем; и кроме того: мне казалось, что оглашать эти факты нельзя; но в интимном кругу я рассказывал обо всем, с нами бывшем:

Петровскому, Штейнеру, Эллису, К. Н. Васильевой, некоторым другим (не упомяну кому).

А теперь через десять уж лет из другого морального топуса, пережившийся, трезвый и неимеющий никаких «*оккультических*» восприятий, я чувствую, что я должен поставить перед сознанием всех эти факты.

И — да: коллективная галлюцинация не удивила; мы жили приподнято; не удивились бы более странным явлениям; ждали — страннейшего; были очень уверены мы, что в субботу, в театре произойдет что-то важное.

Вот — в театре. Но — ничего, никого; мы стояли в фойе; Ася, я и Дестрэ, и М-ше Вандервельд; с ней меня познакомили; показывали и Вандервельда среди кресел партера; был скучный, простой разговор; ничего, никого.

И вернулись домой очень грустными мы.

А на следующий день, в воскресенье, сидели в набитом людьми ресторане; да, да: не случилось ничего; обманула суббота; стояли перед старою альтернативою: опустить нам письмо, или — ждать; чего ждать? Опустить же письмо неизвестному господину — безумно; исследовали состояния наших душ; и — феномены; сказал Асе:

— «Вот если бы были в России, нашел бы я путь к совету; здесь — и спросить то ведь не у кого совета: ни у кого нет духовного опыта, нужного нам». (Знал: в России, в Зосимовой Пустыни — *старец* есть; и есть — в Оптиной Пустыни). Ася меня перебила:

— «Скажи, — веришь ли честности доктора Штейнера ты?»

Я ответил:

— «Да, верю: я несогласен с учением Штейнера; личность же Штейнера для меня — вне сомнения».

— «А веришь ли, что у него опыт есть».

— «Безусловно».

Подумавши Ася сказала:

— «Так вот: совершенно естественно: опускать *неизвестным* письмо — преждевременно: завтра же, в понедельник, объявлена в Кельне публичная лекция Штейнера; не поехать ли к Штейнеру? Не рассказать ли о всем, с нами бывшем ему? Не расспросить ли о Минцловой?»

Я сперва удивился; идея такая казалась совсем неожиданной: не пришла бы мне в голову; но, подумав, ответил:

— «А почему бы и нет?»

— «Тогда нечего медлить!»

Мы справились о расписании поездов; и узнав, что единственный поезд на Кельн идет скоро, мы — бросили суп — (черепаховый), расплатились; и — вышли; и до дому взяли «сочет»; дома мы захватили дорожные сумочки, захватили открытку Петровского с обозначением теософского адреса; словом — пришли в себя в поезде, мчавшемся к Кельну, удивляясь: куда едем? нет у нас в Кельне знакомых! Ведь явился к Штейнеру — с улицы? Поздно: что начали, — должно закончить. И — Кельн. Остановились — против собора в «Hotel St. Paul», где уже останавливались и прежде; и заходили в собор; и — сидели там молча.

Для храбрости выпив бутылку рейнвейна, отправились утром — по адресу кельнской «ложи»; звонимся: и открывает дверь женщина с очень строгим лицом, с очень ясными синими и пронзительными глазами, с волною волос золотых.

— «Что вам нужно?»

— «Приехал ли доктор Штейнер?»

— «Приехал».

— «Нам нужно его повидать.»

— «Занят он».

— «Мы приехали специально из Брюсселя».

— «К доктору приезжают из Нового Света; и — ждут: иногда десять дней; так он занят».

Мы назвали нескольких теософов знакомых (Григорова, Сабашникова, Эллиса, Христофорову).

Дама задумалась:

— «Погодите: сейчас я вернусь».

Мы остались у двери: вернулась она:

— «Приходите сюда — через час: доктор будет читать в помещении ложи; вы можете быть».

Так попали совсем неожиданно мы на интимную лекцию в ложе без всякого права присутствовать; разрешение дал сам Штейнер. И сразу же: обстановка расположила нас к *встрече* (какой, — мы не знали), в заткнутой синей материей комнате были женщины в туниках (розовых, белых, лиловых, сиреневых, черных) с легчайшими стопами разнообразных цветов, с очень бледными лицами, с очень короткими волосами; иные — с крестом на груди; перед кафедрой цвел куст красных роз; обстановка — понравилась; — мы ждали Штейнера.

Вот — входит: очень худой, очень бледный, и с подчеркнутыми небольшими морщинками невыразимым и близким каким то лицом, показавшимся издали нам молодым, как у юноши (в другие минуты казалось оно — тысячулетним каким то), с чернейшими жгуче пронизывающими глазами, и с очень черными волосами без седины, ниспадавшими легкой тонкою прядью на лоб (эту прядь он отвеивал взмахами головы), в скюртуке с черным бантом, небрежно и пышно повязанным; что-то было во всем его облике легким, казавшимся призрачным, одно-

временно же: выгравированным из металла; весь веял какую-то свежую силою будущих гармоничных времен, где уже не стареют, не женятся, не умирают; и вместе с тем: он показался таким старомодным, старинным и строго изящным, было что-то веселое, странно-веселое в нем, будто он обвеян ветрами спустившейся Вечности; и оттого: был он ветрянный, сдержанно легконогий, напоминающий воплощение танцующей философии Нитцше; и да простят: было в нем нечто, его выделявшее от других так, как отделяется эльф, принужденный ходить в сюртуке среди людей, — от людей; тут я вспомнил слова свои, живописующие идеал мудреца для меня прежних лет: *Мудрец — это самый тонкий безумец, счастливый весельчак, серьезный и важный для тех, кто не в состоянии совместить мудрость с легкомыслием.* (Арабески, стр. 229). Вместе с тем: бесконечным страданием мира, каким то распытанием крестным за все и за всех проблестали глаза его, когда он, быстро векинув пенсне с легким жестом оглядывал в полуоборот всех сидящих в синюющих сумерках ложи, одновременно склонившихся ухом к застенчиво что-то шепчущему старичку и легко отвечая ему на вопросы из одиночества, распытости среди мороков мира; и тут он напомнил мне фразу о мудреце, мной написанную в 1906 году: *«Мудрец обертывается на свою ризу... Он узнает млечный путь. И туманности. И планетные системы. Все узнает он, созерцая складки ризы своей. Он узнает мировую жизнь планет. Он узнает возникновение народов. Он видит себя самого, брошенного в круговорот бытия».* (Арабески, 155). Если писал я еще в 1904 году, что *«искусство перестает удовлетворять»* и что *«ищешь много руководителя»*, то почти предносился мне этот образ и легкий, и строгий, старинный и новый (какая то подлин-

ная человеческая разновидность); и если бы я в то время высказывал мысль, мною высказанную впоследствии, то она выражала бы характеристику моего впечатления от Штейнера: *«Первая с ума сшедшая обезьяна есть человек; первый же человек, с ума сшедший, есть гений; а первый из гениев, дерзостно с ума сшедший, преодолевший в себе гениальность, ее осознавший, есть посвященный».*

Все то пронеслося, как вихрь, не осевши кристаллами мысли во мне в первый миг встречи с Штейнером; помню: как я вперяюсь в него, как я за руку держу Асю, а Штейнер бросает на нас понимающий, грустный, сжигающий взгляд, очень быстрый, летучий и медленно — направляется к кафедре. Появление Штейнера перед нами — решило судьбу, потому что мгновенно поняли оба (позднее — установили мы это), что Штейнер есть *третий меж двух*, нами виденных; если они оккультисты (лицо выдавало их), то он — то же самое, только в них повелительность, нас давящая; в нем же — легкость; ответ был получен: пришли мы туда, куда жадно хотели притти: дом № 76 — отпадал.

То сознали позднее: пока же мы отдавались обаянию слов, произносимых с возвышенной кафедры, из за роз; тема лекции (я не достаточно понял ее): говорилось о связи меж миром сознания, меж миром планет и меж миром цветов; в каждом цветике — отображение вихрей вселенной; спирали листов у цветов соответствуют явно спиралам планет, пролетающим с солнцем по космосу и чертящим круги вокруг солнца; так: каждый цветок связан с космосом, связан с планетой (той или этой); его впечатление на нас, — впечатление связи стихий с миром мысли и сам календарь — только ноты симфонии переживания года; и то, как сказал это он, мне рассеяло представленье

о сухости, рационализме, которым доселе дышали мне книги его; понял я: книги Штейнера — потные знаки симфонии; ключ был дан к этим книгам: сам Штейнер.

И мы выходили из ложи совсем вне себя; мы купили билеты теперь на публичную лекцию, озаглавленную: *Христос и двадцатый век.* Думал я: не случайно, что он читает на тему, которая для меня кардинальна для отношения к «штейнерианству»; доселе казалось: в *Христологии* Штейнер мне чужд; может быть, он — оккультный учитель; мне этого мало; мне нужен учитель, стоящий под знаком Христа. Мне последняя лекция показала, что я ошибался; об импульсе безымянном, зиждительном жизни сказал он; в XX столетии импульс этот — импульс Христов; было все, что сказал он, весьма далеко от обычного церковного оформления; понял одно: *Штейнер передает импульс Христа*; к концу лекции — пали сомнения; знал я, что Штейнер есть именно то, что *мы ищем*; сбылись слова Аси, сказанные во сне: *«Вот ведь, — ищите Штейнера»*; и чего-то искали; а *незнакомцы* являлись символами той дороги, которая приводила нас к Штейнеру; после лекции к нам подошла очень полная дама (в лиловом), в пенсне на рассеянных, подслеповатых глазах; и сказала нам:

— «Доктор вас просит притти: завтра в одиннадцать по такому то адресу».

И мы — явились.

Звонились: никто не откликнулся: дверь была замкнута; вдруг, слышим мы, опускается кто-то по лестнице, сверху; повертываюсь: за спиною стоит Штейнер с вчерашнею дамою, синеокою, златоволосою и румяной. (Она оказалась М. Я. фон-Сивере, секретарем его; после — женой); вчетвером прошли в комнаты; более полчаса

рассказывал я происшествия наши, начавши от Минцловой (бывшей его ученицей); и Сивере переводила слова мои; опускаю беседу; упомяну лишь, что выслушав очень внимательно все, Штейнер мне ничего не ответил; и не ответил с такою решительностью, что переспрашивать не имело и смысла; я понял: молчание, — нежелание говорить на мотивы приезда из Брюсселя — есть отклонение от ветрочи, которую волили мы; он — спросил под конец:

— «Вы свободны в июле?»

Переглянулись: в июле уже возвращались в Россию (без денег); взгляд Аси (ответный) — сказал: «Да, свободны»; ответил:

— «Свободны».

— «Так вот: приезжайте ко мне вы — в июле; в июле я в Мюнхене буду. Там будет досуг поговорить очень тщательно обо всем; в то же время вы можете ознакомиться с нашею жизнью; и ближе увидеть движение наше: согласны?»

— «Мы — будем».

— «Так до свидания — в Мюнхене» — очень приветливо он улыбнулся, пожал руки нам.

Так то стали и мы «штейнерианцами»; идеологически не было тут измены пути; это было созревшим решением, выходом органическим *из событий*, разгадки которых искали.

В тот же день мы вернулись в Брюссель; в тот вечер сидели на чествовании Меттерлинка (в театре); и сам Меттерлинок, о котором когда то так много мечтал гимназистом, казался мне: грубым, упитанным, примитивным *шоффером* пред Рудольфом Штейнером.

Мы вернулись с решением: дом № 76 — позабыть; проезжая в трамвае по улице мимо дома — мы видели: обитатели дома уехали; окна — закрыты: слепые; дом — хмуро пустой; показался он нам неприятным.

2. ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ

Естественно: по возвращении в Брюссель писали мы Эллису, по нашим расчетам, вернувшемуся в Берлин — написали о встрече и разговоре со Штейнером; тотчас же прилетела от Эллиса телеграмма, что он едет в Брюссель; а на другое уж утро — стук — стук: стук решительный в дверь (о, вполне материальный!): «Entrez!» Дверь стремительно отворяется; и — появляется на пороге ее неузнаваемый, бритый и ставший медлительным Эллис в совсем запыленном своем котелке — без вещей: с малым сверточком: будто не разделяли нас месяцы (ведь семь месяцев мы не видались); и будто бы перервали на миг мы последнюю нашу беседу (семь месяцев ранее); не здороваясь с нами, завел с нами он разговор, иль верней — продолжение разговора, который он вел, очевидно, в дороге: посыпались быстро на нас — поученья, сентенции, сведения, почерпнутые им из слышанных циклов лекций. Пытались его усадить, напоить крепким кофеом с булками; нет — ах, куда тут! Воссевши среди нас, собирая колючком свои потемневшие и не как прежде, кровавые губы, откинув назад свою лысую голову, сжавши холодные мертвые пальцы холодными мертвыми пальцами и прижимая к груди их, не глядя на нас, Эллис сыпал цитатами, текстами слышанных лекций и читанных курсов, вполне побивая нас огненными дождями словесными и

превращая нам в Мертвое море цветущий ландшафт обывденной действительности.

Эллис всегда выросстал в агитаторской нервной стилии, имея чудеснейший дар: увлекать увлечением своим: через три иль четыре часа мы очнулись от фейерверков космической панорамы, раскинутой Эллисом: та панорама — учение о культурах, сознаниях, телах, иерархиях, природных явлениях, пересеченных друг в друге: с экспрессией, свойственной Эллису, изображал он вид древних атлантов; когда же дошел он до облика лемурийца, дышавшего полужабрами и подскакивающего при ходьбе, как лягушка, то руки приставил он к шее, изображая талантливо орган дыхания лемурийца и выпятив странно глаза, принялся он подскакивать; это скаканье по комнате только что к нам прилетевшего Эллиса, запыленного после дороги и не желающего даже нас расспросить, почему мы приблизились к Штейнеру, — производило на нас свое действие; в импрессионистическом кинематографе теософских идей было столько пленительной, непосредственной силы, что слышали мы, раскрыв рты, эту мощную космогоническую поэму, в которой провел пред сознанием нашим он «Тайноведенье» и «Теософию» Штейнера: без передышки. Словом: обделал он нас «под орех»; противопоставить ничто не могли мы ему; все, что он говорил, разбивало легенду, которую я составил себе об учении Штейнера, то есть, легенду о материалистической мистике, смешанной с рационализмом, и в том, и в другом обвиняли мы Штейнера; Эллис провел перед нами учение Штейнера в подлинном, не догматическом, но динамическом его аспекте; и выявил топусы христианства в учении этом; впоследствии я познакомился с курсами Штейнера; и оценил совершенно блестящую экспозицию антропософии,

данной нам Эллисом; предрассудки развенчались: будто бы должен я отказаться от личного «credo», и потерять мое право свободомыслия, чтобы стать теософом.

Не помню, когда мы очнулись от урагана космических образов; все на столе было скошено: скомкана скатерть; и кофе пролито на стол; ковер — сдвинулся; кресла — расставились (не удивительно: тут, среди комнаты, так таки и прошлись перед нами: преадамиты, гипербореицы, атланты и лемурийцы):

— «Нет, понимаешь ли» — схватывал меня за руку Эллис, представивши, как на древней луне испускали животные ревы мы (он — заревел!) — «Понимаешь ли, какая гадость! А? Что?» И на бледном лице его вспыхивала демоническая усмешка, изображающая отношение его к безобразиям древней жизни:

— «Ты понял? Вы поняли, Ася?»

И Ася кивала головкой в кудрях.

— «Поняла».

— «Слушай, Лева» — пытался я перебить его: «Тебе - б выспаться; хочешь умыться?»

Поглядывая на пропыленный пиджак свой, дешевый, прелехкий (как видно, жилось ему плохо), он тут только вспомнил, что ночь он не спал:

— «Да, нельзя ли почиститься? Нет ли тут где-нибудь щеточки»...

И подумав еще, он прибавил, рассеянно и чуть конфузливо улыбаясь:

— А скажи, кстати, мне: тут какая же, собственно говоря, циркулирует система монет?»

— «Как какая? Да франки»...

— «Я, собственно, упустил из внимания это».

— «Но, — как ты приехал?»

— «А очень просто: в Берлине купил я на марки билет».

— «Ну а здесь чем платил?»

— «Да я, собственно, говоря, не платил ничего: я приехал; с вокзала же пешком к вам пришел».

— «Но у тебя есть же деньги».

— «Да, собственно говоря, денег нет у меня: марок несколько есть»... Переглянулись мы с Асей: *таков* он всегда был; делился последними крохами с первым попавшимся; брал, когда нужно, — себе: точно птица небесная! Получивши письмо, что мы были у Штейнера, — понял одно он, что надо стремительно мчаться к нам: нам проповедывать истину; на что ехать, как ехать — последнее дело; с собой притащил он нам несколько курсов лекций, наверное, заплатив за них все, что имел; на последние марки примчался сюда; а на что он вернется, и чем будет жить, — не подумал (конечно снабдили его мы билетом и очень немногим, что нужно ему: он способен был жить на ничто): совершенная птица небесная!

И этого человека в течение года клеймили писаки газетные, будто с корыстной целью вырезывал он в музее страницы из книг!..

— «Ну и всегда ты так, Левушка, путешествуешь за границей?» — спросил я его.

— «Как же иначе: собственно говоря — так всегда» засмеялся он нервно, задергал плечом (его жест) и схватился за сбритые усики, чтобы дернуть их (тоже привычка); и дернул за воздух.

— «Изъездил Германию; был в Скандинавии, был в Гельсингфорсе, был в Дании; и — приехал вот к вам: безо всякого представления о «*монетных системах*», отелях и прочей вещественной дребедени».

— «На что ж ты живешь?»

Знал: его субсидировал «*Musaget*», заказав переводы из Вагнера; но «*Musaget*» платил мало; на эти гроши, знал, наверное, я, не раз'едешь по Европе.

— «На что я живу?» расхохотался он и развел препотешно руками — «умора; и — только: Волошин, Маке, — вот спасибо ему — меня, знаешь, пристроил к слепому еврею: водить по Берлину его». —

— «Так ты, стало быть, поводишь?»

— «Да!»

— «Но это же скучно?»

— «Да нет же: слепец мой — ученый хассид, много лет упражнявшийся в медитациях и молитвах; переусердствовал до того он, что эти его упражнения отразились на нервной системе; от этого он и ослеп: интереснейший, право, субъект: с ним не скучно».

— «Нет: это — великолепно!»

— «Мы с ним философуем, спорим, критикуем друг на друга: он все обращает меня в хассидизм; я его побиваю цитатами курсов. Вот только он очень капризен: расползется где-нибудь в ресторане; и разрывает сношения со мной; не желает, чтоб я его вел, а уйти сам не может ведь; я его все-таки — за рукав; и веду; он — старается освободить свою руку и заявляет мне, что различие в убеждениях не позволяет ему, чтобы я его вел: а куда ж без меня ему? Трогательно и смешно: впрочем, в общем, мы ладим!..»

Подумал я: да, — вот картина: невероятный, незрячий чудак, прерассеянно проводящий другого, слепого, под трамваями, автомобилями миллионного города, с риском его подвести под трамвай: оба спорят о Вечности и о том, как верней медитировать.

Этого и в романе не выдумаешь.

Покормили мы Эллиса; спать уложили его; после подняли; поводили по Брюсселю.

Годы, годы кричал он в Москве, потрясая на нас грозно перстом, что «jeune Belgique» — откровение литературы: Верхарн, Роденбах, Меттерлинка и Ван-Лерберг суть гении; есть единственный стиль: стиль готический! Все иное есть дрянь! Вот и думали мы, что, попав наконец в те места, где созрели творения Роденбаха и Лерберга, Эллис выкажет к этим местам интерес; повели мы его в те места, где на площади красовались прекраснейшие перлы готики; мы частенько сюда приходили; и любовались: оживальными арками, вырезными розетками; думали мы, что же будет теперь с нашим Эллисом при созерцании великолепия? И что же: рассеянно схватываясь за отсутствие уса и опустив низко голову с заблуждавшими зеленоватыми глазками, Эллис не видел вокруг ничего, отдаваясь мысленным ходам:

— Да, посмотрите, Лев Львович, какие розетки — настойчиво теребила его удивленная Ася, схватив за рукав.

— «Лева, не видишь ты разве: ведь — чистая, старая готика, а не «*Style flamboyant*» — теребил за другой рукав Эллиса я.

— «Да, да, да: хорошо, хорошо» — ответил он рассеянно, мельком взглядывая на розетку и отворачиваясь медленно к ходу мыслей:

— «А, каковы мерзавцы!»

— «Да кто?»

— «Лемурийцы».

Махнули руками на Эллиса мы: он и готики вовсе не знал; ему готика нравилась — в мыслях о готике; все

конкретное — знал он; но — между тем: был при случае он поразительно наблюдателен.

Здесь ни на что не смотрел; ничего не видел. Два дня и две ночи он нам проповедывал боготворимого доктора Штейнера; напроповедывал; и уехал в Берлин: слушать лекции Штейнера; и водить по Берлину ученейшего, слепого хассида.

Мы, простившись с Эллисом, принялись за внимательное изучение немецкого языка; и за чтение курсов, которые нам привез Эллис.

И — странно: тот Брюссель, в котором недавно еще пережили столь многое мы, перекрасился как то: из светлого Брюсселя стал угрожающе мрачным; нам стали встречаться на улице все какие то ужасающие уроды; кривились нам рожи; какие то встречные, нам казалось, на нас демонически ухмыляются; а по ночам нападали кошмары; мы — вскакивали: принимался нас кто-то душить; очень странное чувство закралось нам в души; те рожи и эти кошмары не суть ли симптомы преследования со стороны подозрительных оккультистов; припоминались иные страницы из Стриндберга; то, о чем пишет в «*Inferno*» он, переживалось в Брюсселе нами, — в том городе, где нам слышался странный, влекущий нас зов: «Приходите, идите — к нам, к нам». А когда к этим к «ним» не пошли, но поехали к Штейнеру, то «они» вдруг — осклалились; и обстреливали кошмарными снами и обсыпали кошмарными лицами на жарких улицах, мстя очень мелкими гадостями, происходившими с нами. Так я оплотнил бы в естественном символе происходившее.

Кроме того: из Москвы приходили известия, выводившие из терпения нас; снова Метнер почти что привязы-

вался очень странными, точно нарочно выдумываемыми нападками и придирками; в этом жесте оказалась определенная злоба на нас и досада, что вот из Москвы ускользнули, в опеке «культурного» Метнера не нуждаясь вовсе; пытался, как мог, передать москвичам о поездке в Германию и о встрече со Штейнером; но в ответ на попытки какую то правду свою передать, — раздавалось глухое, враждебное и недоверчивое молчание; лишь от Метнера притекали все более и более истерические послания на двадцати и более крупных листах; в них мне вменялось, будто бы предал я «*Мускет*»; и с насмешкой указывалось: от меня, де, автора «*Символизма*», теперь надо зорко оберегать символизм, ибо я теософ.

Это все — мне казалось: несправедливым и мелким; вернувшись из Кельна, писал так: для «*Трудов и Дней*» я статьи: о символизме, который де предал; в ту именно пору особенно чувствовал я символистом себя; в идеологии — ничто не менялось; нападки (и *аги*, и *оги* о том, что погиб де) напоминали мне мелкие пересуды московских, стареющих кумушек с замкнутым кругозором, составивших себе некогда шарж на духовное знание; в кругу прежних друзей начиналось издевательство над конкретнейшими и святейшими устремлениями моими; я знал: ничего не теряю из прежнего; лишь открылось мне новое нечто, меня выводящее в широчайшие кругозоры сознания.

3. У ШТЕЙНЕРА

В начале уже июля были в Мюнхене; Эллису, переехавшему под Мюнхен вместе с семейством фрау Поольман-Мой; написали письмо мы; фрау Мой, урожденная голландка, спиритка, потом — астролог, наконец, теософка,

одна из талантливейших штейнеристок, дружила с неукротимейшим Эллисом. Одновременно: мы сделали обязательнейший визит графине Калькрейт, — проживавшей с подругой Софией Штинде, на Adalbertstrasse; к ней было поручено нам обратиться; под ней, иль над нею (не помню) — жил Штейнер.

Бывшая фрейлина, видевшая у отца своего императоров Александра II-го, Вильгельма Первого, посещавших его, отдалась вся делу Штейнера, помогая движению, помогая отдельным с движением связанным людям; она раздавала последнее; и работала по 18 часов в сутки; потом уже, посетив ее дом, вспомнил я: в этом именно доме я был еще в 1906 году, у А. Р. Минцловой, встретившей меня как то на улице в Мюнхене; в это время А. Р. была верною ученицею Штейнера, была в центре всех избранных учениц, про которых, смеясь, говорили, что будто бы круг их есть подлинно «зодиак» вокруг солнца; «зодиакальные тетки» держали себя очень гордо; графиня Калькрейт, А. Р. Минцлова, София Штинде вместе когда то сидели в одном «зодиаке»; друг с другом дружили; поэтому А. Р. Минцлова и проживала всегда у графини Калькрейт в бытность в Мюнхене.

София Штинде, графиня Калькрейт — незабываемые фигуры в движении Штейнера; обе — старинные ученицы, почти первозванные, самоотверженно работали годы для мюнхенской логи; графиня Калькрейт, прехудая, предлинная, розоволицая, голубоокая, лет почтенных уже, отличалась доброю, каким то сияющим видом худого лица; одевалась она — во все *розовое*; София Штинде, остроумная, острая, лет, как кажется, одинаковых с летами Калькрейт, проносила с насмешливым несколько видом свой белый, нерозовый лик; одевалась во все *го-*

лубое; С. Штинде с Калькрейт были вместе всегда; и вращали движением Мюнхенского отделения Общества; в Мюнхене к ним попадали все мы, новички; наблюдали за нами, оне, оберегали свободу работы Р. Штейнера: от назойливых посетителей. Мы появились у них с указанием: доктор просил нас чрез них известить о приезде его; потом выяснилось: оба стража приезд наш скрывали от доктора дней эдак 10 (вполне им сочувствую); первое впечатление от старушек: одна выражала собою все *нежнорозовое*; *голубое* собою выражала вторая; и на собраниях общества, перед лекциями они играли в помещении логи на двух фисгармониях; во всем розовом, розоволицая графиня Калькрейт помещалась налево; направо же — вся в *голубом*, за фисгармонию тихо садилась приземистая София Штинде; на представленных «Мистерий», в театре, они отбирали у входа билеты; у правого входа стояла предлинная прехудая, розоволицая *розовая* графиня Калькрейт; а у левого входа показывалась *голубая* и бледнолицая Штинде; перед поднятием занавеса — то же самое: в первую ложу направо — просовывалась *розовая* Калькрейт; и являлась в первую ложу налево — голубостолая, голубая вся Штинде; пред кафедрой Штейнера рядышком сжижали подруги (та — в голубом, эта — в розовом) — в первом ряду. Неизбежное двуединство цветов сочеталось с двуединством натур этих милых, любвеобильных и благородных старушек; вот первое впечатление Мюнхена: Штинде, Калькрейт; встреча с Эллисом, с Поольман-Мой, поражавшей умом, остроумием, эзотеризмом, соединенным с изяществом, выдержкой — впечатление второе; приезд же Наташи Тургеневой-Поццо, к нам, в Мюнхен, — событие для нас важное; мы подыскали себе помещенье (против мюнхенской академии с

пансионом, с прекраснейшим видом на арку, увенчанную конями); и здесь ожидали свидания с Штейнером.

И — состоялось оно; первый мюнхенский месяц мы трое бывали у Штейнера еженедельно.

Не стану описывать этих свиданий: в июле и в августе; лет через десять, найду я, быть может, приличную форму: изобразить их; я должен сказать: впечатления были мне горьки, и радостны.

Горьки. Да потрудитесь-ка, будучи автором 13 книг, идеологом символизма, здесь выглядеть: учеником, *grand nîgaud*, у которого нет никаких достижений, идей, и которого функция — догматически вы зубрить теософический катехизис; все те новые люди, с которыми приходилось мне сталкиваться, отличались одною чертой: удивительным отсутствием интереса к моральному миру, с которым приплы мы сюда; как то чувствовалось невольно: они говорили без слов: «Да, учитесь, учитесь, что можете знать вы; вы — сошка, такая же, как и все вокруг Штейнера; может быть, вы и профессор, а, может быть, круглый невежа; пред Штейнером все мы невежи; быть может, вы только бездарность, быть может, вы крупный талант; перед Штейнером все мы бездарности...» и т. д. Все начинали учить меня: у человека — 7 тел, 3 души; в человечестве — семь культур; мы же — в пятой. Все сведения по истории, этнографии, биологии, нам сообщаемые, были цитатами из Р. Штейнера. Тут же заметил я: многие теософки, способные разговаривать о всех науках и всех культурах, не ознакомились с литературой вопроса, который, бывало, они разрешали при помощи «*Doktor hatte gesagt*». Так: если бы Штейнер о Ньюtone не упомянул бы в том или этом своем сочинении, то для людей, характеризуемого типа, не существовало бы в исто-

рии Ньютона; разговаривали докторально о математике, об искусствах, о химии, о персидских пророках на основании той или иной цитаты, порой только слова, когданибудь оброненного Штейнером; соединение сектанства с поразительным отсутствием интересов к чему бы то ни было, кроме Штейнера, характеризовало тот тип теософок, которые были прозваны «*теософскими тетками*»; и характеризовала тот тип удивительная любовь к сплетням (мистическим, оккультическим, просто житейским).

Да, «тетка» есть тип; подавлял он количеством; прийдя в общество, не разглядели-б сразу вы действительно замечательных, образованных, углубленных людей (они были — не в малом количестве; и они доминировали морально); но «тетка», так сказать, выступала наружу при первом знакомстве с движением Штейнера: она первая к вам подсказывала, начинала учить, агитировать, ставить отметки вам, даже за вами подглядывать; с беззаветным усердием «тетка» готова была наставлять вас, расстраивать даже семейную жизнь. Вид этой тетки? Бледна, зелена, некрасива, немолода, худая, часто в очках, часто стриженная, в яркой тунике, в яркой столе, не гармонирующей с цветом туники, с преогромным крестом на груди, с острым носом, с «*esprit mal tourné*», с неблагоприятием в сфере пола: та «тетка» на новоприбывшего вылезала из всех буквально щелей; шла гурьбою, размахивая руками на вас, подносила вам книжечки Штейнера, истолковывала их наивно, не допуская и мысли, что вы можете лучше понять то, что ей ведомо.

Этот тип теософки, всегда появляясь на авансцене движения пред новичками, годами отпугивал от движения многих искренне и глубоко подходящих; воистину: выдержать «тетку» и не сбежать — есть победа над искусом;

«тетка» — жалкая, балаганная карриатура, повешенная на дверях «храма познания»; кто проходил эту дверь — попадал в удивительные ландшафты движения; и встречался с действительно замечательными людьми, сперва заслоненными «теткой» (теперь пошла «тетка» на убыль: когда то в периферии движения подавляла количеством эта «тетка»; царил количеством).

Разумеется, не одну только «тетку» мы видели: мы встречались с глубокими, образованными, исключительными натурами (в роде Штинде, Шоль, Поольман - Мой); но лишь Поольман - Мой понимала действительно, кто, мы, каков наш подход к теософии, как подавать познавательный материал нам; другие (не говорю я о Штейнере) как то не видели нас: не за тех принимали; здесь, в теософском движении было столько бездарных людей, повышающихся, так сказать, в рангах общества многогодовым выпотеванием из себя элементарнейших достижений.

И жест, вас встречавший порою у умных и тонких людей, поражал меня первое время, — надменством и менторством; чувствовался мне порою окрик: «Молчите, сидите, учитесь тому, что подносят вам, — вас не спрашивают!» Хотелось порою взорваться: «Позвольте, — вы сообщаете мне ваши знания таким образом, точно *a priori* вы заключили, что я — совершенный невежа, осел и дурак: может быть, «теток» учат так, — «доктора», автора многих книг, много думавшего человека, — не учат так». Приходилось мне видеть не мало серьезных, известных и даже великих людей (Соловьева, Толстого, Жореса, Ключевского и т. д.); и никто, никогда не выказывал по отношению ко мне такого начальнического превосходства, как некоторые из истолкователей Штейнера. Раз снисходительно удостоили здесь вопросом меня: «Понимаете ли

вы выражение *in statu nascendi*?» Хотелось воскликнуть в ответ: «А вы понимаете ли, с кем имеете дело?»

Да, «тетку» мы встретили, как испытание терпением; думаю даже: я был потрясюще скромн в то время, — недопустимо скромн, произвольно обманывая людей, поучавших меня тому именно, чему мог бы учить их я сам; испытание самолюбием порой было остро: так, мне показывали десятистепенных немецких писателей и предлагали впадать в телячий восторг оттого, что среди «*unsere Bewegung*» находятся «*solche berühmte Menschen*». Хотелось воскликнуть: «Оставьте, в России я сам занимаю естественно положение, несоизмеримое с вашими *берюмтостями*; извините, — впадать в ваш восторг не могу!» но — молчал.

Да, тактику Штейнера по отношению к себе — до сих пор не пойму до конца; с затруднением выражаясь по немецки, не мог совершенно отчетливо высказать то, что меня волновало, ему; а немой в отношении языка — идиот; и таким идиотом себя ощущал я; выдумал способ общения с Штейнером: я рисовал ему мысли — вопросы мои, и на эти то схемы он мне отвечал — часто схемами; отвечал вполне ясно, конкретно; и — тем не менее: мне казалось: не за того принимают меня; возразить же не мог: я поставил себе послушание в метод; усилием воли заставил в себе замолчать очень много вопросов; и голова моя становилась «*tabula rasa*» порою; я снял мою голову с плеч, сохранив за собою моральное право: надеть мою голову. Я, Андрей Белый, привыкший влиять, платформировать, становился вдруг «*dieser lieber naive Bugaeff*» с образованием четырех первых классов гимназии; для самолюбия человека, всю жизнь провращавшегося в угонченнейших литературных и философских кругах — со-

гласитесь: переносить было трудно свое новое положение — идиота, тем более, что за этот идиотизм от меня отвернулись столь многие: в Москве, в Петербурге. Повис в безвоздушном пространстве я; внутренно, — исполнялось задание: превратить себя в *tabula rasa*, перепроверить себя: может быть, 2×2 не «4», а — «5»? Я во всем, что я знал, должен был усумниться, чтобы критически выстроить здание независимой своей мысли; и я — усумнился; я всякую небылицу порою учился встречать предположением (сознательным): ну, допустим, что — так это; если ж не так, — от противного парадокс отпадет.

Так я силился конкретизировать лозунг теории знания Штейнера, что в начале теоретико-познавательного изыскания предпосылки познания должны быть отвергнуты; я отверг предпосылки познания, данного мне; к новому ж, к твердому, к точному знанию я не пришел еще; было мучительно видеть, что скромность моя, вытекающая из решимости усумниться — решимости, на которую не у всех хватит сил, — в восприятии большинства теософских знакомых моих подходила на примитивную простоту «*grand niaud*», иль Иванушки, тридцатилетнего русского дурачка.

Переносить это было так горько, — казалось порой: незаслужено горько!

Отрадою было мне: в тихенькой комнате по вечерам углубляться в огромные циклы, рисующие полеты, перед которыми меркли и мистики и теологи всех времен и народов; меня восхищала конкретность духовного знания, где глубокие мысли об иерархиях и тайнах культуры естественно отражались в мельчайших движениях жизни обычной, в предметах обставших; и было мне ясно, что сферы планет и сознания высших существ — не над нами, не

там, в трансцендентном, а здесь: в пульсе крови, в количестве угольной кислоты, растворимой в крови — всплески ангельских крыльев у демонских крыльев; действительность, нас обстающая, есть — не прочитанный свиток духовного мира; а расстояние наше от этого мира есть расстояние животного, не умеющего увидеть на плоскости — перспективу, пространство; ведь для животного изображенная пирамида на плоскости — пересечение линий; и — только; умение пирамиду увидеть есть для него оккультизм, одолеваемый упражнением; в координации линий, выдавливающих пространство: из плоскости.

А духовное знание есть продолжение той же способности — координировать: три измерения в четыре; четыре, пять — в шесть; мы создаем на картине рельеф — только мы: так мы строим действительность перспективы; так точно: вхождение в мир духа — умение правильно перестроить душевную перспективу из линий; и далее: строить из сложенной перспективы душевной — духовный рельеф; мир в физическом опыте — сплюснен до линии; линия же физического предмета есть линия плоскости мира душевного; плоскость души — одна плоскость духовного тела; так: линии нервов и жил — грань души; души — грани пространства духовного; так что ангелы и архангелы — здесь; и в конкретнейших мелочах ежедневного обихода звучат: звуки космосов, пенье архангелов. От вопроса о том, как построить сегодняшний день, судьбы мира меняются.

Точка зрения эта была мне близка; но я видел, что это — не есть «точка», а «линия» взгляда; ах, столько я слышал «словес» о мистическом опыте; действительный опыт в «словесах» был — ничто; еслиб мы ограничились рассуждением о вообще электричестве, газе, материи, не

были бы построены нам мосты; не горело бы в городах электричество; философски бы мы не построили формулы расширения газа; в применении к практике жизни перестроение опыта мне давала метода Р. Штейнера: рассуждение о вообще электричестве, превращала в конкретную формулу скорости распространения тока и силы его; спрашивал некогда: как поступить мне сегодня (в такой то вот день) по такому то поводу, то-то, конкретизировав обычную формулу поведения коэффициентами расширения сознания в Дух и приняв во внимание, что в духовной действительности социальное положение граждан ее — таково то; мне духовное знание разрешало проблему; и то, что в науке отвечает лаборатории (без нее невозможна наука), встречало меня в указаниях Штейнера, разрешавшего, как естественно приступить к шести правилам упражнений, указанным в книге его *«Wie erlangt man»*. Да, вечером, утром я предавался вниманию к мысли; учился контролю сознания по указаниям Штейнера, принимавшего первое время не менее раза в неделю; он расспрашивал о движениях наших; я чувствовал восхищение — разрешил я Колумбов вопрос об *«яйце»*: как начать мне задачу переплавления сознания, перерождения органов восприятия жизни в слагаемые органы восприятия душевно-духовного мира; что в этом есть подлинное достижение жизни, — я знал: ибо прежде еще я писал: *Символическая драма может изображать одно: перерождение органов восприятия жизни*; в систематической медитации — гравировальный резец, незаметно штрихующий наше астральное тело; во вздогах его — штрихованье эфирного; а в штриховке последнего — физиологические перерождения восприятий; в работе, загаданной Штейнером, я замечал, что — покрыт, точно зверь, безволосый

недавно, вокруг проростающей шерстью узаний, меня потрясаящих; я ходил потрясенный, взволнованный от огрешности узанного, к которому еще слова не было; были лишь знаки без слов; Штейнер четко давал разъяснения знаками схем своих — на сложнейшие знаки вопросов моих, и я был терпеливый работник, слагавший массивы для моста чрез реку; а Штейнер мне был — инженером, дававшим отчетливые вычисления: мост на тот берег, — медитативная работа сознания; берег — мир духа: координация линий плоскости в определенный рельеф, слагавшийся мне в *первый раз*; нет, подумайте: годы ведали вы, что картина садов за окном — лишь обои; деревья под ветром — заколебались; картины садов неподвижных — лишь миг в мире сада; а миг тот — моя миновавшая жизнь; но сад тронулся — ветром: и узоры *«обойных орнаментов»*, побежавшие вдруг перед носом — стихийные существа четырех измерений; а ветер, качнувший их, — ветер усилия воли: к сознанию, координация линий в фигуры эфирного тела; теперь стало ясно, что то, что стоит перед вами, как *«здесь»*, лишь линейная грань многогранного тела, выдавливаемого в пространство, за стекла — *«туда»*; наоборот: отвлеченные мысли о *«там»*, *«по ту сторону»*, — с потрясающим реализмом вдавлены сюда, как кипение жизни душевных существ вашей кровью, как вздоги гроз *«тамошней»* жизни тончайшими окончаниями здешних нервов; вы чувствовали бы себя, точно вывернутыми наизнанку, иль ставшими пятками в небо и головой — в земной шарик. Говорили доселе вы: *«я хожу на руках: я — паяц»*. А теперь вы впервые узнали: стояние *«кверх ногами»* есть правильная ориентация; *«бездна»* разверзлась под ногами, да, да: символисты гласили о *«бездне»*; теперь ощутил эту *«бездну»* во всем потря-

сающем я реализме; тут Штейнер меня понимал; он давал указания, как справляться с пугающим проростанием тела — в зательное; да, кто в плоскости, в семи скрещенных линиях не увидит рисуемой пирамиды — меня не поймет, а раз увидевших контур рельефа на плоскости уже не сможешь не видеть отчетливой пирамиды среди линий; и я увидел в переживаниях своих, в переживаниях А. А. Блока, — фигуру вмешательства *мира иного*; и — да: Блоку все таки я не мог бы сказать ничего; я давился от криков, которыми мне хотелось поведать друзьям о громадности новых узваний, меня оброставших; но — знал: голос мой будет голосом, точно под колоколом, из которого выкачен воздух; не голосом — будет отсутствием голоса он, или путаницею неразборчивых линий, лишь мне явно сложенной в пирамиду; и потрясаясь я страхом и чувством, что я проростаю и уростаю — куда то, отчетливо укорачиваясь в проявлениях «здесь»; великая драма без фабулы: драма перед вратами мистерии, о которой я сам еще прежде писал: *«Мы оказываемся стоящими кверху ногами при взгляде туда»* («Арабески». Стр. 231); *«пропасть разворачивается у наших ног»* (ibidem: 231); *«ничто не предохранит... от... опасностей»* (228); «опасности» — перерождение сознания, очищающегося от былых предразсудков; «опасности» — возможности срывов, бросающих в «вырождение»; *«выйдут призраки с песьими головами: ...призраки ужаса»* (4); *«Нужно переродиться»* (174); а это значит: переместиться; и выпрыгнуть из себя самого; или выдернуться, как из перчаток, из органов осязания, зрения, слуха, — в неслышно-безвидную неосязаемость, чтоб *оттуда сюда* развить новое зренье; об этом скачке с потрясающим реализмом заговорил скоро Штейнер на мюнхенском курсе, суммируя формой новые пережития мои; да,

великое утешение и великая скорбь мне скрестились; мое утешение — реализм всех узваний: под руководством учителя; горечь — давящее одиночество косноязычия; все узванья мои в тот период — обратно пропорциональны способности выражаться; я, внутренне расширяясь, внешне ссылаюсь до точки... идиотизма; и чувствовал: *«человек перестает быть человеком»* («Арабески», 78): *«подходит к мистерии, которая никогда не снилась древним грекам»* (4).

В ту пору готовились к постановке «мистерий», написанных Штейнером; по ночам он дописывал третью мистирию; днями присутствовал на нескольких репетициях, очень подробно уча, как играть и входя во все мелочи постановок — вплоть до деталей костюмов; в свободные промежутки он принимал отовсюду с'езжавшихся теософов, следил за новинками книжного рынка, писал свои книги, готовился к курсу; мое удивление пред ним, человеком, которого нервы есть сталь, — выросло; и род священного трепета я испытал; так я выглядел перед ним совершенно растерянным; мы бывали на лекциях; помнятся: лекции Юли, теперешнего председателя антропософского общества; видывал д-ра Пайперса, отыскивающего новые методы лечения светом; но не был знаком с ним; к нам хаживал теософ, поляк Рихтер — художник; мы ездили каждый день к фрейляйн Шолль, очень умной, начитанной, нам любезно дававшей уроки немецкого, — сводившиеся к интереснейшим разговорам о гетевой теории света, о иерархиях; еще приходила к нам фрейляйн Ганна: переводить мистерии; часто виделись с (приезжавшими из под Мюнхена) Эллисом, Поольман-Мой; Эллис нам читал курс; в нем прекрасно слагалась картина учения Штейнера; а Поольман-Мой — растолковывала иные из новых переживаний сознания; так вводились в круг зна-

ния курсов, прочитанных прежде, чтоб понимать предстоявшие лекции; день был наполнен; казалось снова — студент; утром, вечером — практика (медитаций); днем — чтение курсов, приготовление отчета, сдаваемого нами Штейнеру или разговор с Поольман-Мой, или с Рихтером, лекция Эллиса; вечером — занятия с Шолль, с фрейляйн Ганна; сидели весь день за работой; и — будто не было Мюнхена.

С августа начался уже с'езд: из Норвегии, Швеции, из Германии, из Швейцарии, Австрии, Польши, России (приехало более тысячи человек) появились: Викентьев, Сизова, Н. П. Киселев и Петровский; мы виделись как то рассеянно; новые наши знакомства оттягивали от общения с москвичами; приехала М. В. Собашникова, вернулся Трапезников, проживающий в Мюнхене; и пришло время курса.

Не стану описывать курса и постановку мистерий; скажу: впечатление было огромно; огромным казался нам Штейнер; мистерии длились три дня (с 10 утра до 5-6 дня); каждый вечер ходили на лекции: Унгера, Бауэра, Юли; потом длился курс; днем — завязывались знакомства и встречи с наехавшими теософами.

Вот окончился с'езд; все мы падали с ног от усталости; в промежутки меж лекциями Штейнер принял не менее трехсот человек; и был ряд заседаний, в которых изволнованно обсуждалось расхождение с Безант, по вопросу об ордене, ордене «Восточной Звезды», против которого гремел Штейнер. Не утомился лишь он. Собирался из Мюнхена — в Базель: читать курс «Евангелие от Марка». За ним и мы ехали; но сперва проводили Наташу — в Россию, простились с москвичами и — тронулись: дней за десять до курса, чтобы побыть в одино-

честве; и — разобраться в потоке разнообразнейших ощущений, нас разрывавших буквально; два месяца, прожитых в Мюнхене, показались годами, отрезавшими навсегда от прошедшего: все интересы Москвы были где-то — на Марсе; и даже: казались заслоненными дымкою — впечатления Брюсселя.

Отделял же — действительный сдвиг; первоначальные прорези *опыта*. Да, какую то перешел я черту, разделявшую жизнь на две части: до мая 1912 года; и — после.

Черта остается доселе.

София Парнок

С Т И Х И

ДИРИЖЕР

У Гоффана такие маги:
Он был вертляв и невысок,
Он был — как черный завиток,
К нам с нотной прыгнувший бумаги.

Взмахнул — и горлицы душа
Затосковала в тесной флейте.
Кивнул он струнам: «Ветры, вейте» —
И вот, Эол в них задышал.

Как крылья, две его руки,
Взлетев, над нами тьму простерли,
И зазвенело в медном горле
Рыданье древнее тоски.

И вот отрывисто и сухо
Мелькнула палочка, и ввысь
Из плена струнного взвился
Им расколдованные духи. —

И темноогненный прибой
В тот миг заклокотал в оркестре,
И дивный ужас нас посетил
На веки вечные с тобой.

★

«Который час?» — Безумный. Смотри, смотри:
Одиннадцать, двенадцать, час, два, три —
В мгновение стрелца весь облетает круг!
Во мне ль, в часах горячечный этот стук?
Он гонит сердце биться скорей, скорей
Скороговоркой бешеною своей.

Ах, знаю, скоро я замечусь сама,
Как этот маятник, который сошел с ума,
И будет тускло-тускло гореть ночник,
И разведет руками мой часовщик,
И будет сердце биться, хрипя, стена, —
И на груди подыргивать простыня...

Где будешь ты в ту полночь? Приди, приди,
Ты, отдыхавшая на моей груди!

★

Краснеть за посвященный стих
И требовать возврата писем!..
Священ дар и не зависим
От рук кощунственных твоих!

Что возвращать мне? На, лови
 Тетрадь исписанной бумаги!
 Но не вернуть огня, и влаги,
 И ветра этих слов любви.

Не ими ль ночь моя черна,
 Пустынен взгляд и нежен голос?
 И знаю ли, который колос
 Из твоего взошел зерна?

Грегорио Мартинеу Сиерра

ДНЕВНИК ДЕВОЧКИ

Перевод с рукописи

Сегодня мама ссорилась с Пакой; ссорятся они почти ежедневно, но сегодня — злее обыкновенного; когда мама ушла на репетицию, Пака расплакалась, как теленок, и крепко обняв меня, горячо целуя, сказала:

— Ах, бедняжка моя, как мы несчастны!

Мне кажется, что мы не так несчастны, как говорит Пака; но мне очень больно было слушать это: говоря, она так меня прижимала, что мне тоже захотелось плакать. Конечно, я и заплакала. Когда, в сумерки, мама вернулась, мы с Пакой плакали, сидя в потемках, потому что в гостинице вечер наступает раньше, чем на улице. За то мама пришла очень довольная; она принесла большой пучек очень маленьких роз. Она удивилась, застав нас в слезах, и тревожно спросила, не случилось ли с нами несчастье, но, узнав, что ничего подобного нет, а плачем мы потому, что она ссорилась с Пакой, мама засмеялась, назвала Паку большущим животным, подарила ей кольцо и две юбки, которые надевала не больше одного раза; потом она обняла меня и долго целовала, называя и херувимом, и небом, и звездой своей матери; а я, должно быть, такое же животное, как Пака, или еще больше, по-

тому что, когда мама называет меня своим небом, я очень довольна, но плачу, как будто бы мне от этого грустно. Мама спрашивает тогда, что со мною. А когда я ей это говорю, она начинает смеяться, и обнимая меня, говорит Паке:

— Как она похожа на мать!

На что Пака отвечает:

— Было бы куда лучше без этого поразительного сходства...

★

... Не знаю, почему Пака говорит, что лучше, если бы я не так похожа была на маму; ведь мама очень красива, красивее всех дам, каких я вижу, и уж Пака-то наверное хотела бы быть на нее похожей; Пака такая не красивая, маленькая, сутулая, глаза у нее точно с просянкой и постоянно мигают. Но себе самой она, должно быть, не кажется такой некрасивой, потому что часто любуется в зеркале, делая очень довольное лицо; мне кажется, что будь я так некрасива, то пришла бы в бешенство, видя себя в зеркале. Мама высокая, всегда хорошо одета, а еще лучше, когда собирается петь в театре, и надевает синее платье, вышитое серебром, или черное с шелковыми пунцовыми розами, или белое с белыми цветами и тонкими зелеными листочками, или еще в другом, сделанном как-бы из золота. Но вот чего я не знаю. Зачем Паке нужны платья, которые мама дарит ей после того, как они ссорятся? Пака никогда их не надевает, а я их больше нигде не вижу. Кроме платьев, у мамы много очень красивых браслетов и колец, ожерелий из жемчугов, алмазов и изумрудов, в особенности одно, которое мне больше всего нравится, подаренное ей герцогом в первый день,

когда она пела Кармен в Милане: когда она надевает это ожерелье, — то кажется царицей, но не настоящей, а такой, о каких рассказывают в сказках, потому что настоящую царицу мне однажды вечером показывали в театральной ложе, и она была почти также безобразна, как Пака, и за вырезом ее платья виднелись очень большие кости; у мамы же их не видно, потому что кожа у нее белая и нежная. Она притирает ее чем-то, что очень хорошо пахнет и чего никто в мире лучше Паки сделать не может — как говорит мама. И думаю я: почему бы и самой Паке не притираться? Это ей очень бы не мешало. Волосы у мамы золотистые и блестят, как браслет; так они мне больше нравятся, чем когда они были черными, как у меня. Когда я буду взрослой, и мне понравится иметь такие же золотистые волосы, как у мамы, то я буду еще больше на нее похожа, а Пака будет беситься. Так и надо, потому что она тоже заставляет меня беситься, говоря, что я бедное создание и что было бы лучше, если-бы я совсем не родилась.

★

... Вчера я узнала, что родилась в Константинополе, и мне это очень не понравилось. Пака мне говорила, что детей приносят из Парижа, а Париж — не Константинополь. Но, быть может, из Парижа приносят только мальчиков, а девочек из Константинополя? Я об этом спрошу. Я это узнала, потому что мы находились в комнате мамы, в театре, когда она кончала причесываться, а герцог держал меня на руках; конечно, он всегда берет меня на руки, когда мама причесывается, и часто целует меня. Это меня очень бесит, потому что у него мокрый нос, а изо рта пахнет мятными лепешками, я же ни мятных лепеш-

шек не люблю, ни шоколадных конфет, но почему-то всегда и все дарят их мне, как будто, кроме шоколадных конфет, нечего больше дарить! Ну, хорошо; так вот герцог, держа меня на руках, спросил:

— Где родился этот пыленок?

Мама из комнатки ответила, что в Константинополе, а герцог, взглядываясь в меня, сказал:

— Да, действительно, в глазах ее — солнце Востока.

Мама же, смеясь громко, как она вообще смеется, сказала, что это солнце Андалузии, а не Востока. Герцог спросил: — Вы — андалузка? А мама еще громче прежнего рассмеявшись, сказала: — Я-то нет; я — из Мурции¹⁾. Тогда и герцог рассмеялся, сказав: — Что за счастье у некоторых андалузцев! Я — валенцианин. — А мама ответила: — Это вам по близости; но плохо то, что Мурция находится по середине!

Когда мама это сказала, герцог сделал очень злое лицо; я думаю: почему его так коробит, что Мурция находится между Андалузией и Валенцией, если это вполне точно установлено? Я видела это на географической карте, и, наверно, это уж никак нельзя изменить. Я об этом спросила Паку, и она сказала мне, что глупо заниматься тем, что меня не касается, а после, когда я уснула, то слышала, как Пака про все это рассказывала маме и очень сердито сказала ей, что она могла бы побольше заботиться о том, что говорят при мне, и что это неблагоразумно, потому что герцог серьезный человек и при деньгах, и что надо быть совершенно помешанной, чтоб бросать счастье за окно из-за какого-то шального сумасшедшего, да при этом тщеславного, как женщина. Тогда мама тоже очень

¹⁾ Прим. перев. Считая от Пиринеев, Андалузия лежит над Мурцией.

рассердилась и сказала, что не нуждается ни в чьих советах, всего меньше в советах Паки, что Пака глупа, как пробка, и что, слава Богу, мама сама знает, как зарабатывать на жизнь, и она может делать все, что ей заблагорассудится, а что герцогов и стариков у нее по горло. После этого она начала петь и танцовать, часто целуя букет гвоздики, который ей подарили во время антракта; а Пака ей сказала:

— Пой, пой, вот задаст тебе эта гвоздика! — Мама же продолжала петь:

Та гвоздика, что дал ты мне в день Вознесенья, —
Не гвоздика, а гвоздь, проколовший мне сердце.

Потом она обернулась, заметила, что глаза мои открыты, подошла к моей кровати и, обняв меня, сказала:

— Вот, уже и проснулась доченька моей души!

— Разумеется, при таком шуме! — ворчала Пака.

— Ах, какое ангельское лицо у солнца своей матери! Неправда-ли, что это самые красивые цветы в мире и что запах у них чудный и небесный? — Я почти испугалась, видя ее такой довольной и не зная, почему; она это заметила и сказала мне:

— Усни, усни, моя душечка, и не обращай внимания на мать, которая совсем сошла с ума!

★

...Сегодня вечером пришла к маме одна дама с визитом, говоря, что она была ее подругой, когда они были маленькими; она хорошо танцует, но не может танцовать, потому что ноги стали плохи, и она бедна. Мама ей сказала, чтобы она осталась обедать с Пакой и со мною, пока она пойдет на репетицию; возвратясь, она пода-

рила ей шляпу, две жакетки и золотую булавку. Когда мама ушла на репетицию, гостя и Пака заперлись в комнате и давай чесать языки, а мне приказали идти в коридор играть с Фли, и я не слышала, что они говорили; только один раз, когда дама спросила:

— И все еще она такая же сумасшедшая, как и прежде?

— Все такая же, — ответила Пака.

Дама, глубоко вздохнув, сказала:

— Эта кончит, как я!

— Так и будет, ей этого хочется, — сказала Пака, — потому что у нее больше счастья, чем у повешенного, и она загребаёт деньги охапками; но они так же легко уходят, как приходят.

Незадолго до возвращения мамы, они открыли дверь, я вошла, и дама осыпала меня потоком ласковых слов, а Пака начала с того же, как и всегда: что я бедное создание и что она меня жалеет. Гостя спросила маму: почему она возит меня с собою по всему свету, на что мама ответила, что, как хорошая мать, она не желает расставаться со мною и хочет иметь меня всегда при себе, чтобы я узнала, какова жизнь, и не была такой несчастной, как она; а Пака, вмешиваясь, по обыкновению, куда ее не звали, сказала, что было-бы лучше поместить меня в закрытое учебное заведение, но что, конечно, у всякого своя манера убивать блох.

★

Не знаю, почему мама говорит, что она несчастна; мне кажется, что это не так: все ее любят и говорят ей, что она очень красива, — и это правда; и что она хорошо поет: это тоже правда. В театре ей делают визиты и дарят вещи, не шоколадные конфеты, как мне, а драгоценности,

веера из раковин и перьев и множество цветов; в день последнего бенефиса в Париже ей подарили столько корзин с цветами, что дома мы не знали, куда их поставить, а потом жалко было смотреть, когда все они сохли, и их дали для игры мне и Фли, и мы устроили цирк и прыгали через дужки корзин, как лошади в цирке. Фли был конем, а я — наездницей; мне нравятся наездницы и лошадки, и часто по вечерам, когда мы спокойно живем в каком-нибудь городе, я уговариваю Паку сводить меня в цирк; в Париже мы туда ходили по воскресеньям и четвергам с женихом нашей горничной, который служил прикащиком в одном большом магазине; он дарил горничной духи и угощал нас в кофейне, но платила она; а один раз мы отправились кататься с ним по реке на лодке, потом пошли в деревню, которая была целым садом, и где мы отведали жаренной рыбы, очень маленькой и плохой, с дурным запахом, но ее горничная нашла славной, и пили сидр, который, по правде сказать, мне понравился. Потом меня начало клонить ко сну, и я заснула, а когда проснулась, было уже близко к ночи, и мы возвращались в трамвае, который страшно грохотал и не выходил все время из длинного туннеля, что вызывало во мне желание расплакаться, и мне было очень неудобно, хотя горничная держала меня на руках; а когда мы уже вышли на улицу, было очень холодно, от сильного плача я заснула и проснулась только на другой день в кровати; во рту у меня был нехороший запах, и горничная просила, чтоб я не говорила маме, что мы пили сидр. Тогда Паки с нами не было, потому что она уехала к себе на родину, которая в то же время и мамина родина.

Самое плохое то, что нам приходится путешествовать ночью и когда мне хочется спать; мы приезжаем к

станции, приходится слезать, и очень холодно. Пака берет чемоданы, а мама, держа меня за руку, идет очень скоро, я почти не могу поспевать за нею, а мне так бы хотелось лечь на землю, да и уснуть; но приходят какие-то люди, они громко кричат, усердно приглашают нас в разные гостиницы, и когда, наконец, мы берем коляску, и я в ней вторично засыпаю, нужно сейчас же опять просыпаться и идти в гостиницу, а улицы пугают, потому что очень темны, хотя на них много фонарей. Иногда приходится переезжать через мост, и коляска гулко гремит; тогда мне кажется, что вот-вот мы провалимся в воду, а в воде, очень черной, движущиеся большие огоньки. Когда же мы в гостинице, мама настаивает на том, чтобы я, прежде чем уснуть, выпила огромный стакан горячего молока, которое никогда не кончается; это заставляет меня плакать. Тогда Пака говорит, что эта девочка невыносима и что между мною, собакою и попугаем жизнь ее стала невыносимо горькою, и что надо быть сумасшедшей, чтобы скитаться по миру с такими созданиями, как я, собака и попугай.

Не знаю, где бы она хотела, чтоб нас оставляли, и если мама всех трех нас любит, то хорошо делает, беря нас с собою; кроме того, еслибы даже и оставили бы меня в монастыре, как она говорит, так ведь Фли и попугая там бы не приняли, как иногда не желают их принимать в гостиницах, и Паке приходится с ними жить на постоялом дворе, а мы с мамой остаемся вдвоем. А это мне действительно очень нравится: оставаться вдвоем с мамой, потому что тогда она меня и одевает, и моет, и причесывает, и укладывает в постель, словно я ее кукла. Она делает все, что мне захочется, позволяет мне надевать ее ожерелья и рассказывает мне про то время, когда она еще маленькой жи-

ла с отцом и матерью в доме, при котором был огород, коровы и курицы.

Вот так бы мне нравилось жить, с курицами, коровами, в очень большом огороде! В Швейцарии очень много коров; я это знаю, потому что мы там были два года тому назад, когда мама заболела, и мы поехали туда отдохнуть и пить много молока; мы жили в горах, в очень пикарной гостинице, где было много дам; у каждой из них тоже были или мальчик, или девочка; одни из них цели, как мама, другие танцевали, а некоторые вообще ничего не делали, но все очень скучали. Мне было там хорошо, хотя другие девочки были дурные, всегда бранились между собою и дразнили друг друга, напускали на себя важный тон, говоря, что их папа представляет собою и то, и сё, и что он в конце месяца приедет сюда, чтобы увезти их. Конечно, ни в конце месяца, ни когда-либо вообще этот папа не приезжал, потому что, как и у меня, никакого папы у них не было.

Когда я была меньше, меня беспокоило, что у меня нет папы, потому что одна девочка, дочь машиниста в театре, говорила мне, что всем детям надо иметь отца и мать и что весьма печально не иметь их; но теперь я уж к этому равнодушна, потому что однажды я об этом говорила с Пакой, и она мне сказала, что это — глупость, можно и без отца обойтись, достаточно одной матери. Мне думается, что это так и есть, потому что с мамой мне хорошо, но за то, когда подумаю, что я могла бы быть девочкой без мамы, мне становится очень грустно, хотя я и представляю себе, что у меня мог бы быть отец, такой же богатый, как герцог, или такой же красивый, как Антонио Арена, или такой же добрый, как Хуан Мануэль. То, что Антонио Арена красив, я говорю потому, что это

мама сказала, но мне-то он уж не кажется таким красивым; у него черные, очень сердитые глаза, он всегда морщит лоб и очень горд. Когда он входит в комнату мамы и никто его не видит, он смотрится во все зеркала, и даже, когда беседует, то берет маленькое зеркальце со стола мамы и делает вид, будто играет с ним, но, на самом деле, смотрится в него. При том у него очень дурной характер, и меня он не любит, да и я его не люблю; но когда мама с нами, он притворяется, будто меня очень любит, и воображает, что меня обманывает, обнимая меня и говоря мне ласковые слова; как будто я не помню, как однажды ночью, когда мама была на сцене, я стала тянуть его за усы, играя и не делая ему никакой боли, а он, сильно меня толкнув, сказал:

— Оставь меня в покое, девочка! — Я маме этого сказать не хочу, но когда он мне дарит конфеты или что-нибудь другое, что мне хоть и очень нравится, я бросаю его подарки в ведро или в корзину, — настолько я зла на него.

А вот я бы желала, чтобы Хуан Мануэль был мне отцом; этот действительно добрый, он любит меня, и я его. Мама говорит, что ей не нравятся мужчины в очках; мне думается, что когда любишь людей, то все равно, в очках они или нет, и лучше уж относиться к ним доброжелательно, хотя бы они и были близоруки. А сердце у Хуана Мануэля действительно доброе. Он всегда со мною играет и расспрашивает, понравилось-ли бы мне быть тем или иным, и часто смеется от того, что я ему говорю; но я на это не сержусь, потому что вижу, он это делает не затем, чтоб насмеяться надо мною, а потому что ему забавно, что я такая невежественная девочка. А невежественна я на самом деле, потому что я знакома с другими

девочками, еще меньшими, чем я, которые в арифметике даже до деления дошли, и наизусть что-то знают, и умеют шить, вышивать и вязать; это потому, что они ходят в школу, а я не могу, мы всегда в дороге. Иногда, если мы на некоторое время останавливаемся в одном месте, мама приглашает на дом учительницу, и таким образом я научилась читать и писать; от Паки я выучилась пришивать пуговицы и ленты к платьям; а петь и играть на рояле от мамы; но всего этого я знаю немного, потому что в промежутках все забываю, да при том каждая учительница приносит новые книги, и тогда все у меня перепутывается. Мама сказала, что через два года пошлет меня в монастырь, чтоб монахини приготовили меня к причастию Святых Таин. Каждое воскресенье, ранним утром, я иду с Пакой к обедне, и Пака покупает свечи, которые ставит перед иконами святых, когда ей хочется выиграть в лотерею, но она никогда не выигрывает; должно быть, потому, что святым не важно, чтоб им ставили свечи. Если-бы я была святой, мне бы это тоже не нравилось, потому что от свечей слишком тепло и дымно, но за то цветы красивы и свежи, и они мне очень нравятся. А также рыбы в стеклянном аквариуме.

★

Когда кого-нибудь сильно любят, то угадывают его мысли: мама часто угадывает, о чем я думаю; Пака тоже дает мне многие вещи раньше, чем я их попрошу у нее; но я на это не обращала внимания, пока вчера Хуан Мануэль мне этого не открыл. У меня было очень сильное желание иметь аквариум с маленькими рыбками, но, кажется, я никому об этом не говорила, потому что мне

всегда дарят то, что я прошу, и поэтому мне часто стыдно просить. Как всегда по вечерам, Хуан Мануэль вошел в комнату мамы и дал мне обвязанный белой лентой пакет — картонную коробку; я думала, что там конфеты, но нашла очень маленький аквариум с пятью рыбками, и это так меня обрадовало, что я и поблагодарить не умела. Заметив, что я ничего не говорю, он спросил меня:

— Не нравится тебе?

Я ему сказала, что очень нравится, но мне совсем непонятно, как он мог угадать, что мне хотелось иметь аквариум; тогда он мне объяснил то, что я говорила раньше: когда мы любим людей и они нас любят — и даже если они нас не любят, говорил он также, но в этом кажется он не прав, — мы угадываем их желания; но теперь, если мне чего-нибудь захочется, я уже не посмею смотреть прямо в глаза Хуану Мануэлю, потому что он говорит, будто это можно угадать по цвету глаз. Но это, конечно, шутка, потому что глаза всегда одного цвета, а в день можно пожелать четыре или пять различных вещей.

Как бы то ни было, он угадал про аквариум, но удовольствие мое не долго продолжалось, потому что со мною случилось вот что: вчера мы завтракали в гостинице, в нашей комнате: мама, Пака и я; мама еще не причесалась, и мы не могли сойти вниз, в столовую; мама была нервна, встала из-за стола, не кончив завтрака, и направилась к попугаю, чтобы он ей погадал на картах, что он умеет делать, совсем как человек; кладут колоду карт на стол и он вытаскивает их клювом, а мама читает, что они говорят; он вытащил три или четыре карты, но маме они не понравились, и, рассердившись, она приказала Паке унести попугая, и сама продолжала гадание, и сейчас же

стала очень довольной, потому что вышел конь; я ее спросила, что означает конь, и она мне сказала, что это — симпатичный мужчина, и я, не думая, сказала:

— Так это должно быть Хуан Мануэль!

Мама тогда рассердилась и сказала:

— Право, не знаю, что этот субъект тебе сделал, что ты его так любишь! — Мне от ее слов стало больно по двум причинам: во первых, потому, что она сказала «этот субъект», а Хуан Мануэль совсем не субъект, он очки носит не по своей вине; во вторых, мама думает, что я люблю его за то, что он мне дарит вещи, которые мне нравятся. Это меня больше всего огорчило, настолько, что я почти не могла выдержать, как будто со мной случилось что-то очень плохое, или если-бы я сказала какую-нибудь ложь, от которой я терзалась бы угрызениями совести; потому что я его очень люблю, он добрый; если бы он мне ничего не дарил, я бы точно так же его любила. И что еще хуже, так это то, что, быть может, он сам думает, будто я его люблю за вещи, которые он мне дарит. Это неправда! Еще больше мне дарит герцог, а я его не люблю даже вдвое меньше, чем Хуана Мануэля, и хотя бы герцог подарил мне даже черную куклу, — она, после аквариума, больше всего нравится мне на этом свете, — даже на портрете я не могла бы видеть герцога. Я размышляла над всем этим, и была очень грустна, и в это время заметила аквариум на ночном столике, потому что вчера мне хотелось уснуть, глядя на него; и когда я его заметила и так как он мне сильно нравился, я сама начала раздумывать, не в самом ли деле я люблю Хуана больше с тех пор, как он мне подарил этот аквариум. Так как этого быть не может, — то когда мы выходили, я незаметно взяла аквариум, спрятала в муфту и отдала первой уличной девочке,

попросившей у меня милостыню. Мне так больно было отдать его и в то-же время так радостно!

И когда я увидела Хуана Мануэля, и он меня спросил насчет рыб, то я ему все рассказала; конечно, он уставился на меня весьма странными глазами, словно печальными — то есть, я не знаю, совершенно ли печальными, потому что он был в очках, — и медленно, медленно целовал мне руки, как даме; но он мне ничего не говорил, хорошо или плохо я это сделала; быть может, его задело, что я отдала другому вещь, подаренную им мне, хотя, раз он говорит, что можно угадать столько вещей по цвету глаз, то он мог бы видеть, что все это я сделала с хорошим намерением. Когда сильно, очень сильно любишь людей, то не знаешь, что сделаешь, чтобы они были довольны!

★

Как я этой ночью испугалась! У меня была сильная боль в горле, мама не хотела, чтобы я шла в театр, и очень рано отправила в постель, и желая, чтобы Пака осталась смотреть за мной, взяла с собой в театр горничную из гостиницы, чтобы та помогла ей одеваться. Пака же, устав рассказывать сказки, велела мне спать; но я не могла уснуть так рано, да при том из столовой гостиницы доносился шум, потому что там ужинали с музыкой. Я предпочитала бы играть с Фли, но Пака говорит, что собак не надо брать в постель, а, кроме того, Фли уже спал, и попугай тоже; спустя некоторое время, Пака вздремнула в кресле, книга, которую она читала, упала на пол, и шум от ее падения показался мне как-бы шумом, произведенным ворами, и мне стало страшно; но я ничего

не сказала, а только спрятала голову под простыню и вскоре, кажется, заснула.

Когда я проснулась от сильной жажды, я думала, что уже настал день, как всегда, когда просыпаюсь; но была еще ночь. Пака подошла ко мне, чтобы дать воды, и когда я ее спросила: пришла ли мама, она мне сказала, что да, но с таким странным видом, что я совсем уже проснулась, и тогда заметила, что это не верно, что мама еще не пришла, а часы показывали половину пятого. Из театра мы всегда возвращались раньше двух часов, так что мне взбрело в голову, что мама умерла, и хотя Пака говорила, что нет, и чтоб я спала, я не заснула, а начала плакать и настаивать, чтобы мы пошли ее искать. Пака мне говорила, что на улице сильный дождь и что поэтому мама не могла прийти, и ждет, должно быть, в театре, пока ливень пройдет; но это вздор, потому что, возвращаясь в коляске, хотя бы и под дождем, мы не промокаем.

Я плачу и плачу, а Пака говорит, что я глупая девочка, и чтобы я заснула, что мама ужинает с одним господином и скоро вернется; но так как она говорила одну ложь за другой, то я ей не поверила, и она сильно рассердилась на меня. Тогда вот что мне пришло в голову: я сделала вид, будто поверила и, закрыв глаза, начала сильно дышать, а Пака рассказывала взад и вперед по комнате, а потом тоже легла в постель и захрапела; она всегда храпит, когда спит, хотя утверждает, что не храпит.

Увидев, что она спит, как убитая, я потихоньку оделась, не надевая башмаков, чтоб не делать шуму, и сказала себе: пойду искать маму в дом «Скорой помощи», потому что, если Пака не хочет, чтобы мы вышли из-за дождя, так значит, смерть мамы ей нипочем, но не мне.

И я начала спускаться по лестнице. Как страшно было! Хотя я шла по ковру, лестница все-таки скрипела. Дойдя до дверей, вижу, что они закрыты; привратник спал в смежной комнатке и храпел, еще сильнее Паки. Уж я знаю, что если потянуть за шнурок, — двери открываются, но я не осмелилась это сделать, а села на последнюю ступеньку, но — как мне было холодно! Наконец, какая-то коляска остановилась на улице; я подумала: это мама! Это была не она; двери открылись, вошел очень старый и шикарный господин, пьяный; он при входе наткнулся на меня, но не заметил и начал подниматься по лестнице, падая на каждой ступеньке и произнося грубые слова всякий раз, когда падал и поднимался; двери же остались полуоткрытыми, и я вышла, почти не толкнув их, но не без шума. Привратник спросил: кто идет? — и так внезапно и с треском закрыл двери, что пола моей юбки оказалась прижатой, и я не могла уйти и осталась, как если бы меня пристегнули к дверям. А дождь лил, как из ведра, и было холодно, потому что чулки сейчас же промокли от воды на мраморной ступени; и было так темно, и никто не проходил; и хотя я изо всех сил дергала, платье не отрывалось. Я думала, что мама умирает и что городовые арестуют меня: они вообразят, что я пришла в гостиницу воровать; и мне тогда так страшно стало, что я начала громко кричать, зовя Паку; но чем громче я кричала, тем меньше меня слышно было, потому что это было, как еслиб голос раздавался внутри меня и никто его кроме меня самой не слышал... А дождь все шел да шел, и был такой холод, что от него я должно быть заснула, не знаю, как, потому что я думала, что невозможно заснуть стоя, и Пака рассказывала, что когда раскрыли двери гостиницы, я упала; это верно, потому

что от мраморной ступени у меня сделалась очень большая шишка на лбу, которая долго не хотела проходить, хотя Пака приложила к ней монету. Проснувшись я в постели уже поздно днем; Пака стояла у моего изголовья с каким-то господином, про которого сказали, что он доктор, а он сказал, что ничего серьезного нет и что мне можно будет встать с постели, как только я выпью чашку очень горячего кофе. Пака просила его, чтобы он, ради Бога, ничего не говорил маме, она и меня просила об этом, потому что мама очень рассердилась бы на нее и на меня. Пака одела меня, и мы пошли в театр искать маму, потому что я столько спала, что когда проснулась, было уже время репетиции. Я маме ничего не сказала, но так как я думала, что она умерла, а нашла ее такой же здоровой и довольной, как всегда, то мне это показалось чем-то с того света; я долго-предолго смотрела на нее, так что она спросила меня, почему я так гляжу? А я, не отвечая, лишь крепко целовала ее, а потом притаилась позади ширмы, чтобы вдоволь наплакаться, потому что я так глупа, что плачу от радости. В это время вошел Антонио Арена, но он меня не заметил, и не знаю, что он тихонько сказал маме, но она ему ответила:

— Нет!

Он спросил:

— Почему?

Мама ответила:

— Моя девочка... не знаю, что она воображает, но у нее очень страшное лицо, и я не хочу!

Тогда он сделал сердитые глаза:

— Чертовская девчонка! — Мама, должно быть, не услышала этого, но за то услышала я, потому что когда он это сказал, он смотрел в сторону ширмы. Затем много

людей пришло к маме, в том числе герцог, который меня не заметил, а потом Хуан Мануэль; он также меня не заметил, но, собираясь уходить, все-таки увидел меня; все уже тогда ушли, кроме Антонио Аренааса; Хуан Мануэль сказал мне:

— Что ты там делаешь? — А когда заметил, что я плачу, взял меня за руку:

— Иди за мной. — Мы вошли в ложу; пели Кармен, и все усиленно аплодировали, как всегда, когда мама поет; но я не могла развеселиться, и когда тореадор делает вид, что убивает ее, мне казалось, что это взаправду, и я начала так громко кричать, что пришлось увезти меня, и мама сказала мне, что я глупенькая девчонка, и она права, потому что Кармен я видала уже сто раз, по меньшей мере, и никогда мне это правдой не казалось. Мама спросила, отчего у меня шишка на лбу. Пака сказала, что я во сне упала с кровати; я промолчала, чтобы не врать, но за то Хуану Мануэлю я рассказала все, и он обещал мне, что никому про это не скажет.

★

.. Мне очень грустно, и у меня сильное желание, чтобы мы уехали отсюда. Мы весь день дома, то есть Пака и я, потому что мама уходит перед обедом и часто возвращается лишь после театра; видно, приходится много репетировать, и она проводит в театре все время и там же обедает и ужинает. Я не знаю, почему она не хочет, чтобы мы приносили ей ужин из дому, как прежде, и ужинали бы вместе с нею; кроме того, ежедневно идет дождь, и мы не можем гулять, разве только иногда в коляске, а прогуливаться в коляске с Пакой мне не нравится, потому что мы сидим, как две статуи и ни слова между со-

бой не говорим. Но зато с мамой всюду весело итти; она всегда смеется, разговаривает, и при том все ей кланяются, и мы заходим в кондитерские, пьем чай, в магазинах она покупает много вещей для себя и для меня; также и теперь она покупает мне вещи, и когда возвращается домой, приносит игрушки и книги; но мне не нравится, что она мне приносит все эти вещи сразу, так что не знаю, на какую из них раньше посмотреть; я хотела бы вместе с нею разглядывать одну за другой на улице, и чтобы у меня явилось желание иметь их, и тогда, чтобы чаще радовать меня, она бы покупала каждую отдельно.

★

— «Невозможно жить без вас» — говорил давеча маме герцог, а мама на это сильно рассмеялась и сказала ему, что он сумасшедший; но я думаю, что он не сумасшедший и прав; невозможно жить без мамы, потому что, когда ее нет дома, все становится безмолвно и печально. — А мне нравится, чтобы было шумно, и чтобы она пела и играла на рояли, чтобы я танцевала и она тоже. Иногда она садится на пол и играет со мною в гости или кошку-мышку; мне также нравится, когда мы вместе ходим купаться в море; она плавает и меня учит; и нравится, что когда в прошлом году мы были в Париже, у нее была большая лошадь и маленькая у меня; мы каждое утро ездили гулять в лес и всегда были веселы. Странно это; думаешь, что тебе нравятся вещи, а затем выходит, что нравятся совсем не вещи: это очень трудно объяснить, и в начале я почти этого не понимала, но это правда; я думала, что мне так нравится моя черная кукла, и моя голландская кухня, и мои книжки, и сказки, и я всегда много ими забавлялась и воображала, что люблю

их точно так же, как если-бы они были живыми; а теперь, когда мамы дома нет, меня уже не забавляет играть в кухню, одевать куклу и даже читать сказки; кукла бесит меня, а книжки вызывают желание плакать, потому что когда я остаюсь одна, мне кажется, что несчастья, которые случаются с детьми в сказках — настоящие беды, как будто они со мной приключились. Кроме того, когда мама возвращается домой, она уж не так весела, как прежде; не то, чтобы она стала печальна, но весела она как бы для себя самой и не шутит, как раньше, не играет со мной, а садится с закрытыми глазами в кресло или ложится на кушетку, и, закрыв глаза, улыбается, а иногда даже смеется; а когда я ее спрашиваю, почему она смеется, она целует меня, но не отвечает. Иногда она садится за рояль и поет, но не то, что мне нравится, а очень длинные куплеты, про которые Пака говорит, что это народные песни Мурции, и все они говорят о людях, которые умирают или убивают себя ударами кинжала. Словом, мне приходится развлекаться одной, Паке я сказала, чтоб она мне купила раму и шелку для вышивания цветов; но и это бесит меня, потому что вещи не таковы, как они есть; то есть, я хочу сказать, что кажется, будто розы розового цвета, и я вышиваю розу шелком розового цвета, а выходит, что вышитая роза имеет вид не настоящей розы, а кажется куском вымоченного в вине хлеба; и стебли: кажутся зелеными, а когда я их вышиваю зелеными, они не похожи на стебли; я думаю, что все должно бы быть на один лад, и надо знать, что какое, а не воображать себе вещи, радуясь, что знаешь каковы они есть, — а затем выходит, что это совсем не то. И самое худшее то, никогда не знаешь, почему радуешься или печалишься, и когда горе на душе — не плачешь, а когда

весело — плачешь, между тем как другие думают, что печалишься и обзывают глупенькой девочкой, что больше всего меня бесит. И что еще меня бесит, так это, когда случается что-нибудь с тобой, а старшие, которые замечают, что ты чем-то огорчена, говорят: «блаженны дети, плачущие без причины»; а когда ты спокойна и молчишь, потому что размышляешь, — все говорят, что тебя клонит ко сну.

★

Ах, если бы сегодня ночью мама пришла ужинать с нами после спектакля! Но возможно, что она не придет; в утешение себе, возьму ее платок или муфту, которая тем-же пахнет, чем и она, и буду целовать за ужином.

★

...Вчера ночью мама очень сильно ссорилась с Антонио Аренасом в своей комнате, в театре. Пака взяла меня за руку и вывела на улицу, хотя я этого не хотела, потому что боялась за маму, и вцепившись в дверь, из коридора слышала, как они продолжали ссориться, мама плакала, а он говорил, что надо решиться на то или на другое и что он не дурак. Пака купила мне пирожных, чтоб утешить меня, как будто пирожные могут заставить забыть; но что меня действительно успокаивало, так это мысль, что так как они столько бранились между собой, то Антонио Аренас взаправду рассердится и не вернется больше; но так как всегда все случается наоборот, чем предполагаешь, то он вернулся сегодня вечером и очень доволен и мама тоже, и никто больше в комнату не пришел, ни герцог, ни Хуан Мануэль, никто, хотя все они находились в театре, я их видела: герцог в своем

кресле, по обыкновению, а Хуан Мануэль в ложе, в которой мы были последний раз, но он сидел за занавеской, и, наверное, никто кроме меня его не заметил.

Антонио Аренас прогуливался и любовался собою во всех зеркалах еще больше обыкновенного; мама ему говорила:

— Довольны ли вы, господин и повелитель? — И он, рассмеявшись, ответил:

— Ах, женщины, женщины! — На что мама ему сказала:

— Не смейся, это меня очень бесит!

Меня тоже бесит, когда он смеется, потому что кажется, будто он все знает и воображает себя повелителем. Но надо мною у него никакой власти нет; насчет этого пусть он не воображает, хотя я не думаю, чтобы он воображал, потому, что ему хорошо известно, что даже его изображение мне невыносимо, а сегодня вечером он заупрямился в желании обнять меня, чтоб показать, будто он любит меня, потому что мама с нами находилась, и я ему укусила руку, делая вид, будто не знаю, что он со мной делает; а он обвязал себе руку платком и, раздраженный, обозвал меня зверьком. Я боялась, что мама рассердится, но, не знаю почему, это ей показалось забавным, и она сказала, что ее радует, что я так могу защищаться, когда настанет для этого час; он же сказал:

— Да, да; Боже нас избави от милых любезностей этого ангелочка; вот уж прелесть будет!

При выходе я заметила в вестибюле Хуана Мануэля и хотела побежать за ним, чтоб спросить, почему он к нам не зашел, но мама, которая вела меня за руку, удержала меня и сказала:

— Идем, уже очень поздно!

Я ей ответила:

— Но, мама, ведь это Хуан Мануэль, он смотрит на нас, я пойду спрошу его...

Но мама зажала мне рот своим боа, сказав, что я простужусь, и заставила меня быстро спуститься по лестнице, и я издала рукой попрощалась с Хуаном Мануэлем, который тогда снял шляпу и удалился; я думаю, что мама, по всей вероятности, его не заметила или сердита на него за то, что он к нам не зашел; я про это спросила Паку, и она мне сказала, что это не так, но что будет лучше, если я, заметив Хуана Мануэля в театре или на улице, притворюсь рассеянной и не поклонюсь ему.

★

...Кончился театр, и мы собираемся в другое место, но остаемся еще здесь три или четыре дня, чтоб отдохнуть: в последний раз ставили Кармен для прощального вечера мамы, театр был переполнен, и комната мамы также, цветами и подарками; но мама не была весела и хотя принуждала себя к смеху, но это было притворство; слезы выступали у нее, не знаю почему, так что я, всегда радовавшаяся на подобных вечерах, не смела веселиться и ходила по всем углам; как тень, говорит Пака.

Правда, что хотя много мужчин пришло, но все это были незнакомые; герцог прислал венок, а Хуан Мануэль — корзину цветов, но сами они не пришли, и это меня очень опечалило. Почему это они перестали любить нас? Я думала, что когда любят кого-нибудь, то уж никогда не возможно перестать; я, по крайней мере, никогда не перестану любить ни Хуана Мануэля, ни маму, ни Паку, хотя иногда она становится нестерпимой, ни Фли; о попугае

говорить не буду, потому что он умер, и мама очень плакала: она говорит, что попугай был ее счастливым роком, и что теперь, наверное, все у нее пойдет плохо.

И Антония Арена са не было на прощальном вечере в театре, но теперь он приходит каждый день, идет с мамой гулять, а иногда и ужинает с нами; я даже полагаю, что он уедет с нами. Уезжаем мы в Амстердам, и это, говорят, очень странный город, где вода течет по улицам, а дома стоят криво, и где не говорят ни по испански, ни по французски, ни по английски, ни по итальянски, ни на одном из языков, на которых мы умеем говорить, то есть мама и я, потому что Пака говорит, что у нее только один язык, испанский, и что тот, кто хочет сговориться с ней, пусть выучит испанский язык. И что за хохот бывает в гостинницах, потому что она даже не знает, как спросить стакан воды.

Меня спрашивают, когда я научилась говорить на стольких языках, и я этого не знаю; мне кажется, что уже очень маленькой я их знала, и когда я начинаю говорить с кем-нибудь, то я даже не замечаю, на каком языке разговариваю, а раньше я думала, что все языки один и тот же язык. Иногда, когда мы приезжаем куда-нибудь, где говорят на языке, которого я не знаю, случается, что в начале я не понимаю, что говорят, но затем, вдруг, даже не понимая слов, я угадываю, о чем говорят; Пака говорит, что во мне, должно быть, бесы водятся.

★

... Путешествие наше было очень неприятно, потому что шел сильный дождь, в поезде — Антонио Арена са в плохом настроении, у мамы разболелась голова, а Фли было неудобно в корзине, и он не переставал лаять; мне

говорили, чтоб я заснула, но я не могла спать. А когда мне удалось уснуть, то снилось что-то очень большее, но что это было — не знаю; оно мне часто снится и очень меня пугает; я начала кричать, и меня пришлось разбудить.

Мама говорит, что я сонамбула, и что в детстве это было и с нею; она во сне выходила на крышу дома или в поле и однажды ночью вошла в реку, и если бы ее оттуда не вытащили, она утонула бы. С этого времени я очень боюсь утонуть, и когда мы приезжаем на какое-нибудь новое место, я прежде чем лечь, иду посмотреть, нет ли перед домом реки; а здесь, в Амстердаме, она действительно есть, потому что протекает почти по всем улицам; то-есть, не река, потому что это канал, но это все равно, вода же, и еще более страшная, чем реки, которые я видела: она спокойна, как пруд, очень зелена и грязна.

Приехали мы ночью, и тогда, из коляски, вода казалась черной, и светящиеся огоньки лодок, фонарей и окон очень красиво отражались в воде и казались фейерверками; но мама сказала, что это наводит на нее печаль и что это мертвые воды, а огоньки кажутся ударами кинжала; Антонио Арена са сказал:

— Погода мелодраматична! — и засмеялся.

Гостинница красивая, очень веселая, столовая в ней из хрустального стекла и до потолка наполнена деревьями, цветами, а столы поставлены как бы в маленьких комнатах, так что хотя и сидишь в столовой, слушаешь музыку, а кажется, что ты дома. Мне бы очень правилось иметь дом для нас одних, как тогда, когда мы жили в Риме и у нас была вилла с садом и гранатовыми деревьями. Тогда я была очень маленькой, но помню господина с белой бородой, художника, который любил нас и приходил в дом. Потом он перестал приходить, и Пака сказала мне, что он

умер, но от кухарки я узнала, что он не сам умер, но что другой господин, который тоже любил нас, убил его; я думаю, что это неправда.

Также в Мадриде дрались однажды два господина в комнате мамы, в театре, но не убились, потому что мама стала между ними, и они ее ранили в голову, отчего она упала в обморок, и ей пришлось выйти петь в парике, который прикрывал почти весь ее лоб, чтобы раны не было видно. Я право не знаю, что за удовольствие у мужчин драться и убиваться; мне хотелось бы, чтобы все были довольны; Пака говорит, что это невозможно, потому что каждому хочется того, что принадлежит соседу. Я думаю, что есть очень много одинаковых вещей и что каждый может иметь то, что ему хочется, но Пака говорит; нет, люди не желают какой-нибудь вещи, такой же, как у другого, но именно ту же самую вещь. Быть может, она права, потому что однажды, в гостиннице, один мальчик плакал, так как захотел картофелей, с'еденных его братом, и хотя ему давали других, он продолжал плакать; в другой раз, дочь одного суфлера пожелала мою муфту, и мама ей купила такую муфту, но ей это не нравилось, и она не успокоилась до тех пор, пока я ей не дала своей, которая была уже старая и подкладка в ней распорота.

Но я думала, что мужчины не так капризны, как дети, потому что старшие всегда говорят, что дети не знают, чего они хотят, и что когда они сами были маленькими, то были добрыми, ничего от других не желали и не были строптивы. Возможно, что все равно, быть ли ребенком или уже взрослой. Но тогда почему же приходится быть раньше маленьким, а затем мало по малу расти? Раньше, я думала, что старшие всегда были старшими, и дети — детьми; но я уже знаю, что это не так, потому

что припоминаю, когда я была такая маленькая, что не доходила головой до стола, и чтобы рассматривать картинки в книге, мне приходилось взбираться на стул. Теперь я уже читаю, сидя за столом, как дама, а когда мы идем в гостинницу, уже не приходится требовать для меня ни высокого стула, ни подушки, и Пака одевает меня на полу, а не как прежде, ставя меня на стул, как будто я обезьянка.

★

Каждый раз, когда я об этом думаю, меня пронизывает холод! Как будто бы еще и теперь вода прикасается к моему телу, хотя я ее чувствовала не больше момента, потому что тотчас же, как мы упали, она проникла в меня через рот, и через глаза, и через уши; кроме того, говорят, я ударилась лбом о камень или об лодку и потонула; то есть, не потонула, так как я жива, а тот, кто тонет, умирает; но я лишилась чувств, и когда нас выловили, говорят, казалось, что я умерла и мама тоже, и что волосы и лицо у меня были покрыты этой травой, которая растет в воде каналов. Но я тотчас выздоровела, когда выпустила из себя всю воду, которой я наглоталась, и мне дали выпить очень горячего пуншу с ромом; было очень вкусно.

Мама все еще не оправилась, несмотря на то, что уж почти месяц, как мы потонули, потому что и она при падении ушиблась лбом, да еще говорят что-то насчет воды в канале, которая вызвала у ней лихорадку, так что мама дни и ночи лежит в бреду; то она говорит, то жалуется, то поет очень хриплым голосом, а мы с Пакой не знаем, что делать.

Хозяин гостинницы каждый день говорит, что не хочет больных в своем доме и чтоб мама перешла в сана-

торию; но доктор утверждает, что маме нельзя вставать с постели, и это меня радует; то есть, я радуюсь не тому, что она не может подняться, а тому, что ее не увезут, так как — что стало бы с нею без нас, и с нами без нее в этом городе, таком большом и печальном, в котором почти никто нас не понимает?...

★

Не знаю, как это случилось; мы были тут уже четыре или пять дней, мама уже два вечера пела; как всегда, ей много аплодировали, и она была очень весела, так весела, что мы по случаю хорошей погоды сели на пароходик, который повез нас в деревню с маленькими домами, и мы обедали в саду; там была музыка, мы танцевали и очень забавлялись, когда смотрели на детей, одетых как на карточках с видами, в белых деревянных башмаках, в широчайших штанах и шапочках, похожих на ночной колпак. Но на обратном пути, уже не знаю, что случилось, но все мы были в плохом настроении, и мы ушли в одну сторону, а Антонию Арена в другую, потому он не жил в той же гостиннице, что и мы, и больше никогда мы его уже не видели, чему я весьма рада, потому что не доставало только его теперь, когда мама так больна и у нас такое горе. Когда страдаешь, очень бесит видеть неприятных людей, бесит меня, по крайней мере. Кроме того, мне стыдно, что бы меня видели плачущей, и я всегда ухожу в какой-нибудь угол и прячу голову, так мне удобнее. Ладно; итак, он не возвратился, и мама стала очень нервничать и каждый день все сильнее, хотя Пака ей говорила, что женщину, которая расстраивается из-за мужчины, следовало бы повесить. Мама не отвечала или же называла ее дурой, и в этот день она провела весь вечер вне дома, а мы с Пакой

плакали, думая, что и она больше не вернется. Пака заставляла меня вместе с нею молиться Богу и Пресвятой Деве и прочитать не знаю сколько раз *Отче наш*. Когда уже почти наступила ночь, мама вернулась и, кажется, опять стала веселой, потому что села за рояль и начала нескончаемо петь, а затем, взяв меня в объятия, стала кружиться, как бы танцуя вальс, и смеяться, так быстро, что у меня захватило дух, и я пугалась, хотя не решалась сказать это ей, чтоб не вернуть ей грустное настроение. Затем она сказала, что перед ужином выйдет со мною прогуляться и купить цветов; она заставила меня одеться, и мы вышли вдвоем; я была очень рада, потому что это было как раньше, когда мама брала меня с собою и покупала мне много вещей. Так как был уже вечер, то магазины были красивы и очень хорошо освещены; но мы не зашли ни в один из магазинов, и я спросила:

— Куда мы идем? — Но мама ничего не отвечала, потом она мне начала говорить очень скоро, что она очень несчастна и я тоже; я ей ответила, что нет, потому что она очень добрая и что я ее очень люблю; но она ответила, что она не добрая, но что это не важно, потому что все уже кончилось. Тогда она, как дома, взяла меня в свои объятия, но я не хотела этого, потому что уже большая, и люди на улице останавливались смотреть на нас; но хотя я ей это сказала, она не обратила никакого внимания, и побежала со мною, и я ей говорила:

— Куда мы бежим, мама? Смотри, мы упадем в воду, — потому что мы бежали по направлению к каналу; и она сказала:

— Пугает тебя вода? — Я хотела ей сказать, что пугает, но не сказала, потому что мы уже в нее упали; и какие-то люди прыгнули в канал и нашли нас в тине, в зе-

леной траве; в начале не знали, кто мы, до тех пор, пока Пака, видя, что мы не возвращаемся, не вышла искать нас с лакеем итальянцем, который понимает немножко по-испански; они нашли нас задыхающимися в Доме Помощи, откуда и перевезли в гостиницу.

★

...И думаю я: почему это не всем хорошо жить, особенно матерям и дочерям; и почему то, что нравится одним, не нравится другим, которых любишь, потому что тогда действительно бы всем хорошо жилось! Как я рада, что зима уже прошла, и мы живем в деревне, и у нас курицы, и голуби, и корова, и две собаки, и осел, который возит воду, и деревья, дающие настоящие вишни, и виноградник в цветах. Я не знала, что виноград бывает раньше цветком, и что есть зеленые цветы, — все это объяснила мне госпожа Андреи, хозяйка, то есть, женщина, которая управляет этим домом, когда никто в нем не живет, а муж ее занимается садом и доит корову, и она приготовляет нам еду; как мне нравится парное молоко!

Уже два месяца, как мы тут живем, и с каждым днем я все больше радуюсь, то-есть, когда не вспоминаю, что мама все более грустит, несмотря на то, что здесь лихорадка уже прошла, и она уже совсем оправилась.

Если бы мы дольше остались в Амстердаме, мама наверняка умерла-бы. Пака говорит, что мы уж не знали, что делать, и что денег у нас уже больше не было, и пришлось продать драгоценности мамы, без ее ведома, потому что маме, больной, нельзя было причинять неприятности, но однажды вечером мы очень испугались, потому что лихорадка у мамы прошла, и севши в кровати, она потребовала свое изумрудное ожерелье, и Паке долго не удавалось

отогнать от нее мысль об этом. Но газеты, кажется, рассказывали, что мы потонули, и что мама очень больна, и герцог прочитавши это, хотя и находясь в Испании, приехал и увез нас в эту деревню, в Галицию, у подножья горы; дом этот его, и он желает, чтоб мы навсегда в нем остались; время от времени он нас посещает, то есть посещал, потому что теперь он в Лондоне, с королем и королевой, а затем, говорят, уедет посланником в Россию.

Прежде я его не очень любила, но теперь, в виду того, что он увез нас из Амстердама и мы живем в его доме, я действительно люблю его, а мама, наоборот, кажется, очень на него сердится, и, когда он приходил к нам, не хотела разговаривать с ним. Пака называла ее глупой, но герцог говорил, что больным надо позволять капризы. Видно, что каприз мамы, это быть грустной; разумеется, нельзя не грустить немножко, потому что в момент падения в воду она так была разгорячена, что сильно простудилась и теперь не может петь, так как голос ее стал хриплым; здешний доктор говорит ей, что голос к ней вернется, а она упорствует, говоря, что она его потеряла навсегда и предпочитает умирать, чем оставаться в этой дыре; поэтому и говорю я: очень жаль, что все мы не можем быть довольны одним и тем же, и что этот дом кажется ей дырой, когда мне он так нравится. Есть много вещей, которых не понимаешь; я про это с мамой много раз говорила, и говорила, что у меня большое желание стать взрослой, чтобы все понимать, а она мне сказала, что лучше бы мне умереть, — а этого я не хочу, нет! — Мне очень нравится жить и стать женщиной, как она, и видеть все страны, которых я не видела. И петь.

Я уже прошла сольфеджио, и мама говорит, что я буду петь лучше, чем она пела, но этому я не верю, убеждена,

что лучше ее никто в мире не пел, и она была красивее всех, и такой остается, хотя она несколько похудела, а во время лихорадки ей отрезали волосы, которые так золотились. Теперь они у нее вырастают вьющимися, но уже черными, как прежде; странно это, потому что и у меня их отрезали, и я думала, что они вырастут и у меня белокурыми, как-бы мне это нравилось! Но вырастают они черными, как были всегда.

Также и поэтому у меня желание стать взрослой. Мне бы нравилось быть птичкой; иногда я думаю: правда-ли что сказывают в сказках, будто, проткнув себе голову толстой булавкой, превращаешься в голубя, как дочь царя? У меня сильное желание проткнуть себя, чтоб убедиться, правда-ли это, потому что, мне чаще всего снится, что я летаю. Это мне нравилось бы. Снится мне это почти всегда. Иногда же снится, будто я спускаюсь по лестницам и быстро хожу по улицам, не касаясь земли ногами. И так часто, часто снится мне это, что я уже право не знаю, действительность ли это, или сон, потому что всегда, когда мне это снится, я сама себя спришиваю: — Снится ли мне это? и отвечаю: — Нет, нет; когда-то мне снилось, но теперь это на самом деле.

Снятся нам эти вещи, или же нам их рассказывает кто-то, когда мы спим? И думаю я: правда ли, что существуют волшебницы и ангелы; и когда я вижу какую-либо палочку, упавшую на улице или в саду, у меня всегда появляется желание взять ее: не волшебная ли эта палочка? Но я ее не беру, потому что мне стыдно, надо мною будут смеяться, если она окажется не волшебной. Ах, если бы я знала, правда ли—превращение в голубя! Но и то надо сказать, что если бы я в него превратилась, а потом мне бы уж не нравилось всегда быть голубем, и из под моих

перьев не видно было бы булавки, и никто не знал бы, что я ею прокололась и не могли бы ее вытащить у меня, мне пришлось бы уж тогда на всю жизнь остаться голубем!... Но чего мне очень хотелось бы, так это, чтобы маме вернулся голос и чтоб она стала довольной, потому что теперь она только отчаивается и говорит, что хочет умереть, а вчера ночью, когда я сидела на каменной скамейке у ворот, с хозяйкой, из окна столовой я слышала, как мама разговаривает с Пакой, говоря ей, что во что бы то ни стало ей надо изучить танцы, чтобы не сгнить здесь, между коровами и курицами; а Пака ей ответила:

— Эх, сестра, уже слишком тверды у тебя кости!

Мама ничего не ответила, но перед тем, как лечь спать, я пошла поцеловать ее, как всегда, она же меня долго прижимала к себе и говорила, что когда рождается женщина, то ей следовало бы лучше разбить голову о стену.

Владислав Ходасевич

ПОЭТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПУШКИНА

В трудные дни я не знаю большей радости, как перечитывать Пушкина и делать в нем маленькие открытия.

Из письма М. О. Г.

Всем, кто хорошо читал Пушкина, известно обилие самоповторений в его стихах и прозе. Повторяются темы, приемы, образы, мысли, сопоставления, звуковые и ритмические ряды, эпитеты, рифмы и т. д. Каждая группа таких автореминисценций выявляет какую-нибудь сторону в личности и творчестве Пушкина, освещает частность, мало известную или незамеченную вовсе. Самоповторения у художника не случайны, не могут быть случайны. Каждое вскрытое пристрастие, — к теме, к приему, к образу, даже к слову, — лишняя черта в образе самого художника; черта тем более достоверная, чем упорнее выказано пристрастие. В сущности, и здесь, как в точной науке, только повторность явления предохраняет от риска принять случайное за типическое.

Изучение автореминисценций может оказаться полезным в разных областях пушкиноведения: в изучении пушкинской поэтики, стилистики, биографии, в вопросах об авторстве пьес, даже в датировке их. Но всего больше даст оно тому, кто интересуется психологией пушкинского творчества.

Мысль заняться автореминисценциями Пушкина пришла мне еще в 1914 г., но работа, по внешним причинам, оборвалась в самом начале. Я решился вернуться к ней теперь, — к сожалению, в самых неблагоприятных условиях, без многих необходимейших книг, не имея под рукою даже хоть сколько-нибудь полного и компетентного издания Пушкина. Это, конечно, обрекает меня на ряд промахов, понятных всякому: я, прежде всего, не мог исчерпать материала, — что, впрочем, вряд ли под силу одному человеку; с другой стороны, я, вероятно, иногда повторяю сказанное другими, так как отдельные сопоставления текстов имеются во всех работах о Пушкине. Но, повторяю, от пушкинистской литературы я был отрезан. Тем не менее, я решился предложить вниманию читателей ряд заметок, содержащих по преимуществу *наблюдения* и не стремящихся к обобщениям и выводам.

Если я еще укажу, что эти заметки касаются пока лишь небольшой части мной собранного материала, в частности — почти еще не затрагивают прозы Пушкина; если прибавлю, что я сознательно старался не подходить к темам пушкинского словаря и словаря пушкинских рифм, — то, кажется, этого предисловия будет достаточно.

Saarow,
25. V. 1923.

1

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, холодна, как зимний день,
Искажена последней мукой..

Итак, вспоминая ту, к которой обращено «Заклинание», он говорит, что перед разлукой она была «бледна, холодна, как зимний день».

Это сравнение больной женщины с холодной погодой — не единственное у Пушкина. Вероятно, всего лишь за

несколько дней до этого — он сделал то же, только в обратном направлении: говоря об осени, сравнил ее с больной женщиной:

Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева,
Улыбка на устах увянувших видна... («Осень»).

Кроме повторяющегося сопоставления женщины с погодой, тут есть еще черта, на мой взгляд более важная: осторожное, но ясно звучащее признание в том, что ему самому знакома эта трудно объяснимая прелесть увядающей природы — и увядающей женщины. Обе для него сливаются в одно, и об осени он говорит, как о женщине:

В ней много доброго, *любownik* не тщеславный,
Умел я отыскать мечтою своенравной.

Но и это признание — не случайно для Пушкина.

В «Каменном госте», который заканчивался в те же недели, Дон-Гуан вспоминает об умершей Инезе:

В июле... ночью. Странную приятность
Я находил в ее печальном взоре
И помертвевших губах. Это странно:
Ты, кажется, ее не находил
Красавицей. И точно — мало было
В ней истинно-прекрасного. Глаза,
Одни глаза, да взгляд... такого взгляда
Уж никогда я не встречал! А голос
У ней был тих и слаб, как у больной...

Так и кажется, что он сейчас повторит слова, сказанные об осени:

В ней много доброго, *любownik* не тщеславный,
Умел я отыскать мечтою своенравной.

Есть общее во всем, что сказано об осени, об Инезе и о той, к кому обращено «Закливание». Как будто слегка приоткрывается завеса над этой любовью, о которой мы знаем так мало...

Странную приятность
Я находил в ее печальном взоре
И помертвевших губах...

★

Но кто она?

В XVI строфе шестой главы «Онегина», вспоминая об умершей женщине, некогда заставлявшей его страдать от ревности, он примирительно восклицает:

Почий, мучительная тень!

В «Заклинании» 1830 года:

Явись, возлюбленная тень!

От этого «почий» до «явись» — четыре года времени и длинная цепь сложнейших переживаний. Но думается, для всякого, кому знакома психология поэтического творчества, ясно, что с такой точностью повторить этот интонационный и ритмический ход, обращаясь к двум разным женщинам, — было бы кощунственно по отношению к обоим. Это значило бы повторить «Дориду» — с двумя покойницами. Для этого надо было бы обладать циничским демонизмом или демоническим цинизмом, чего мы не в праве предполагать у Пушкина. Следовательно, «Закливание» обращено к той же, о ком говорится в «Онегине», в строфе, которую принято относить к Ризнич.

В свою очередь, конец «Заклинания»:

Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой. Сюда, сюда! —

так близок к концу «Для берегов отчизны дальней»:

Исчез и поцелуй свиданья...
Но жду его: он за тобой! —

что опять-таки невозможно предположить, чтобы и в этих стихах говорилось о разных женщинах. Между тем, «Для берегов *отчизны* дальней» трудно отнести к какой-нибудь другой «иностранке», нежели к той, которая «увядала» «под небом голубым *страны своей родной*». Т. е. — опять таки к Ризнич.

Наконец, и в «Заклинании» есть место, связанное с мотивом ревности: «Зову тебя... не для того, что иногда сомнением мучусь»; а предыдущие строки:

Зову тебя не для того,
Чтоб укорять того, чья злоба
Убила друга моего... —

опять заставляют вспомнить слова, сказанные об Инезе:

А муж ее был негодяй суровый —
Узнал я поздно...

Таким образом, и отдаленный намек в «Осени», и «Заклинание», и «Для берегов», и Инеза в «Каменном госте» — все это, по всей видимости, — о Ризнич.

Правда, сдержанная оценка красоты той, в чьих «помертвелых губах» находил Дон-Гуан «странную приятность», как-будто не совсем вяжется с тем традиционным представлением о Ризнич, которое опирается на строфу из «Путешествия Онегина»:

А ложа, где, красой блистая,
Негоциантка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?

Но — во первых, она могла «блистать красой» и быть окруженной рабами, даже несмотря на то, что «мало было в ней *истинно-прекрасного*»; во-вторых, эта строфа была написана до получения известия о смерти Ризнич и пото-

му вся еще носит несколько мадригальный характер; в третьих — как знать? может быть, в отличие от прочей «толпы рабов», — поэта, любившего «пышное увяданье», влекла к этой женщине неоцененная другими «томность», «бледность», — «странная приятность», которую он в «Осени» не знал, «как объяснить», которую он один «умел отыскать» в ней? Она умерла меньше, чем через год после их разлуки — и, вероятно, «томилась и увядала» еще на глазах у Пушкина. «И голос у ней был тих и слаб, как у больной...»

2

М. О. Гершензон справедливо указывает, что «для Пушкина размер стиха, повидимому, безразличен; тем же размером он описывает и расставание с любимой женщиной («Для берегов отчизны дальней»), и охоту кота за мышью (в «Графе Нулине»), встречу ангела с демоном — и пленного чижика». Это безразличие М. О. Гершензон объясняет тем, что Пушкин «внешнее разнообразие заменял внутренним», т. е. разнообразием ритмики и инструментовки. Хотелось бы согласиться и с таким утверждением: теоретически оно очень правдоподобно. Однако — вот несколько примеров, показывающих, что у Пушкина сходство ритмическое и звуковое тоже порой уживается с глубочайшими смысловыми различиями.

В «Полтаве» читаем знаменитое описание ночи:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут — и проч.

Через несколько страниц эти строки повторены буквально. Казалось бы, что «звуки обретенны» окончательно; что, по крайней мере для «Полтавы», они становятся специфической принадлежностью ночи и тишины. Но пе-

ревертываем еще несколько страниц — и в той же поэме находим место, которое как раз и ритмически, и инструментально, вплоть до тождества рифмы, — приближается к описанию ночи:

Пестреют шапки. Копья блещут.
Бьют в бубны. Скачут сердюки.
В строях равняются полки.
Толпы кипят. Сердца трепещут.

Там — ночь и тишина. Здесь — день и толпа, ждущая казни. Но «звуки» — похожи. И даже можно предположить, что, по мысли поэта, именно это звуковое сходство здесь призвано подчеркнуть смысловую разницу. Некоторые другие случаи дают основание для такого предположения.

Есть, например, случаи, когда звуковое и сюжетное сходство должны подчеркнуть такое глубокое различие, как различие между трагическими стихами — и шуточными. Другими словами — когда острота пародийности заключено именно в звуковом и сюжетном подобии — при коренном различии замыслов.

В 1823 г., в письме к Вигелю, Пушкин бранит Кипшинев. Комизм этой брани заключается именно, так сказать, в стрельбе из пушек по воробьям: голосом библейского пророка мечет поэт громы и молнии в маленький, жалкий Кипшинев, на который довольно бы плюнуть, как на курилку:

Проклятый город Кипшинев!
Тебя бранить — язык устанет!
Когда-нибудь на грешный кров
Твоих запачканных домов
Небесный гром, конечно, грянет —
И не найду твоих следов!
Падут, погибнут пламена
И лавки грязные жидов,
И пестрый дом Варфоломея — и проч.

Через год после этого, в третьем «Подражании Корану», изображая конец мира, трагическую гибель человечества, Пушкин пишет стихи, не только энергией ритма, но и инструментальной, и даже лексически всего более приближающиеся к проклятиям, некогда в шутку обрушенным на «грешный кров» Кипшинева:

Но дважды ангел вострубит;
На землю гром небесный грянет:
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрыгнет.

И все пред Бога притекут,
Обезображенные страхом:
И нечестивые падут,
Покрыты пламенем и прахом.

Несомненно, что, пишучи эти стихи, Пушкин вспоминал свое послание к Вигелю — и, пожалуй, сознательно воспользовался кое-чем оттуда. В этом случае оказывается, что пародия предшествует серьезным стихам, т. е., в сущности, что Пушкин не побрезговал пародировать шутку, превратив ее в трагедию, и обратно — не погнушался для изображения мировой катастрофы сделать заимствование из порнографической шутки. Впрочем, возможно и то, что первые очерки «Подражаний Корану» уже существовали, когда Пушкин писал свое письмо к Вигелю. В этом случае можно было бы сказать, что он не боялся пародировать свое великое ради своего малого, а потом продолжать и заканчивать это великое, как ни в чем не бывало. Кажется, будто в стихах великое и смешное были для него равны.

Есть еще одно совпадение, показывающее, что его не корбила возможность перенести, например, строку из похабного юношеского наброска в стихи уже зрелого возраста, трактующие о том, что было для него свято. Некогда, сравнивая себя с Александром I, он изобразил не-

любимого монарха за исправлением «естественных надобностей»:

*Окружен рабов толпой,
С грозным деспотизма взором — и проч.
(«Ты и я»).*

Лет через шесть или семь ведь не мог же не вспомнить он эти строки, когда написал в «Путешествии Онегина»:

*А ложа, где красой блистая,
Негоциантка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?*

Вспомнил, конечно, но слова не побоялся, хотя дело шло на сей раз о той самой Ризнич, которая была так дорога ему; впрочем, надо иметь в виду, что, пишучи эти строки, он еще не знал о ее смерти *).

Тут же, кстати, хотелось бы показать, как двигалась по поэзии Пушкина одна рифма: где началась, как ассоциировалась — и куда пришла.

В одном из самых ранних стихотворений, «К сестре» (1814), поминает поэт

*моську престарелу,
В подушках поседелу.*

В 1816 г., в пьесе «Сон», дано человеческое подобие этой моськи:

*Похвальна лень, но есть всему пределы:
Смотрите: Клит, в подушках поседель,
Размученный, изнеженный, больной.*

Итак, наметилось созвучие: престарелу — поседелу — пределы.

*) Могут возразить, что принадлежность стихов об Александре I Пушкину не вполне доказана. Но именно это определенное самозаимствование кажется мне подтверждением пушкинского авторства (см. заметку 3).

Через год оно осложняется новым словом: в начале «Руслана и Людмилы», перечисляются соперники Руслана:

*Один — Рогдай, воитель смелый,
Мечем раздвинувший пределы
Богатых киевских полей.*

Казалось бы, от слова «пределы» рифма сворачивает в новое русло, по направлению к «смелый». Но в 1823 году оба русла («пределы — поседель» и «пределы — смелый») сливаются в наброске, начинающемся словами:

*Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседель.*

Набросок этот остался не обработанным и не законченным. Но его отголоски не раз еще звучали в стихах Пушкина. В частности, рифма «смелый — поседель» снова всплыла наружу — и снова в связи с цитируемыми стихами «Руслана и Людмилы».

Три соперника Руслана не исчезли с окончанием поэмы из пушкинского творчества: они лишь пережили метаморфозу и, пройдя через набросок 1825 г. («Клеопатра»), в «Египетских ночах» воскресли тремя соискателями царицыной любви: *Рогдай* стал *Флавием*, Фарлаф — Критоном, а «младой Ратмир» — тем «последним» юношей, который «имени векам не передал». И как в «Руслане» было сказано:

Один — Рогдай, воитель смелый, —
так теперь почти повторится:

И первый — Флавий, воин смелый, —
а к Флафию приложится стих:

В дружинах римских поседель.

Круговое движение рифмы закончится: «престарелу — поседелу»; отсюда — «поседель — пределы — смелый» — и обратно к «поседель».

Таков многолетний *ход звука* от моськи до война римских дружин.

«Ты и я» («Ты богат, я очень беден»), относительно которого существуют сомнения в авторстве Пушкина, связано не только с «Путешествием Онегина» (см. предыдущую заметку). В «Ты и я» говорится:

Афедрон ты жирный свой
..... коленкором;
Я же грешную
Не балую детской модой
И Хвостова жесткой одой,
Хоть и морщуся, да тру.

О подобном же, не столь унижительном, но столь же обидном применении хвостовской оды говорится в «Усах»:

Чтобы не смять уса лихого
Ты к ночи одою Хвостова:
Его тихонько обвернешь...

Конечно, Хвостов служил мишенью не для одного Пушкина. Конечно, предполагаемый автор «Ты и я» мог в 1819 г., к которому относится написание пьесы, сделать заимствование из Пушкинских «Усов», писанных в 1816-м, — хотя для такого заимствования автору «Ты и я» надо было видеть «Усы» в рукописи или слышать их от кого-нибудь, так как в печати они появились лишь в 1831 году. Конечно, совпадение могло быть и случайным. Конечно, и Пушкин мог случайно перефразировать в «Онегине» «Ты и я», — хотя тоже должен был для того знать чужие стихи, дотоле неизданные. Но — как бы то ни было, предположив, что автор «Ты и я» не Пушкин, необходимо признать два совпадения или два заимствования: в 1819 году автором «Ты и я» — у Пушкина, а в 1825 г. — Пушкиным, как бы в отместку, — у автора «Ты и я». Не проще ли, не вернее ли считать автором «Ты и я» Пушкина, а совпадения с «Усами» и «Путешествием Онегина» очередными самозаимствованиями?

Воспитанники Царскосельского Лицея, по уставу, не покидали его в течение всех шести лет, пока длилось их обучение. Отпусков не было. Лицей был монастырем, лицейсты — монахами. Так звали они себя. В 1814 г., в стих. «К сестре», Пушкин дважды именует Лицей монастырем, а изображая свою комнату, № 14, говорит: «Все тихо в мрачной келье». Та же «келья» — в стих. «К А. И. Галичу» (1815): «Покину кельи кров приятный»; «К Юдину» (1815): «Меж тем как в келье молчаливой»; в «Мечтателе», того же года, читаем о Музе: «Влетала в скромну келью»; о келье, помнится, сказано и в других местах. Много лет спустя, в последней главе «Онегина», воспоминание о Лицее подсказывает поэту все тот же образ: «Моя студенческая келья». В «Городке» (1815) Лицей назван «пустынею», как и в «Мечтателе» того же года.

Параллельно является определение себя, как монаха: «Чернец я», сказано «К сестре» (1814). В послании к В. Л. Пушкину (1817) поэт называет себя пустынноиком, что уже однажды, в 1815 г., было сделано в обращении к Пущину: «Прибрел к тебе пустынноик», — и что, с повторением рифмы «именинноик», будет им сделано позже, в 1819 г., в обращении к Юрьеву, — по линии чистой автореминисценции, так как в 1819 г. Пушкин не был уже ни лицейстом, ни пустынноиком. В зачеркнутой последней строке стихотворения «К Наталье» (1814) автор разоблачает себя: «Знай, Наталья, — я... монах!»

Таким образом, можно сказать с уверенностью, что представление о пустынноике и монахе прочно связано у молодого Пушкина с воспоминаниями о лицейских годах. Если теперь обратимся к более позднему стихотворению «Русалка» (1819), то увидим, что оно связывается с лицейским периодом еще по двум линиям:

1) Образ месяца, «катыщегося» по небу:

И красный месяц в облаках
Тихонько по небу *катился*. —

восходит по времени к лицейским стихам. Там, в одном из самых ранних опытов, в стихотворении «О, Делия драгая», — сказано: «Безмолвно месяц *покатился*», а в другом, в «Месяце» (1816 г.), — «Зачем ты, месяц, *укатился*?»

2) Сюжет «Русалки», по всей видимости, навеян стихотворением Гете «Рыбак» (1778 г.), — а с немецкими поэтами знакомил Пушкина еще в Лицее Кюхельбекер.

Пушкин автобиографичен насквозь, и это обстоятельство подсказывает гипотезу: рассказ о «монахе», соблазненном русалкою, может быть, связан с историей первого «падения» Пушкина-лицейста. Русалка же, может быть, — именно та Наталья, которой он признавался в своем «монашестве», и которая была его первой любовью — с отчетливо обозначенной чувственной окраской:

В первый раз еще (стыжуся)
В женски прелести влюблен — и проч.

5

1814 г. «Послание к Наталье»:

Иль седым опекуном
Легкой, миленькой Розины,
Старым пасынком судьбины,
В епанче и с париком,
Дерзкой, пламенной рукою
Белоснежну, полную грудь...

1816 г. «Усы»:

...одной рукою
В восторгах неги сладострастной
Летаешь по груди прекрасной,
А грозный ус крутишь другой.

1816 г. «Фавн и пастушка»:

Неверная, кто смеет
Пылающей рукою
Бродить по груди страстной...?

1817 г. «Письмо к Лиде»:

По смелым, трепетным рукам...
Узнай любовника... настали
Восторги, радости мои!

1818 г. «Руслан и Людмила», песнь IV:

О, страшный вид: волшебник хилый
Ласкает дерзостной рукою
Младые прелести Людмилы!

1822 г. «Гавриилиада»:

В тенистый лес ушла чета моя...
Там быстро их блуждали взгляды, руки...

Там же:

Чего-то он красноречиво просит,
Одной рукою цветочек ей подносит,
Другая мнет простое полотно
И крадется под ризы торопливо...
И легкий перст касается игриво
До милых тайн.

Там же:

Смутясь, она краснела и молчала...
Ее груди дерзнул коснуться он...

Но после «Гавриилиады» этот мотив исчезает вовсе. Пушкин из него вырос, как из мальчишеской одежды, сшитой по французской моде XVIII века.

6

Он был иногда до мелочей экономен в своем поэтическом хозяйстве. Иногда одну строку, интонацию, прием берег по долгу — и умел-таки использовать.

В 1820 г. он набросал два с половиной стиха:

Жуковский,
Как ты шалишь и как ты мил,
Тебя хвалить — тебя порочить!

Послание не написалось. Но он *шесть лет* берег из него одну строчку, чтобы, наконец, она нашла себе место в послании... к Языкову:

Языков! Кто тебе внушил
Твое посланье удалое?
Как ты шалишь и как ты мил...

Другой пример. В 1825 г., сравнивая скромную финляндку мало известного Боратынского с прекрасными гречанками знаменитого Байрона, он написал автору «Эды»:

Твоя чухончка ей-ей
Гречанок Байрона милей.
А твой Зоил — прямой чухонец.

Через год, в «Онегине» (гл. V, строфа XXXVI), ставя свою героиню лицом к лицу с героиней самого Гомера, он говорит ему:

Но Таня (побожусь) милей
Елены пакостной твоей.

Здесь сбережен и повторен прием *).

*) Здесь даже двойная экономия. Дело в том, что стихи к Боратынскому писаны по поводу неблагоприятных отзывов критики об его поэме. Но еще 4 декабря 1824 г., т. е. *еще не читавши ни этой критики, ни самой поэмы*, Пушкин уже писал брату: «Пришли же мне «Эду» Баратынскую. Ах, он *чухонец!* да если она *милее моей черкешенки*, так я повешусь...» Здесь уже — все элементы будущего стихотворения, в котором собственная черкешенка скромно заменена гречанками Байрона, а эпитет «чухонец» с автора перенесен на критика.

Третий случай. В рукописи и при первом печатании «Элегического отрывка» («Поедем, я готов») 4-й стих читался:

К подножию ль стены недвижимого Китая...

Но через год, в «Клеветникам России», он почти повторил этот стих:

До стен недвижимого Китая.

Поэтому, когда в издании 1832 г. оба стихотворения должны были встретиться, он постарался сгладить параллелизм и в первое из них внес изменение: *далекого* Китая.

Четвертый пример: в черновике «Кто знает край...» был стих:

Где Данте мрачный и суровый...

Затем Дант исключен из стихотворения вовсе, но с тем же эпитетом является через три года:

Суровый Дант не презирал сонета. («Сонет»)

7

Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

Эти слова Татьяны Пушкин через три года вложил в уста «Мертвой царевны». Она говорит богатырям, в ответ на их сватовство:

Но другому я навечно
Отдана...

Этим параллелизмом Пушкин сам полагает начало традиционному возведению образа Татьяны к ряду идеальных женских образов, созданных народным воображением.

Положительно, у него были «излюбленные звуки». Судите сами:

- 1) Но я плоды своих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.

(«Евгений Онегин», гл. IV, строфа XXXV)

- 2) Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Правоучительный и чинный,
Без романтических затей.

(«Граф Нулин»)

- 3) Ужель и впрямь, и в самом деле,
Без элегических затей,
Весна моих промчалась дней...?

(«Евгений Онегин», гл. VI, строфа XLIV)

- 4) Она была не тороплива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней.

(«Евгений Онегин» гл. VIII, строфа XIV)

Во всех четырех случаях — полное ритмическое тождество. Кроме того:

гармонических — романтических — элегических

И:

Без романтических — Без элегических — Без подражательных.

«Впервые приводя» свою музу «на светский раут», Пушкин говорит («Онегин», гл. VIII, строфа VII):

Ей нравится порядок стройный
Олигархических бесед,
И холод гордости спокойной,
И эта смесь чинов и лет.

Союз «и» — здесь энклитика. Слова: «и эта» ритмически равны слову «какая». Поэтому стих:

И эта смесь чинов и лет —

в смысловом отношении параллелен, а в ритмическом даже тождествен другому стиху, написанному за восемь лет до того:

Какая смесь одежд и лиц!

(«Братья-разбойники»)

Но тогда это было сказано о «шайке удалых». Так «муза» вскрывает тайное сходство «светского раута» с шумным сборищем тех, «кто с каменной душой прошел все степени злодейства».

Пушкин умел говорить о «светской черни» отчетливей. Здесь это дано почти только в звуке, в ритме, да еще, может быть, в улыбке, с которой поэт заметил свою авто-реминисценцию.

До 1830 года Пушкин не пробовал своих сил на поэтище сонета. В Болдине написал он подряд три сонета, но больше уже к этой форме не возвращался: остался к ней холоден. Его сонет о сонете не содержит прямых похвал. Начав с того, что Дант «не презирал» сонета, Пушкин лишь перечисляет наиболее выдающихся, с его точки зрения, сонетистов, — нигде не говоря, что именно сонетная форма придала стихам Шекспира, или Ворде-

ворта, или Мицкевича, или Дельвига особые достоинства. С несомненностью и без натяжек в сонете о сонете можно увидеть только одно, слишком сдержанное утверждение: сонет правился некоторым замечательным поэтам.

Раз навсегда оставив после 1830 года сонетную форму, Пушкин косвенно высказал не вполне доброжелательное отношение к ней в наброске, относимом к 1833 году: «Французских рифмачей суровый судия». Здесь он упрекает «поэта-законодателя» Делрео:

«Ты слишком превознес достоинства сонета».

Даже подражая, в 1836 г., сонету Fr. Gianni («Как с древа сорвался...») — он делает это не в сонетной форме.

11

У него было исключительное пристрастие к восклицанию «Пора!» — В самом деле, вот случаи, мной замеченные, при чем этот список, вероятно, можно еще пополнить:

- 1) А нам уже пора злословить. («Кокетке»).
- 2) Пора покинуть скучный брег... («Онегин», гл. I, строфа 50).
- 3) Пора гнездо устроить. («Жених»).
- 4) Пора уснуть бы, наконец. («Noël»).
- 5) А мне пора, пора уж отдохнут... («Борис Годунов»).
- 6) А вам в постель уже пора. («19 октября 1828»).
- 7) Пора в жилище теней! («Мечтатель»).
- 8) Пора домой, сказал я, други. («Руслан и Людмила», I).
- 9) Пора, давно пора домой. («Онегин», гл. VII, строфа XX).
- 10) Пора, пора бы замуж ей!.. («Онегин», гл. IV, строфа XXIV).

- 11) В душе подумала: пора! («Руслан и Людмила», II).
- 12) «Раз'едемся, пора!» — сказали. («Руслан и Людмила», I).
- 13) Пора, красавица, проснись. («Зимнее утро»).
- 14) Пора, прощайте! Ждут постели. («Граф Нулин»).
- 15) Пора, дитя мое, вставай! («Онегин», гл. III, строфа XXXIII).
- 16) Давно б (не правда ли) пора? («Онегин», гл. VIII, строфа XLVIII).
- 17) Пора! Мой муж ревнив и зол. («Цыганы»).
- 18) Теперь — пора! Заветный дар любви, Переходи сегодня в чашу дружбы. («Моцарт и Сальери»).
- 19) Пора — уж ночь. («Каменный гость»).
- 20) Пора, поди. («Каменный гость»).
- 21) Пора и мне... Пируйте, о друзья! («19 октября 1825 г.»).
- 22) Начинай же, сват, пора! («Сват Иван...»).
- 23) Пора! введи в свои чертоги Жену красавицу... («На выздоровление Луккула»).
- 24) Пора: перо покоя просит. («Евгений Онегин» выброш. строфа).
- 25) Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит. («К жене»).
- 26) Пора! — Постой! — Пора, мой милый. («Цыганы»).
- 27) Мы вольные птицы; пора, брат, пора! («Узник»).
- 28) Пора, пора! душевных наших мук Не стоит мир. («19 октября 1825 г.»).
- 29) Пора, пора! Рога трубят! («Граф Нулин»).
- 30) Пора, пора! — взываю к ней. («Онегин», гл. I, строфа L).
- 31) Вокруг Мазены раздавался Мятельный крик: «пора, пора!» («Полтава»).
- 32) Проснись, мой гость, пора, пора! («Цыганы»).
- 33) Нам пора, пора, пора! («Русалка»).

Лексические и интонационные пристрастия не случайны. «Языком, сердцу внятным» они порой говорят о

поэте больше, чем он сам бы хотел о себе сказать. Они обнаруживают подсознательные душевные и духовные процессы, как биение пульса обнаруживает скрытые процессы физического тела. «Считать» их — не пустое занятие: это — как считать пульс*).

12

Другой, не столь частный, но все же излюбленный оборот:

- 1) Княжна ушла, *пропал и след!* («Руслан и Людмила», III).
- 2) И все прошло, *пропал и след.* («Кавказский пленник», II).
- 3) Ищу, зову — *пропал и след.* («Цыганы»).
- 4) А где? Бог весть. *Пропал и след!* («Евгений Онегин», VI, строфа XXXII).
- 5) *И след* ее существования
Пропал. («Полтава»).
- 6) Но Маврушки
С тех пор как не было — *простыл и след.* («Домик в Коломне», III).

В пяти случаях из шести слово «след» приходится на конец стиха — и во всех пяти случаях оно рифмуется с «нет».

В последнем (хронологически) случае употреблен более правильный оборот: «простыл» вместо «пропал».

*) Вот, кстати, несколько примеров из переписки:

1) В службе ли ты? Пора, ей-Богу, пора. (Л. С. Пушкину, 21 июля 1822).

2) ...Пора дать вес своего мнения и заставить правительство уважать нашим голосам. (Вяземскому, 6 февр. 1823).

3) Пора, пора нам осмеять les précieux ridicules нашей словесности... (Воейкову, август 1831).

4) Пора, ей-ей пора дать им порядочный отпор. (Н. М. Языкову, 26 сент. 1834).

В лирических стихах, если не ошибаюсь, этот оборот не встречается, хотя, с натяжкой, отголосок его можно услышать, напр., в «19 октября 1825 г.»:

Опомнися — но поздно: и уныло
Глядим назад, следов не видя там.

13

Pro domo sua. Есть у меня такой стих: «На высоте горит себе, горит». Некий Н. Асеев вздумал в «Красной Нови» учить меня русскому языку: форму «горит себе» он сопровождает вопросительным знаком и многозначительно именует «довольно странной».

Для Пушкина эта форма не столь «странна». Помимо других мест, в стихах и в прозе, — в одном только «Домике в Коломне» она встречается дважды:

«Тут каждый стих глядит *себе* героем» (XI).
«И там *себе* мы возмися в грязи» (XV).

Есть и в «Каменном Госте»:

«Сидели б вы *себе* спокойно там».

Всякий меня поймет, если я скажу, что предпочитаю «не знать» русского языка с Пушкиным, нежели его «знать» — с Асеевым. Но тут, совершенно кстати, вспоминается мне стих Крылова:

А ты *себе* своей дорогою ступай:
Полают да отстанут.

14

Художник-живописец представляется ему облада-
телем быстроты: в карандаше, в кисти, в самом взгляде:
В «Руслане и Людмиле»:

Бери свой *быстрый* карандаш,
Рисуй, Орловский, ночь и сечу!

В «Полководце»:

Своею кистью свободной и широкой
Ее разрисовал *художник быстрогой*.

В «Каменном Госте» Лепорелло говорит Дон-Гуану о его любовном воображении:

Оно у вас *проворней живописца*, —

т. е. живописец взят, как образец проворства.

В ноябре 1824 г., заботясь о рисунках к «Онегину», он пишет брату: «найди искусный и *быстрый* карандаш».

Эта «быстрота», повидимому, представлялась ему неотъемлемым качеством истинного художника, потому что изображая художника дурного, Пушкин прежде всего лишает его этого качества:

Художник-варвар кистью *сонной*
Картину гения чернит...

Все это имеет отношение к стилю рисунков самого Пушкина. В них разительна прежде всего «быстрота».

15

Об отношении Пушкина к Наполеону писано много. Вопрос это сложный. О нем всегда можно спорить, и это легко делать, потому что взгляд на Наполеона менялся у Пушкина в связи с изменениями его взглядов, политических и религиозных, в частности — на революцию и самодержавие. Но — как бы ни смотрел на «владыку Запада» Пушкин-историк или Пушкин-публицист, мы в праве поискать, нет ли у Пушкина-поэта чего-нибудь такого, что выражало бы его чистое художническое, непосредственное, не омрачаемое никакими теориями, влияниями, воздействиями «чувство Наполеона». С какими представлениями, звуками, образами связан у Пушкина-поэта (только поэта) — образ Наполеона? Скинем со сче-

тов политические и публицистические определения, к тому же часто извне навязанные, как «бич Европы», «злодей», «ужас мира» и прочее *). Отбросим и такие атрибуты, как троны, короны, цари, мечи: они были почти неизбежны, навязывались сюжетам и подсказывались еще неостывшей пиитикой XVIII века. Посмотрим только на то, что при слове «Наполеон» подымалось у Пушкина из глубины художественного, не исторического, сознания. Быть может — даже из под-сознания.

Приходится начинать издалека. У Державина есть стихи о волшебном фонаре, не из лучших его стихов. В них каждая строфа посвящена отдельной картине, начинается словом «явись!», а заканчивается: «Исчезнь! — исчез!» Тема стихов: преходящесть — тень — призрак — исчезновение: силы, счастья, власти, жизни.

«Послание к Юдину» писано вообще под влиянием Державина. Тут и «Приглашение к обеду», и «Евгению» (Жизнь Званская), и, пожалуй, «Призывание и явление Пленеры», и др. Но всего сильнее влияние «Фонаря». Оно сказалось как в построении пьесы, состоящей из ряда сменяющихся картин, так и в отдельных строках:

... Но быстро привидения,
Рядясь в волшебном фонаре,
На белом полотне мелькают;
Мечты находят, *исчезают*,
Как *тень* на утренней заре.

Это писано в 1815 г. Не задолго до того, в конце 1814-го, Пушкин писал «Воспоминания в Царском Селе»,

*) С наличием посторонних влияний и затверженных оценок в отношении Пушкина к Наполеону тем более необходимо считаться, что первые четыре стихотворения о Наполеоне писаны, когда поэту было всего 15—16—17 лет, в разгар всеобщего увлечения Александром I и его победой. К тому же ранние стихи вызывались отчасти официальными поводами, и официальная точка зрения была для них обязательна.

которые предстояло читать на лицейском экзамене, в присутствии Державина. Историческим моментом под-сказывался сюжет: падение Наполеона. В полной мере влияние державинского «Фонаря» сказалось немного позже, в «Послании к Юдину». Но где-то под спудом, в глубоко скрытых извилинах мысли, оно жило уже в момент написания «Воспоминаний в Царском Селе». «Послание к Юдину» — только наиболее открытый показатель этого влияния, с несомненностью устанавливающий его наличие. Но уже при писании «Воспоминаний» образ человека, внезапно явившегося из политического небытия, мелькнувшего и в небытие вернувшегося, образ снявший и затмившийся, был связан с представлением о преходящести, о картинах волшебного фонаря, о свете и тени, о свидении, о заре, горящей — и угасающей, об исчезновении, таком же внезапном и непонятном, как появление.

Уже в двух местах «Воспоминаний», только еще как будто случайно, являются мотивы зари, сна и исчезновения:

Восстал вселенной бич — и вскоре лютой брани
Зарделась грозная зари.

И далее:

Где ты, любимый сын и счастья, и Беллоны? —

Исчез, как утром страшный сон.

Повторяю, взятые в отдельности, эти строки еще ничего не говорят об ассоциациях, возникших у Пушкина при слове «Наполеон». В «заре брани» мог явиться любой полководец. О быстром падении кого угодно можно сказать: он «исчез, как сон». Но в том-то и дело, что все последующие стихи Пушкина о Наполеоне показывают постоянную, упорную повторяемость этих образов и отдельных выражений, с ними связанных.

Вслед за «Воспоминаниями», в 1815 г., «Наполеон на Эльбе» является на фоне зари:

Вечерняя зари в пучине догорала...

Один во тьме ночной над дикою скалою

Сидел Наполеон.

И в конце пьесы:

Но зришь ли? *Гаснет* день, мгновенно *тьма* сокрыла

Лицо пылающей *зари*.

Там же сам Наполеон говорит о своей судьбе:

«О счастье! злобный обольститель!

И ты, как *сон*, сокрылось от очей!»

Ему сопутствуют *угасающие* светила:

Звезда губителя *погасла* в вечной мгле.

(«На возвращение государя», 1815).

Померкни, солнце Австерлица!

(«Наполеон», 1821).

Самый «век» его *«закатывается»*, как солнце (там же).

Он призрачен. О его «развенчанной тени» говорится в «Наполеоне». В отрывке 1823 г. («Недвижный страж дремал...») он является Александру I привидением с «бледным пламенем» в очах. Он назван в том же отрывке «чуждым мужем, посланником Провиденья», «роковым свершителем безвестного веленья». В черновых набросках 1823 г. он — «земли чудесный посетитель»; в «Герое» 1830 года — «Пришлец», с заглавной буквы.

И параллельно с этим не прекращается тема «зари». Больше того, с течением времени Наполеон не только является на фоне ее, но и сам ей уподобляется. И снова — момент «исчезновения». В «Недвижном страже» он уже — царь, *исчезнувший*, как *сон*, как *тень зари*.

Здесь темы сна, исчезания, тени и зари даны одновременно, в одном стихе. И примечательно, что странный (чтобы не сказать — непостижимый) образ «*тень зари*» из этого неотделанного наброска через целых восемь лет перенесен в «Героя» без изменения:

Сей ратник, вольностью венчанный,

Исчезнувший, как *тень зари*.

Даже о Байроне, когда он сопоставляется с Наполеоном, сказано, что он «исчез» («К морю», 1824). Как будто при свете Наполеона все становится призрачно.

Даже о физической смерти Наполеона, *не* о его политическом конце, — всегда говорится одним и тем же словом «угас»: —

Угас великий человек.

(«Наполеон», 1821).

Там угасал Наполеон.

(«К морю», 1824).

Он угасает, недвижим.

(«Герой», 1830).

Угас в тюрьме Наполеон.

(«19 октября 1831 г.»).

Всею чужой, угас Наполеон.

(«19 октября 1836 г.»)

Явление, исчезновение; свет, тень; заря, угасание: вот — Наполеон у Пушкина. Все — точно картина волшебного фонаря.

Какой философский и исторический смысл имеет явление именно этих, а не других образов, когда Пушкин думает о Наполеоне; почему эти, а не другие слова приходят ему на уста; что заставляло Пушкина воспринимать Наполеона, как *световое явление*, — это особые вопросы. Я их не касаюсь.

16

Стихи из «Послания к Юдину»:

... Но быстро привиденья,
Родясь в волшебном фонаре,
На белом полотне мелькают;
Мечты находят, исчезают,
Как *тень* на утренней заре. —

связаны не только с темой Наполеона. Как ни странно, они почти повторяются в «Гавриилиаде». Вот стихи, следующие за описанием сна Марии:

Пропало все, не внемля детской пени:

На полотне так исчезают тени,

Рожденные в волшебном фонаре.

Красавица проснулась на заре — и проч.

Что бы сказал «старик-Державин», если бы он узнал, как откликнется его «Фонарь»!

17

Образы отроков и юношей у него женственны и стыдливы не только в стихах с оттенком любви мужчины к мужчине:

Отрок милый, отрок нежный,

Не стыдись: навек ты мой —

эти слова по первоначальному замыслу были вложены в уста женщины и обращались не только не к молодому арабу, а, вероятно, даже к одному из декабристов.

Поэтому далеко не только в «восточном колорите любви» все дело, когда, в другом стихотворении, обращаясь к «красавцу молодому»:

Но боюсь: среди сражений

Ты *утратишь* навсегда

Скромность робкую движений,

Прелесть неги и стыда, —

он почти повторяет слова, за девять месяцев до того обращенные в «Полтаве» к Марии:

Ты *прелесть* нежную стыда

В своем *утратила* паденьи.

Просто, юность для него *всегда* похожа на девичество. Потому-то и в предыдущем отрывке, вместо

«скромность робкую движений» первоначально, в черновике, читалось прямо: «Робость *девственных* движений. Потому-то любит он примечать «первый пух» на щеках у юношей: в этом мужественном отличии есть что-то женственное.

Не только первый пух ланит, —

говорится в «Полтаве». А в «Египетских ночах» — тоже:

Его ланиты
Пух первый нежно оттенял.

18

Из особенностей его этимологии:

1. В слове *губа* он любит ударение на втором слоге от конца:

Уж я не мальчик; уж над *губой*...
(«Паж, или пятнадцатый год»).

Странную приятность
Я находил в ее печальном взоре
И помертвевших *губах*. («Каменный гость»).

Зарецкий *губу* закусил.
(«Евг. Онегин», гл. VI, стр. XXVII).

2. Родительный падеж множественного числа: «зуб» — вместо «зубов»:

Простил бы им их сплетни, чванство...
Пороки, *зуб* нечистоту...
(«Евг. Онегин», чернов. IV главы).

Стар, *зуб* уж нет.
(«Домик в Коломне», XIV).

19

Один поэт, довольно известный, говорил мне: «Подумайте, какая странность: Пушкин говорит, что у Натальи Павловны голос — прямо женский. А какому же и быть у нее?»

Поэт говорил это по незнанию элементарных особенностей старого словоупотребления. Не только у Пушкина, у множества его предшественников и современников — прилагательное «прямой» очень часто означает: совершенный, настоящий, действительный, подлинный, истинный, — а наречие «прямо» равно нашему: истинно, воистину. Пушкин часто, не только в «Нулине», употребляет эти слова именно в таком смысле. Его «прямо» не имеет интонации нашего «прямо-таки» и не предназначается, как у нас, для смягчения гиперболы, вроде «я прямо-таки без ума от Парижа!» Пушкинское «прямо» всего ближе к нынешнему «впрямь»:

- 1) С душою прямо геттингенской.
(«Онегин», II, строфа VI).
- 2) А твой зоил — прямой чухонец.
(«Стих каждый повестит твоей...»)
- 3) Прямым Онегин Чильд Гарольдом
Вдался в задумчивую лень.
(«Онегин», IV, строфа XLIV).
- 4) ... Без разделенья
Унылы, грубы наслажденья:
Мы прямо счастливы вдвоем.
(«Руслан и Людмила», V).
- 5) Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить.
(«Путешествие Онегина»).
- 6) Приятный голос, прямо женский.
(«Граф Нулин»).
- 7) Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость, и прямая честь.
(«Онегин», гл. VIII, строфа XLVII).

- 8) Прямое просвещения ради.
(«Родословная моего героя», V).
9) Что нет, к тому же, перевода
Прямым героям... (Там же, X).
10) Ну, словом, прямо русский барин.
(«Онегин», II, строфа XXXIV, черновик).

20

Пушкин срифмовал:

- 1815: Младость — радость.
(«Роза»).
- 1816: Радость — младость.
(«Здравный кубок»).
- Младость — радость.
(«Послание к кн. А. М. Горчакову»).
- Сладость — радость.
(«Любовь одна...»).
- Радость — младость.
(«Фавн и пастушка»).
- Сладость — радость.
(«Пробуждени»).
- 1817: Младость — радость.
(«К ней»).
- Радость — сладость.
(«Прощание с Тригорским»).
- Радость — младость.
(«Именины»).
- 1818: Сладость — младость — радость.
(«К портрету Жуковского»).
- 1819: Радость — радость.
(«Все призрак, суета...»).
- Радость — младость.
(«Руслан», V).
- 1820: Младость — радость.
(«Погасло дневное светило»).
- Младость — радость.
(«Кавказский пленник», I).
- Младость — радость.
(Там же).

- Сладость — радость.
(«Кавказский пленник», I).
- Радость — младость.
(Там же).
- Сладость — радость.
(Там же).
- 1821: Сладость — младость.
(«Дева»).
- 1822: Младость — радость.
(«Братья-разбойники»).
- Радость — сладость.
(«Адели», черновик).
- Младость — радость.
(«Вадим»).
- 1823: Младость — радость.
(«Онегин», гл. I, стр. XXX).
- Младость — сладость.
(«Онегин», гл. I, черн. XLVI строфы).
- Младость — сладость.
(«Онегин», гл. II, черн. IX строфы).
- Младость — радость.
(«Онегин», гл. II, стр. XIX).
- 1824: Младость — радость.
(«Цыганы»).
- Радость — младость.
(«Подражание Корану», IX).
- Сладость — младость.
(«Онегин», гл. IV, строфа XXIII).
- 1825: Младость — радость.
(«Андрей Шенье»).
- Радость — младость.
(«Онегин», путеш., XXIV).
- 1826: Радость — младость.
(«Онегин», гл. V, стр. VII).
- Сладость — младость.
(«Онегин», гл. VI, стр. XLIV).
- 1827: Радость — радость.
(«Онегин», гл. VII, стр. XLII).

Таких традиционных, устойчивых рифм у Пушкина много. Но среди них рифма сладость — радость — младость — гадость выделяется тем, что, во-первых, повторяется особенно часто (34 раза), а во-вторых — имеет в поэзии Пушкина свою собственную историю, довольно любопытную.

«Пробуждение», написанное в 1816 г., начиналось так:

Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?

Как видно из приведенной таблицы, рифма на «-адость» употреблена здесь не в первый раз — и далеко не в последний. Пушкин «запросто» жил с ней еще целых десять лет, не ропща на ее избитость. Но в 1826 г., в шестой главе «Онегина», чувствуя, может быть, что его произведения слишком пестрят этой рифмой, поэт решил пойти навстречу опасности: не дожидаясь упрека со стороны читателя, сам подчеркнул и разоблачил традиционность звуко сочетания. А именно, заимствовав у самого себя два первых стиха из «Пробуждения», он превратил их в один стих:

Мечты, мечты! где ваша сладость? —
и в следующей строке написал:

Где, вечная к ней рифма, младость?

С этого момента рифма на «-адость», будучи откровенно названа «вечной», теряла всякую даже видимость неожиданности. Если раньше ее традиционность была, в сущности, секретом Полишинеля, то теперь это было разоблачено окончательно. Развенчанной рифмой пользоваться нельзя, и она сдается в архив. И в самом деле, у Пушкина она появляется еще только один раз, через год, в VII главе «Онегина», — чтобы затем исчезнуть уже окончательно. Однако, и в том, каким способом Пушкин

рифму разоблачил, и в том, как еще однажды он ею воспользовался, — есть особый психологический интерес.

Из нашего списка пушкинских рифмований на «-адость» видно, что приведенные 34 случая дают 36 двойных словосочетаний (тройная рифма в надписи к портрету Жуковского дает три сочетания). По степени употребительности они у Пушкина распределяются так:

младость — радость (и радость — младость): 21 раз.
сладость — радость (и радость — сладость): 7 раз.
сладость — младость (и младость — сладость): 6 раз.
гадость — радость: 2 раза.

Таким образом, если к какой из этих рифм прилагать эпитет «вечной» — то, конечно, к сочетанию «младость — радость»: оно встречается не менее, чем в три раза чаще всякого другого. Но слово «сладость», к которому Пушкин приводит «вечную» рифму, — в это сочетание не входит вовсе. До момента внесения «сладости» в VI гл. «Онегина» слово это было поэтом срифмовано 7 раз с «радостью» — и только 5 раз — с «младостью». Так что словосочетание «сладость — младость» к тому моменту, когда Пушкин именовал его «вечным», было, в сущности, как раз *наименее* использованным, если не считать рифму «гадость — радость», употребленную до того лишь однажды, в неоконченном наброске 1819 года. Но Пушкин, конечно, сам своих рифм не подсчитывал, и из того, что «вечною» назвал он рифму, как раз *наименее* у него употребительную, — нельзя сделать никакого вывода, кроме того, что за математической истиной он в данном случае и не гнался: что, конечно, естественно и само собою понятно. Примечательно здесь другое.

Казалось бы, процитировав самого себя («Мечты, мечты! где ваша сладость?») и вознамерившись пародически взглянуть на «вечное» рифмование «сладости», Пушкин должен был срифмовать ее с той самой «радостью», с которой он ее сам рифмовал в стихах, ныне

пародируемых. Но то-то и любопытно, что он этого не сделал, не написал он:

«Где, вечная к ней рифма, радость?»

А почему? Потому, думается, что здесь *рифмовал он не звук, а понятие*. Весь конец VI главы «Евгения Онегина» посвящен прощанию с младостью и воспоминанию о ней. Стихи из «Пробуждения» вспомнились Пушкину не потому, что он думал о мечтах, а потому, что размышления о «младости» привели ему на память старые стихи о «сладости» мечтаний. Так, именно понятие «младость» связалось, *срифмовалось* у него в ту минуту с двумя строками из «Пробуждения». Именно эту *рифмовку воспоминаний* он и выразил. И слова «вечная рифма» говорят здесь не только об избитости звуко сочетания, но еще более о том, что «младость» есть вечный источник сладких мечтаний.

Как бы то ни было — рифма отныне была пародирована, и вернуться к ней можно было только пародически или хотя бы саркастически. Это сделано в XIII строфе VII главы того же «Онегина» — и опять при случае размышлений о старости. Теперь, устами старой Таниной тетки, Пушкин рифмует:

Ох, силы нет... устала грудь...
Мне тяжела теперь и *радость*,
Не только грусть... душа моя,
Уж никуда не годна я...
Под старость жизни — такая *гадость*...

Так повторил здесь поэт свою давнишнюю рифму, из брошенного в 1819 г. отрывка. В нем говорилось: «Все дрянь и гадость». Но эта пессимистическая, прозаизмом звучащая рифма пред *читателем* Пушкина являлась впервые и должна была на сей раз завершить историю рифмований «радости — сладости — младости». Прощаясь с молодостью, Пушкин простился и с этим созвучием. Больше он к нему не возвращался.

В «Кольне» (1814) читаем:

Денница красная выводит
Златое утро в небеса.

В «Сраженном рыцаре» (1815):

Но утро денница выводит...

В «Кавказском пленнике» (1820):

Заря на знойный небосклон
За днями новы дни выводит.

Итак, заря трижды выводит на небо день. Наконец, этот образ, несколько уже наскучивший автору, дан в виде слегка пародированном.

Пушкин заставляет зарю выводить вместе с солнцем еще и именины:

Но вот багряною рукою
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин.
(Евгений Онегин, гл. V, стр. XXV).

Но на сей раз к третьему из этих стихов поэт делает примечание: «Пародия известных стихов Ломоносова:

Заря багряною рукою
От утренних спокойных вод
Выводит с солнцем за собою — и проч.»

Итак — здесь оказывается тройная улыбка: 1) пародирован Ломоносов; 2) пародированы три собственные пьесы; 3) разоблачено, что три собственные денницы были заимствованы у Ломоносова.

Поэты ему представлялись прочно связанными общим «Служением муз».

Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз... —

писал он Языкову в 1824 г.

Та же мысль, отчасти, быть может, подсказанная рифмой, встречается и в других местах, между прочим — в «19 октября 1825 г.»:

Друзья мои, прекрасен наш союз!

Срастался он под сенью дружных муз.

Там же:

И первую (чашу) полней, друзья, полней!
И всю до дна в честь нашего союза!
Благослови, ликующая муза...

Это — прямая перефразировка из «Моего завещания друзьям», где сказано еще в 1815 году:

Пуškai игривою толпой
Слетят родные наши Музы;
Им первый кубок круговой:
Друзья, священны нам их узы.

Слова «родные Музы» здесь не случайны. Он любил и чтит традиционное у тогдашних поэтов «братство по Аполлону».

Друг Дельвиг, мой парнасский брат, —
пишет он в 1821 г. из Кишинева.

В неоконченных стихах 1830 года — к тому же Дельвигу:

Мы рождены, мой брат названный.

В «19 октября 1825 г.» он обращается к Кюхельбекеру:

Мой брат родной по музе, по судьбам.

Здесь это несколько официальное братство углублено эпитетом «родной» и сознанием братства не только «по музе», но и «по судьбам».

Но всего примечательнее те случаи, когда традиционное «братство по Аполлону» он подчеркивает и оживляет прямыми сопоставлениями с родством по крови.

В цитированном послании к Языкову он сперва говорит о поэтах:

Они родня по вдохновенью, —

а потом, приглашая Языкова к себе в гости, он этого «родню по вдохновенью» как бы сопоставляет с родным своим братом:

Тебя со мною
Обнимет в сельском шалаше
Мой брат по крови.

Точно так же, в одном из писем, дважды велел за обращением к Льву Сергеевичу Пушкину: «Брат Лев!» — идет обращение: «Брат Плетнев!» Это писано 15 марта 1825 г. А 27 марта опять: «Поклон брату Плетневу».

Наконец, слегка пародируя собственную мысль, он «считается родством» с Вяземским, в том же тоне, как это любили делать бесчисленные тогдашние тетушки:

Сатирик и поэт любовный,
Наш Аристипп и Асмодей,
Ты не племянник Анны Львовны,
Покойной тетушки моей.
Писатель нежный, тонкий, острый,
Мой дядюшка — не дядя твой;
Но, милый, — музы наши сестры,
Итак, ты все же братец мой.

Здесь целая пьеса посвящена установлению параллелизма, если не идентичности, между «парнасским» род-

ством и кровным. Не даром еще в 1817 году он с такой точностью устанавливал степень поэтического и кровного родства с В. Л. Пушкиным:

«В письме вашем вы назвали меня братом; но я не осмелился назвать вас этим именем, слишком для меня лестным.

Я не совсем еще рассудок потерял,
От рифм Бакхических шатаюсь на Пегасе;
Я знаю сам себя, хоть рад, хотя не рад!...
Нет, нет, вы мне совсем не брат:
Вы дядя мой и на Парнасе.»

Видно, литературное и духовное *братство* было для него не условностью, не пустым звуком, если он так лестно, так почтительно, так осторожно — но отодвинул-таки Василия Львовича из братьев в дядья.

23

20 сентября 1824 г. он писал Языкову из Михайловского:

Я жду тебя. Тебя со мною
Обнимет в сельском шалаше
Мой брат по крови, по душе,
Шалун, замеченный тобою, —

и прочее, о Дельвиге, о пирах, о вине и песнях.
В тот же день — послание к А. Н. Вульфу:

Здравствуй, Вульф, приятель мой!
Приезжай сюда зимой
Да Языкова поэта
Затащи ко мне с собой
Погулять верхом порой,
Пострелять из пистолета.
Лайон, мой курчавый брат,
(Не Михайловский приказчик)
Привезет нам, право, клад!
Что?... Бутылок полный ящик...

В декабре того же года он начал послание к брату:

Что же? Будет ли вино,
Лайон? Жду его давно.
Знаешь ли, какого рода?
Милый мой, мне все равно,
У меня закон один:
Жажды полная свобода
И терпимость всяких вин.
Погреб мой гостеприимный
Рад мадере золотой,
И под пробкой смоляной
Сен-Пере бутылке длинной.
В лета юные мои
Поэтической Ан
Нравился мне пеной шумной.
Сим подобием любви,
Или юности безумной,
И дымящийся бокал
Я всему предпочитал.

Послание осталось незаконченным, но в конце следующего года отголосок его прозвучал в XLV—XLVI строфах IV главы «Онегина»; там описывается приезд Ленского к Евгению:

XLV.

Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино
В бутылке мерзлой для поэта
На стол тотчас принесено.
Оно сверкает Ипокреной,
Оно своей игрой и пеной
(*Подобием того-сего*)
Меня пленяло: за него
Последний бедный лепт, бывало,
Давал я, помните ль, друзья:
Его волшебная струя
Рождала глупостей не мало;
О сколько шуток и стихов,
И споров, и веселых снов!

XLVI.

Но изменяет пеной шумной
 Оно желудку моему,
 И я бордо благоразумный
 Уж нынче предпочел ему.
 К *Аи* я дольше не способен,
Аи любовнице подобен — и проч.

Представление об ожидаемом приезде Языкова было тесно связано у Пушкина с темой «бутылок» и брата Льва. Поэтому и *приезд Ленского, связанный с той же темой бутылки, впоследствии ассоциировался у Пушкина с приездом Языкова в 1826 г.* — а еще позже, вспоминая этот приезд, Пушкин, в послании: «Языков, кто тебе внушил...» — припомнил как строфы «Онегина», так и свое послание к брату.

Сравнение вина с Ипокреной (в «Онегине»):

Оно сверкает Ипокреной —

в послании к Языкову вывернуто: Ипокрена здесь сравнивается с вином:

Нет, не Кастальскою водой
 Ты воспоил свою Камену:
 Пегас яную Ипокрену
 Копытом вышиб пред тобой.
 Она не хладной льется влагой,
 Но пенится хмельною брагой;
 Она разымчива, пьяна,
 Как сей напиток благородный,
 Слиянье рому и вина,
 Без примеси воды негодной... —

А в конце пьесы отголосок онегинской строфы, которая есть отголосок послания к брату, сменяется уже *прямым* отголоском того же послания:

В Тригорском жаждою свободной
 Открытый в наши времена.

(В послании к Льву Сергеевичу было:

У меня закон один:
Жажды полная свобода).

Таким образом, можно сказать, что начало послания к Языкову (обращение) заимствовано из раннего обращения к Жуковскому (см. заметку 6), центральная мысль — из IV-й главы «Онегина», а деталь, «свободная жажда», — из послания к Л. С. Пушкину. Если принять во внимание, что некоторые исследователи считают пушкинский ответ («Языков, кто тебе внушил») отчасти пародией на манеру и стиль языковского послания, — то, пожалуй, все это вместе внушает желание заподозрить искренность этих пушкинских стихов, увидеть в них более долг вежливости, нежели непосредственное желание писать к Языкову.

24

Стихи о вине:

Оно своей игрой и пеной
 (Подобием того-сего)
 Меня пленяло...

(«Онегин», IV, строфа XLV). —

В. Шкловский в статье о Пушкине и Стерне приводит, как образец «пародийного сравнения». Это было бы верно, если бы сравнение здесь было применено — *ради самого сравнения*, если бы слова «того-сего» ничего не значили и никак не расшифровывались. Иначе говоря, если бы под «тем-сем» читателю предоставлялось понимать что угодно. Еще иначе — если бы смысл стиха был приблизительно таков: «в поэзии принято употреблять сравнения; но мне лень (или надоело) их подыскивать; однако — вот вам сравнение, — а уж что вы подставите на место «того-сего» — это мне безразлично». Такого приема, в

сущности, ждать от Пушкина можно. Нечто подобное — в том же «Онегине»:

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждет уж рифмы — розы:
На вот, возьми ее скорей!)

Но как раз в данном случае мы пародийного приема не имеем, потому что слова «того-сего» отчетливо расшифрованы самим Пушкиным. В. Шкловский этого не заметил, потому что не заметил тут же маленькой цифры «25». А цифра нас отсылает к примечанию, где сказано:

«В лета красные мои
Поэтический Аи
Нравился мне пеной шумной,
Сим подобием любви
Или юности безумной, и пр.

(Послание к Л. П.)»

Все это примечание, состоящее из отрывка послания к брату, для того только и приведено, чтобы объяснить и расшифровать сравнение. «Подобие того-сего» оказывается «подобием любви или юности безумной». Весь же прием (замена точных уподоблений местоимениями и отсылка к примечанию) применен не ради «пародийного стиля», а с гораздо более глубоким и тонким расчетом.

Разочарованный и «охлажденный» тон «Онегина» вообще и данного места в частности резко подчеркнут этим приемом, смысл которого можно бы передать так: «Вот вино. В мои счастливые годы оно пленяло меня своей пеной, которая мне казалась подобием того-сего, разных вещей, которых даже назвать мне сейчас не хочется. Если угодно, поглядите в примечания. Там увидите мои прежние стихи: в них и сказано, какие вещи напоминала мне винная пена». Читатель смотрит примечание и узнает, что эти вещи, уже столь далекие от поэта, суть любовь

и юность. Сам же поэт, в следующей строфе, продолжает рассуждение об Аи — уже совсем в прозаическом тоне.

Но изменяет пеной шумной
Оно желудку моему,
И я бордо благородный
Уж нынче предпочел ему, и проч.,

чем и подчеркивается, что прежде Аи возбуждал мысли о любви и юности, а теперь рассматривается не иначе, как с точки зрения желудка.

Таким образом, здесь никакой «пародийности» нет, а есть лишь намек, тут же и раскрываемый самим автором. Существительные, замененные местоимениями, легко подыскиваются читателем, так как указаны в примечании. Прием, близкий к этому, встречается у Пушкина не однажды.

Еще в 1815 году, в послании к Дельвигу («Послушая, муз невинных...»), он писал по поводу своего первого появления в печати:

И что же? Рад не рад,
Но вот уже я брат
Бестолкову пустому,
Тому, сему, другому...
Что делать! Виноват!

Хотя слова «тому, сему, другому» здесь не расшифрованы, но ясно, что под ними подразумеваются плохие тогдашние поэты, а Дельвиг, к которому обращены стихи, мог, вероятно, назвать этих поэтов и более точно: Хвостов, Шихматов и т. д. Все это очень просто: «Тот, сей, другой» употреблены в обычном разговорном смысле намека — и ничего больше. Если же подходить к этим стихам, как подходит В. Шкловский, не вникая в смысл пьесы, то пожалуй, и в них придется увидеть «пародийное» сопоставление себя с несуществующими лицами.

Иногда он пишет жене: «На днях я чуть было беды не сделал; с тем чуть было не побранился» (11 июля 1834). Или:

«...видно, что ты довела *кого-то* до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц» (6 мая 1836). По Шкловскому должно бы выходить, что Пушкин готов был браниться с несуществующим недругом, а за Натальей Николаевной ухаживал воображаемый поклонник. В действительности же всякий знает, что под этими местоимениями, ради почтовых шпионов, скрыт Николай I.

Еще раз местоимение «тот» находим в послании к В. Л. Давыдову:

....Спасения чашу наполняли
Бесенной, мерзлой струей
И за здоровье *тех* и *той*
До дна, до капли выпивали...
Но *те* в Неаполе шалат,
А *та* едва ли там воскреснет...

Если не знать, что под «теми» подразумеваются неаполитанские карбонарии, а под «той» — испанская революция, то и здесь можно увидеть что-нибудь в роде «пародийных тостов». Но читатели, которых в данном случае предполагал Пушкин, т. е. Давыдов и его друзья, знали, что означают эти местоимения.

В. Шкловский поступил бы правильнее, поискавши если не пародийных сравнений, то пародийного применения местоимений, — в других местах, не в «Евгении Онегине». Тогда бы он нашел экспромт 1833 г.:

Полюбуйтесь же вы, дети,
Как в сердечной простоте
Длинный Фирс играет в *эти*
Те, те, те и те, те, те.

Черноокая Россети
В самовластной красоте
Все сердца пленила *эти*,
Те, те, те и те, те, те.

О, какие же здесь сети
Рок нам стелет в темноте:
Рифмы, деньги, дамы *эти*,
Те, те, те и те, те, те.

Комментарий к этим стихам общезвестен: они писаны на даче, по поводу ответа кн. Голицына, что он играет и на прежде выигранные, и на вновь поставленные деньги: «и на эти, и на те, и на те, те, те».

Лица, для которых писался экспромт, конечно, были свидетелями голицынского ответа, и первая строфа для них не представляла пародии. Но вторая строфа и третья, в которых тому же сочетанию местоимений дан иной смысл, нежели у Голицына, — действительно отчасти пародирует первоначальную тему, давая тот же рефрен в новом и неожиданном контексте. Однако и этот случай — не совсем то, что надобно Шкловскому: здесь местоимения относятся к ясно обозначенным существительным (сердца, рифмы, деньги, дамы) и только *указывают* на эти существительные, а не *заменяют* их. Здесь пародийность — в последовательной подмене существительных, а не в отсутствии их и невозможности их подставить. Но у Пушкина есть, действительно, случай и полного пародического применения местоимений. Я имею в виду стихи, написанные в альбом маленькому кн. П. П. Вяземскому. В первом четверостишии этой пьесы Пушкин поучительным тоном дает мальчику наставления, какие обычно даются детям. Все дело лишь в том, что совершенно невозможно на место местоимений, заменяющих существительные, подставить какие-нибудь конкретные понятия:

Душа моя Павел,
Держись моих правил:
Люби то-то, то-то,
Не делай того-то.

Здесь пародийность заключается в сохранении правоучительной формы — без всякого содержания. В заключи-

тельных двух стихах смысл пародии подчеркнут, и она разоблачена:

Кажись, это ясно.
Прощай, мой прекрасный.

Только в этом случае применение местоимения может быть названо вполне пародийным. Ибо для того, чтобы заставить *место-имение* играть такую пародийную роль, какую приписал ему Шкловский, цитируя стих «Онегина», — необходимо уничтожить то *имя*, которое местоимением замещается.

25

В XXXVI строфе пятой главы «Евгения Онегина» можно угадать несколько ассоциаций Пушкина, а по ним ход создания самой строфы.

Описываются именины Татьяны:

Уж восемь робберов сыграли
Герои виста; восемь раз
Они места переменили;
И чай несут. Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок — верный наш брегет...

Тут вспомнилась ему первая глава «Онегина», два места оттуда:

Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед —

и

...звон брегета им доносит,
Что новый начался балет!

Первое из этих двустиший, вместе с «обеденной» темой, должно было напомнить описанный вслед за ним обед Онегина с Каверинным:

К *Talon* помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Вошел — и пробка в потолок, —
Вина кометы брызнул ток... —

и так далее, — весь знаменитый перечень блюд этого обеда. Вспомнились, может быть, и другие гастрономические мотивы романа: ларинские блины и квас, брусничная вода, утренний кофе Онегина, его ужины с Ленским, рассуждения об ай и бордо и, уж конечно, — только что перед тем обстоятельно описанный именинный обед. Поэт почувствовал, что роман уже несколько перегружен гастрономией, и как часто делал в подобных случаях — решил сам разоблачить свой грех, прежде чем успел бы его упрекнуть читатель *): этим было отчасти предпрещено дальнейшее течение строфы: она должна содержать это разоблачение, а сверх того — дать возможность уклониться от описания чаепития.

Между тем, второе двустишие, —

Но звон брегета им доносит
Что новый начался балет, —

особенно сопоставившись со строкой:

Желудок — верный наш брегет,

в свою очередь заводило воспоминания еще дальше в прошлое, к «Руслану и Людмиле». Там в I-м издании поэмы имеется рассуждение о желудке, по смыслу —

*) Таким приемом в XXVI строфе I главы предугадан упрек в изобилии «иноплеменных» слов; отчасти тем же приемом в XLII строфе IV главы и в XLIV строфе главы VI отведен упрек в банальности рифм. В XXI и XXII, также в LIII октавах «Домика в Коломне» тот же прием — для избавления от упрека в «болтливости» и отсутствии морали. Можно указать и другие случаи применения того же приема.

близкое к этому стиху, а по форме — к приведенному двустопию:

Обеда лишь наступит час —
И вмиг нам жалобно доносит
Пустой желудок о себе*).

И — в том же «Руслане» — Пушкин, в подобном же случае, чтобы уклониться от описания обеда, за который он усадил Ратмира (песнь IV), говорит:

Я не Омер: в стихах высоких
Он может воспевать один
Обеды греческих дружин,
И звон, и пену чаш глубоких.

Но на этот раз в «Онегине», нельзя было сказать: «Я не Омер»: в том то и дело, что о «пирах» было уже говорено слишком много. Но можно было *сблизить* себя с Гомером, — и этим весь ход и окончание строфы были подсказаны окончательно. Получилось, по ассоциации с Каверинским обедом:

И кстати, я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках...

Здесь — возвращение к обеду с Кавериным и ко взлетевшей в потолок пробке — и затем заключение:

Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир.

Тут открывалась возможность нового отступления: перехода к сравнению своих героев с гомеровскими. Этому

*) Возможно, что Пушкин потому-то и выбросил эти строчки из 2-го издания «Руслана и Людмилы», вышедшего в 1828 г., что в окончательном тексте поэмы хотел избежать параллелизма с «Онегиным». Нечто подобное — см. заметку 6, о «недвижном» Китае.

и посвящены две строфы, XXXVII и XXXVIII. В XXXIX приходилось вернуться к чаю:

Но чай несут: девицы чинно
Едва за блюбочки взялись,
Вдруг из-за двери в зале длинной
Фагот и флейта раздалась.

Далее следует описание бала, а чаепитие «замято» и оборвано, чего нельзя было сделать без разоблачения приема и отступления на другую тему: если бы Пушкин прямо в конце XXXVI строфы таким образом оборвал чаепитие, то все это место было бы просто скомкано, и события побежали бы слишком быстро.

26

В 1819 г., в альбом М. А. Щербинину, было написано:

Весь день веселью посвящен,
А ночью царствует Киприда.

Заметим, что распределение времени, так сказать, традиционное.

В 1824 г., в послании к А. Н. Вульфу, Пушкин почти теми же словами изображает те же удовольствия, — только на сей раз по времени они размещены в обратном порядке:

Дни любви посвящены,
Ночью царствуют стаканы, —

и в соответствии с этим перемещением традиционных порядков — смело перемещены традиционные уподобления:

Мы же — то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены.

Это сказано вместо обычных выражений: «мертвецки пьяны» и «смертельно влюблены». Все сдвинуто с мест, и вывернутые причины родят вывернутые следствия.

1. Мне видится мое селение,
Мое Захарово.
(«Послание к Юдину»).

2. Хуже не было сего
Городишки на примете,
Если б не было на свете
Новоржева моего.
(«Есть в России город Луга...»).

3. Изгнанник помнил звук мечей
И льдистый ужас полуночи,
И небо Франции своей.
(«Наполеон»).

4. Вдали Италии своей.
(Об Овидии. «Евг. Онегин», I, 8).

5. Под небом Африки моей.
(«Евг. Онегин», I, 50).

6. Он думал в охлажденные лета
О дальней Африке своей.
(Об Ибрагиме Ганнибале. «К Языкову»).

7. Нет, не пошла Москва моя
К нему с поникшей головою.
(«Евг. Онегин», VII, 37).

8. И вспомнил он свою Полтаву.
(О Кочубее. «Полтава»).

9. Там пел Мицкевич вдохновенный
И посреди прибрежных скал
Свою Литву вспоминая.
(«Путешествие Онегина»)

В «Моем завещании друзьям» (1815) он обратился к Дельвигу:

Приди, певец мой дорогой,
Воспевший Вакха и Темиру!
Тебе дарю я лень и лиру — и проч.

Через год, в элегии «Я думал, что любовь погасла навсегда», поэт рассказывает о самом себе:

Весельем позванный в толпу друзей моих,
Хотел на прежний лад настроить резву лиру,
Хотел еще воспеть прелестниц молодых,
Веселье, Вакха и...

С кем срифмовать лиру? Конечно же, рука готова была написать освященную антологической традицией *Темиру*. Но слава «певца Вакха и Темиры» давно укрепилась в Лицее за Дельвигом. Говоря о себе, приходилось поставить другое условное имя — и Пушкин, вместо традиционной Темиры, сочинил собственную *Дельфиру* — потому что думал в эту минуту о *Дельви*ге. Так произошло это странное имя. Впоследствии оно повторено в «Руслане и Людмиле» (песнь V).

Есть в его словоупотреблении одна странность. Чрезвычайно, вообще, точный, он как будто не ощущает различия между словами: «супруга», «жена», «невеста».

В «Руслане и Людмиле» сказано в одном месте:

К *супругу* пленница летит;

в другом:

Звала *супруга*, —

хотя Людмила именно не успела стать супругой Руслана и хотя сам Пушкин в других местах зовет ее «и *девой*, и

княжной», что ему даже пришлось мотивировать в начале третьей песни.

Можно, конечно, возразить, что Людмила была похищена все же после брачного пира, то-есть когда она номинально стала «супругой» Руслана. Можно сказать и то, что здесь — поэтическая вольность языка, понятная всякому.

Хорошо. Но зачем Ленский, которому много времени еще оставалось до брачной ночи, который только иногда осмеливался

Развитым локоном играть
Иль край одежды целовать, —

зачем этот Ленский в предсмертной своей элегии обращается к Ольге:

Сердечный друг, желанный друг,
Прийди, прийди: я — твой *супруг*!

Но, пожалуй, и здесь найдется какие-нибудь объяснения. И я бы не рискнул утверждать, что для Пушкина слова «супруга», «невеста», «жена» сливаются, если бы 2 мая 1830 г., за девять с половиной месяцев до свадьбы, он не писал в письме к Вяземскому: «Приезжай, мой милый, да влюбись в мою *жену*». И в том же письме он дважды называет Н. Н. Гончарову своей *невестой*.

Почти в тот же день он пишет Плетневу: «Ах, душа моя, какую *женку* я себе завел!» — и тут же прибавляет: «Поручение твое к моей невесте исполнено».

Продолжение в следующей книге.

А. Лютер

НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

I

Теперь уже можно с уверенностью сказать, что крайние течения немецкой художественной литературы — экспрессионизм, футуризм, дадаизм: «их имена суть многи» — отжили свой краткий век. Кстати, ни один из теоретиков экспрессионизма не смог дать точного определения сущности нового движения. Говорилось обычно, что художник экспрессионист высказывает только свой внутренний мир — в противоположность «импрессионисту», для которого необходим сюжет, материал, тема, взятые из мира внешнего. Иными словами — экспрессионизм как-будто сводится к полнейшему субъективизму, однако, и поэты-экспрессионисты без «сюжетов» не обходятся, а когда поднимался вопрос, к «импрессионистам» ли или к «экспрессионистам» следует причислить того или иного из великих мастеров прошлого, то ответы получались самые разноречивые и до сих пор, например, не решено, был ли Гете экспрессионистом или импрессионистом.

Конечно, и это пропумевшее движение, как всякая революция, имело благие последствия. Оно внесло оживление в литературу, обогатило литературный язык, заставило вспомнить, что в искусстве важнее всего не «мастерство», а живая человеческая личность, сила чувства, оно выдвинуло ряд крупных талантов. Правда, многие из них уже отцвели, не успев расцвести. Надеж-

ды, возлагавшиеся некогда на Георга Кайзера, не оправдались. Каждая новая пьеса его доказывает, что мы имеем дело не с поэтом-творцом, а с холодным «драматических дел мастером». Лучшим его произведением остается драма «Газ», первая часть которой появилась на сцене во Франкфурте в ноябре 1918 года, вторая — там же в ноябре 1920 года. Сын фабриканта-миллиардера, став хозяином предприятия, перестраивает его на социалистических началах; завод становится собственностью рабочих. Но этим решен только вопрос материального обеспечения рабочих, характер работы не меняется, — она остается прежней механизацией человеческого духа. Молох «машина» пожирает мир и счастье. Наконец, страшный взрыв изобретенного главным инженером газа уничтожает завод; погибает огромное число рабочих. Инженер требует немедленного восстановления завода и возобновления работ; того же требует правительство, промышленные и военные круги, ибо все они уже не могут обойтись без двигательной силы нового газа. Однако, фабрикант понял, что зло не в условиях производства газа, а в самом газе; он проповедует среди рабочих возвращение к земле, создание земледельческой коммуны. Но его не слушают, толпа следует за инженером и ему остается только надежда на новое поколение. Представителем этого нового поколения во второй части драмы является внук фабриканта. Отшумела мировая война, в которой всемогущий газ сыграл страшную губительную роль. Этот газ, являвшийся в первой части драмы символом всепожирающего индустриализма, теперь становится символом военного могущества. Победители («желтые») пользуются своей победой лишь для того, чтобы принуждать побежденных («голубых»), производить все больше и больше газа. Беспощадная жестокость победителей ожесточает и несчастных рабов, и старый инженер, по-прежнему энергичный и предприимчивый, вырабатывает план воспользоваться все тем же газом для истребления

притеснителей. Но против него с чисто толстовской проповедью непротivления выступает внук героя первой части, находящийся тут же на заводе в качестве рабочего. Борьба заканчивается тем, что юноша сам взрывает завод, находя, что лучше погибнуть, чем мстить.

Драма производит сильное впечатление, несмотря на утрированную схематичность изложения, далеко оставляющую за собой хотя бы Андреевскую «Жизнь человека». Герои лишены индивидуальных черт и не носят собственных имен, диалог сжат до крайности. «Кайзер», говорит один критик, «отрицает всякую мелодию речи: язык кажется ему здесь почти уж затемнением понятий; телеграммные слова его являются, как-бы знаками чего то, что мы не должны воспринимать только слухом, как звук, а только мыслить. Фабула обнажена, как скелет, на костях которого краткими надписями обозначены их функции».

Безымянные фигуры изображают не людей, а понятия в области математических соотношений... Именно эта схематичность построения драмы заставляет сомневаться в присутствии у Кайзера истинно-творческого темперамента; социальные и этические проблемы являются для него, в конце концов, только математическими задачами. Последние его драмы «Hölle, Weg, Erde» («Ад, дорога, земля») и «Европа» положительно разочаровывают. Герой первой драмы из «ада» капиталистического строя вступает на путь «очищения» и обновления и в последнем действии оказывается на «земле» братства равенства, свободы и любви. Но именно для изображения блаженного состояния обновленного человечества Кайзеру не хватает красок, не хватает лиризма. «Европа» — совершенно неудачная попытка пародии мифологического сюжета в стиле Оффенбаха, но без его остроумия и, главное, без его музыки, полу-балет, полу-оперетка, которую не могли спасти ни блестящая постановка Рейнгардта в берлинском театре-арене «Grosses Schauspielhaus», ни исполнение роли Зевеса Александром Моисси.

Совершенно безнадежным приходится признать Карла Штернгейма. Первые его драмы (лучшая из них «1913 год») — злые, но блестящие сатиры на выродившуюся буржуазию — пленяли меткостью характеристик и тонкостью наблюдения, несмотря на крайнюю вычурность слога, пренебрегающего всеми правилами немецкого синтаксиса; в драме «Маркиза д'Арен» он дал новое своеобразное психологически углубленное толкование эпизоду из романа Андро «Jacques le Fataliste», пленявшему когда-то уже молодого Шиллера, который перевел его для своего журнала «Rheinische Thalia». Но революция окончательно сбила с толку Штернгейма. Он возомнил себя пророком, величайшим, недостаточно признанным поэтом своего времени и в целом ряде книг, брошюр и журнальных статей («Deutsche Revolution», «Berlin oder juste milieu» и пр.) громит век «Вильгельма II, Ратенау и Гергарда Гауптмана» — иногда очень метко и остроумно, но в связи с переходящим всякую меру самовосхвалением. Ненависть его простирается не только на всех современных немецких писателей (за исключением сотрудников «Aktion»), но и на Гете, которого, «проснувшийся пролетариат швырнет вместе с Эбертом, Гауптманом и Унру в ту же помойную яму». Последняя его повесть «Libussa» — мемуары лошади Вильгельма II. Здесь сатира уже лишена всякого остроумия и переходит в грубую ругань, какую и в конюшне редко услышишь. Кстати, в «Литературных Записках» петроградского дома литераторов сатира Штернгейма названа «воспоминаниями одного кавалерийского офицера, посвященными обхождению Вильгельма II с лошадьми». Это, разумеется, неверно. Штернгейм никогда не был кавалерийским офицером, рассказ у него ведется от лица самой лошади и дело не в обхождении Вильгельма с лошадьми, а в карикатурном изображении всей придворной и военной среды. Неверным оказался и слух, будто бы Вильгельм собирался привлечь Штернгейма за его памфлет к суду. Последняя драма Штернгейма, по-

ставленная в Берлине в октябре 1921 года, подобно «Маркизе д'Арен», написана на сюжет из литературы XVIII века — «Манон Леско». Но она оказалась чрезвычайно неудачной. Вместо истории нежной и глубокой страсти получилась сенсационная пьеса с чисто - кинематографическими трюками и эффектами, несколько не выигравшая от того, что автору, по его собственному признанию, при чтении знаменитого романа аббата Прево открылись «гигантские всемирно-исторические горизонты», и он из кавалера де-Грие сделал «жертву общественного строя», громящую этот строй в длиннейших монологах.

Увядает, едва успев расцвести, и Вальтер Газенклевер. В его драме «Сын», которая во время войны была запрещена цензурой, чувствовался юношеский задор, горел сильный темперамент, вечная тема борьбы старого поклонения с новым была трактована свежо и своеобразно; в «Антигоне» он использовал сюжет античной трагедии для страстной проповеди против милитаризма и деспотизма; не обошлись без грубого шаржа и безвкусицы — царю Креону вложены в уста подлинные, всем известные из газет слова Вильгельма II, — но центральная сцена — Антигона перед народом в страстной речи громит войну и прославляет мир — производит огромное впечатление. Много обещал и сборник лирических стихотворений Газенклевера «Der politische Dichter». Особенно удачна здесь баллада, изображающая спекулянтов, аферистов, милитаристов, лже-патриотов, сидящих в опере, в то время, как народ гибнет в окопах, умирает в городах с голоду, а его заступники сидят в тюрьме. Через каждые две-три строфы, рисующие голод, нищету, отчаяние и смерть, повторяется припев: «Die Mörder sitzen im Rosenkavalier»¹⁾.

Драмы Газенклевера появились на сцене лишь после революции. Казалось бы, что полученная поэтому воз-

¹⁾ «Der Rosenkavalier», известная опера Рихарда Штрауса.

возможность высказываться свободно не только перед читателем, но и перед театральной публикой, должна способствовать развитию его дарования; но вышло наоборот. Газенклевер оказался одним из тех вечных юношей, которые в первых своих опытах высказывают себя целиком, — а потом им сказать уже нечего, и приходится или повторять себя или пускаться во всевозможные кривляния и чудачества, чтобы сохранить за собой славу своеобразного таланта. Именно этим путем пошел Газенклевер. Для характеристики его пьесы «Люди» (1920) достаточно указать на то, что в последнем действии ее пять раз меняется декорация, но произносится всего пятнадцать слов, разделенных на шесть реплик, вроде: «Ненавижу». — «Здесь кто-то есть». — «Казнь». — «Спасу тебя» — и пр. Это не драма, а либретто для кинематографа. Следующее его произведение «Чума» он прямо так и назвал: «ein Film». Но давая в книге лишь ряд ремарок для режиссера, Газенклевер ожидает, что эта книга будет читаться не только режиссерами кинематографа, он требует, чтобы ее оценивали, как самостоятельное художественное создание. На сцене ни та, ни другая пьеса не появились. В 1920 — 21 году в Лейпциге, а затем и в Берлине шла его драма «Jenseits» («По ту сторону»), оригинальность которой состоит в том, что в ней пять действий, но только два действующих лица — «Он» и «Она». Они не могут быть счастливы, потому что между ними стоит тень умершего мужа героини. Тема не новая, но трактована она по-новому: «тень» заявляет о своем присутствии всевозможными феноменами из области «четвертого измерения» вплоть до частичной материализации.

Но и Газенклеверу и Штернгейму далеко до молодого писателя, имя которого неожиданно стало известным, благодаря тому, что ему в 1921 году была присуждена Клейстовская премия за драму «Pastor Ephraim Magnus». Имя автора — Ганс Генин Ян (Jahnn). Премия имени Клейста присуждается не коллегиальным учреждением по

большинству голосов, а отдельным лицом: комитет ежегодно выбирает (не из своей среды) того или другого известного немецкого писателя, которому предоставляется полная свобода назначить премию тому, кого он считает наиболее достойным. В 1920 году роль судьи досталась романисту и лирику Оскару Лерке; выбор его вызвал всеобщее недоумение. Ибо драма Яна ничто иное, как энциклопедия половых извращений в драматической форме; на 268 страницах изображены и садизм, и мазохизм, и кровосмешение, и однополая любовь, и насилие над малолетними и т. д., и т. д. В феврале 1922 года в Лейпциге была поставлена вторая драма Яна «Коронация Ричарда III»: здесь автор соперничает с Шекспиром, — но как! Ричард III, конечно, извращенный садист; еще лучше — королева Елисавета, которая в буквальном смысле слова «пожирает» своих пажей, т. е. пройдя с мальчиком всю науку страсти нежной, она сперва велит его кастрировать, а затем зарезать и зажарить, потому что ей хочется отведать человеческого мяса.....

II

Любопытно, что два наиболее крупных писателя, выдвинутых новым течением, Франц Верфель и Фриц фон Унру, в своих последних произведениях отнеслись с резким отрицанием и насмешкой к крайностям модернизма, к «обозной сволочи», по выражению Андрея Белого. В драме Верфеля «Spiegelmensch» вожаки литературной моды осмеяны в лице трех поклонников героя, а в драме Унру «Platz» авантюрист Шлейх говорит языком, пародирующим стиль экспрессионистской лирики.

Верфель — нежный и тонкий лирик. Основной мотив его поэзии — любовь ко всему живому. Во всем он чувствует живую душу и сознает себя частью великой мировой души. Это космическое чувство роднит его с Уитманом, вообще оказавшим сильное влияние на молодых

поколение немецких поэтов. Миросозерцание Верффеля ярко характеризуется следующими словами его: «это сердце знает слишком много; оно слишком глубоко испытало безнадежность, одиночество каждой былинки в поле, каждой лампадки, слишком горячо рыдало над покинутыми скамейками в парке в часы заката, чтобы переопенивать бессмыслицу вооруженной силы и законодательства». Единственный роман Верффеля носит заглавие, вполне определяющее его содержание «Виноват не убийца, а убитый». В качестве драматурга Верффель впервые выступил в 1916 году с переводом «Троянок» Эврипида; в 1921 году появилась и имела шумный успех трагедия «Spiegelmensch» («Человек в зеркале»), удивившая всех своей сценичностью, яркостью красок, умелым использованием театральными эффектами, — т. е. качествами, каких никто не ожидал от «чистого лирика». Верффель сам назвал свою пьесу «магической трилогией». Она создавалась под сильнейшим влиянием «Фауста», «Пеер-Гюнта». Герой ее, Тамал, в тридцать лет пресыщенный жизнью, хочет удалиться в монастырь. Но мудрый настоятель объясняет ему, что он не созрел еще для совершенства. Мир побеждает не тот, кто бежит из него, а тот, кто живет в нем. Путь к высоте ведет через три ступени. На первой человек не чувствует разлада между собой и миром, потому что он не знает и не видит мира. Вторая ступень — внутреннее раздвоение; «второе Я», «смертельный врач» увлекает человека ложью и соблазнами, и лишь осилив его, человек всходит на третью ступень, на которой он уже сознает себя частицей вечной гармонии, сознает свою неразрывную связь со вселенной. Этот путь предстоит пройти Тамалу. «Второе Я» воплощается в лице ожившего волшебным образом отражения в зеркале (Spiegelmensch). Этот двойник, сопровождающий Тамала на жизненном пути, как Мефистофель Фауста, — воплощение всего мелкого, низкого, чувственного, эгоистичного в натуре Тамала, всего того, от чего он должен освободиться,

чтобы вступить в высшую жизнь. Этот спутник вовлекает Тамала в ряд преступлений, но ему не удастся сломить Тамала совершенно; в момент глубочайшего нравственного падения в Тамале пробуждается чувство ответственности за все совершенное им, на суде он признает себя виновным и сам произносит себе приговор... Перед казнью ему еще раз является Spiegelmensch и предлагает спасти его, но Тамал отвергает искусителя и выпивает чашу с ядом. В эпилоге — пробуждение Тамала в монашеской келии. Было ли все пережитое им действительностью или сном, остается тайной. В монахе, стоящем у его ложа, он узнает того, кто в различных образах — князя, акробата, корабельщика, судьи, тюремщика — все вновь пересекал его жизненный путь, наблюдая, предупреждая и тайно руководя его судьбой. Теперь судьба эта совершилась, и Тамал достоин вступить в братию.

Таково содержание этой «философской сказки», написанной прекрасными стихами, полной ярких образов и сценического движения. Вслед за ней Верффель выступил с новой драмой «Bocksgesang» («Гимн козлу») — трагедией, поставленной в апреле 1922 в венском Raimund-Theater. Пьеса написана прозой; и носит более реальный характер, но в центре ее все-таки полуфантастическая фигура, правда, не появляющаяся перед зрителем — человек-козел, урод, дитя богатого крестьянина Стефана (действие происходит в Сербии, в конце 18-го или в начале 19-го века) и его жены, — олицетворяющая собою, подобно Калибану Ренана, грубую стихийную силу, восстающую против господствующего порядка не во имя новых идеалов, а только из жажды разрушения. Родители, стыдясь своего детища, двадцать лет держали его взаперти, о существовании его знает только бабка, вскормившая его грудью, и старый врач, философ-вольтерьянец. Вследствие неосторожности врача урод вырывается на свободу в момент крайне критический для деревни. Безземельные батраки, бродяги, вернувшиеся из Америки эмигранты требуют от

общины наделения их земель. Община им отказывает, и тогда толпа, руководимая анархистом—студентом Юваном и мистиком - фанатиком Богобоем решает в борьбе обрести право свое, начинает жечь и грабить дома богатых крестьян и избивать владельцев. Среди разъяренной толпы вдруг появляется урод, Юван провозглашает его богом нового человечества и скрывает его от народа в алтаре церкви. Сильнейшая сцена драмы — поклонение невидимому богу в храме с пением «гимна козлу»..... Затем турецкие войска быстро восстанавливают порядок. Стефан и его жена сидят на пепелище своего двора. Они бездетны: сын их Мирко убит Юваном, а урод задохнулся в горящем лесу, окруженном войсками. Пьяный живодер увозит его тело. Но Стефан не жалуется на судьбу. Потеряв все, он вновь почувствовал себя сильным и молодым. Он опять может работать, стремиться. Вместе с уродом, вместе с его домом и полем уничтожена и ложь его жизни, тяготившая над ним столько лет. Человек в натуре своей стремится к собственности, к власти, к порядку, — стремление это законно и необходимо, но ему поставлен известный предел, и когда он достигнут, неизбежно наступает реакция; пробуждаются стихийные силы, космос растворяется в хаос, из которого, однако, понемногу вновь выявляется организующее начало. Стефан начинает жизнь сначала и рад тому, так как стал внутренне свободен; но хаос не усмирен на веки, хотя безземельные, уцелевшие при карательной экспедиции и получают право оседлости: невеста убитого Мирко, Станя, заявляет, что она беременна от уroda, завладевшего ею в алтаре храма. Борьба когда нибудь разгорится вновь...

Вторая драма Верфеля, как и первая, поражает стройностью композиции и сценичностью. Все в ней ясно, определено, логично, совершенно нет расплывчатости, которой можно было бы ожидать на основании лирических опытов Верфеля. Не то — второй крупный поэт-драматург, выдвинувшийся в последние годы — Фриц фон-

Унру. Он уже до войны обратил на себя внимание своими драмами: «Офицеры» и «Принц Луи-Фердинанд». Но событием, потрясшим весь его внутренний мир, была война. В начале и он готов был приветствовать ее, но вскоре она показала ему «второй лик» свой, и этот лик, страшный, мучительный уже не давал ему больше покоя. Чтобы освободиться от него, он написал свою трагедию — «Поколение» («Ein Geschlecht») — первую часть не оконченной еще трилогии. Это не реалистическая драма из эпохи мировой войны, а символическая трагедия, не связанная с определенной эпохой; действующие лица, как в пьесах Кайзера, безымянны: «Мать, дочь, старший сын, сын-дезертир, военачальники». Драма только ставит вечные мировые вопросы, не решая их, но ставит их с необычайной силой и страстностью, невольно увлекающей и захватывающей зрителя. Это — не совершенное законченное создание сознательного творящего художника, как драмы Верфеля; в груди этого поэта бушует хаос, он борется с ним, не будучи еще в силах одолеть его, и пьеса его — только крик, вырвавшийся из груди борца. Действие трагедии, не прерываемое антрактом, происходит на кладбище. Мать и младший сын хоронят сына, павшего в битве. В это время солдаты приводят скованными двух старших братьев; оба оказались «преступниками»: один, поняв бессмыслицу кровопролития, поднял мятеж в войске, второй позорно бежал с поля битвы. Оба надломлены войной, которая опрокидывает все нравственные понятия, заставляет считать хорошим то, что раньше называлось дурным, принуждает человека совершать деяния, при воспоминании о которых, он, придя в себя, испытывает только ужас. И все-таки войну считают необходимостью, а потому невольно мысль постигшего ее неправоту должна обратиться к общественному порядку, сделавшему ее необходимостью. Безумные упреки, которыми старший сын осыпает мать, ничто иное, как возмущение прозревшего человека против старого порядка, который

не мог обходиться без войны. Теперь только он видит ясно, каким тяжелым бременем лежал на нем этот старый порядок. Его принуждали считать его божественным, подавляли в нем всякую живую мысль. И он, связанный, приговоренный к смерти, подымает знамя мятежа — во имя чего он сам не знает, ему нужна пока только свобода, чтобы потом уже самому определить, где зло и где добро. К нему примыкает сестра. Вся пьеса — один дикий порыв, безумный экстаз, достигающий апогея в крике дочери, обращенном к матери: «Зачем ты дала нам жизнь».

Старший сын погибает, но глубоко пораженный военачальник сбрасывает с себя шлем и плащ, мать вырывает у него жезл вождя и под предводительством младшего брата солдаты бросаются к «казармам насилия», чтобы низвергнуть все, «что слишком нагло вздымалось к небесам».

Этот младший брат — Дитрих, — герой второй части трилогии — «Место» («Platz»), появившейся в 1920 году. «Место» или «город» — символ отжившего строя. Но самую тяжелую борьбу Дитриху приходится вести здесь не с представителями старого порядка, а с лже-пророком нового мира — Христлибом Шлейхом, который от прославления власти и войны сразу перескакивает к пассивизму, толстовству и буддизму и своими демагогическими приемами очаровал толпу, слепо идущую за ним. В этой борьбе победителем пока остается Шлейх. Но будущее принадлежит не ему, а Дитриху, который, борясь, страдая и любя, пережил глубокую душевную эволюцию и из стихийного мятежника стал сознательным борцом. В третьей части трилогии, не появившейся еще ни в печати, ни на сцене должна завершиться судьба героя.

III

Из «старых мастеров» Гергардту Гауптману в августе 1922 года исполнилось 60 лет. Юбилей его был отпразднован с большой торжественностью. Сам юби-

ляр после прелестной повести «Еретики из Соаны» (1917) выступает еще с тремя крупными произведениями — драмами «Индиподи» (1920) и «Белый Спаситель» («Der weisse Heiland», 1920) и повестью в стихах «Анна» (1921). «Белый Спаситель», поставленный с большим блеском и треском в рейнгардтовском театре — арене «Grosses Schauspielhaus», но особенного успеха не имевший, нечто вроде исторической хроники, изображающей завоевание Мексики испанцами. Много шума и внешнего движения, чрезвычайно много слов, но захватывает зрителя только образ царя-страдальца Монтезумы, падающего жертвой своей веры в людей и в святость учения о непротивлении злу. Действие «Индиподи» (пьеса появилась в печати уже в январе 1920 года, но на сцене была поставлена лишь весной 1922 года в Дрездене) также происходит в средней Америке и приблизительно в ту же историческую эпоху, но это совершенно нереальная драма-сказка, создавшаяся под сильным влиянием шекспировской «Бури» и даже целиком перенимающая некоторые из шекспировских образов. Один критик называет «Индиподи» драмой «заблуждения старого поколения, драмой гибели мудрости под напором жизни, драмой хаоса, низвергающегося на старый мир, который спасает себя не тем, что побеждает хаос, а утверждая его и исчезая в «ничто», так как он — «все». Дети становятся насильниками родителей, внутреннее очищение которых приводит к тому, что молодое поколение еще глубже втягивается в грех — в данном случае кровосмешение между братом и сестрой, — потому что очищение не было результатом мужественной, выдержанной до конца борьбы». «Можно согласиться с этим очень благосклонно настроенным критиком, но все-таки приходится сказать, что образы Гауптмана бледны, философия его неясна, и стих его потерял прелесть «Потонувшего колокола».

Удивительно плохие стихи (гексаметры) портят также и поэму Гауптмана «Анна». Сама по себе — это очень милая деревенская идиллия с тонко обрисованными характерами и рядом прелестных жанровых картин и описаний — «фламандской школы пестрый сор». Но гекзаметр, выбранный Гауптманом, вероятно, в подражание Гетевскому «Герман и Доротея», заставляет поэта растягивать простую историю любви двух простых сердец на целых 24 песни, уснащать свое повествование мифологическими сравнениями — и вместо простого трогательного рассказа (местами лишь просвечивающего и всегда захватывающего и трогательного душу) получилась мало удачная подделка под классицизм.

О старшем брате Гергардта Гауптмана, Карле Гауптмане, в России ничего почти не знали. Между тем это был крупный и своеобразный талант, и смерть его (4 февраля 1921 года) — несомненно большая потеря для немецкой литературы. Карл Гауптман и в Германии всегда заслонялся Гергардтом, лишь в последние годы на него стали обращать все более и более внимания. Из его произведений прежних лет заслуживали бы перевода на русский язык роман «Einhard des Lächles» и его полные глубоких мыслей и блестящих афоризмов стихи. Карл Гауптман был глубокий мыслитель и мечтатель, замкнувшийся в себе и не гонявшийся за успехом. Из последних его произведений следует отметить драму «Музыка» (1920) — трагедия творческого гения, и драматическую легенду «Царь - отступник» («Der abtreunnige Zar»), написанную еще в 1914 году, но изданную и поставленную на сцене лишь в 1921 году. Для нас она представляет особенный интерес и тем, что действие ее происходит в России, конечно, совершенно фантастической. На высоте могущества и власти царь отказывается от престола, ибо постиг суету всего земного; он хочет быть простым человеком, как все, жить только для души. Несколько лет он живет в глубоком уединении, пока до него не до-

ходит слух, что престолом завладел один из его прежних приближенных, насильно взявший в жены его дочь, и угнетает народ. Тогда в царя пробуждается гнев и жажда мести; он бросает свою келию и спешит в столицу, чтобы вернуть себе свою прежнюю власть. Народ восторженно следует за ним. Но низвергнув самозванца, он одумывается, понимает, что изменил самому себе, и в знак покаяния пригвозждает к кресту руку, подымавшую кинжал на соперника, — убеждая в то же время народ оставаться верным заветам истинной свободы и справедливости.

Относительно двух других «братьев-писателей» — Томаса и Генриха Манна мнения — публики и критики всегда сильно расходились. Когда то фаворитом был несомненно Томас, потом все больше и больше выдвигался Генрих, в настоящее время Томас опять возбуждает большее внимание. Много толков и пересудов вызвал его сборник статей «Рассуждения не-политика» («Betrachtungen eines Unpolitischen»). Томас Манн восстает здесь против лже-космополитизма и лже-демократии той самой клики, представителей которой Унру изобразил в своем Шлейхе, — и вследствие этого он в глазах многих оказался в гораздо большей мере консерваторм, чем он есть на самом деле. Но ценность книги не в ее полемических главах, а в тех, где Томас Манн говорит о своих литературных и музыкальных любимцах — Шопенгауэре, Вагнере, Достоевском. Манн - художник в последние годы дал очень немного — всего две прелестные по содержанию и настроению идиллии: «Herr und Hund» и «Gesand von Kindehen», показавшие, однако, что с гекзаметром он справляется еще хуже, чем Гауптман. Появившаяся в 1921 году повесть «Walsungenblut» («Кровь Вельзунгов») принадлежит к числу самых ценных созданий Томаса Манна, но не повинка. Повесть должна была появиться уже в 1905 году в журнале «Neue Rundschau», но в последний момент редакция исключила повесть из вполне уже законченного очередного номера, боясь нареканий

публики и, может быть, даже вмешательства полиции и суда в виду эротической темы повести, темы, трактованной, впрочем, чрезвычайно глубоко, тонко и целомудренно.

Генрих Манн, после своего романа-памфлета «Подданный» («Der Untertan»), появившегося в русском переводе уже в 1915 году, тогда как в Германии война помешала его опубликованию, и он стал известен лишь после революции, тоже ничего более или менее замечательного не дал. «Подданный» в 1919 году также не произвел того впечатления, какое он мог бы вызвать в 1914 г. Во многом писатель оказался пророком, но многое в его книге в момент ее появления оказалось уже устаревшим. Лучшую оценку романа дал Вернер Маргольц в журнале «Das literarische Echo»: «Наивные души будут смеяться при чтении этой книги, — не будем мешать их удовольствию. Серьезные люди будут оплакивать ее, потому что ее написал немец, одаренный талантом, потому что она могла быть написана в Германии, потому что ее необходимо было написать и потому что она, не взирая на все, чисто-немецкая. Немецкая в своем самоистязании и невнимании к мнению мира, немецкая в своей основательности и несправедливости к собственному народу. Пусть меня причислят к пангерманистам, но необходимо высказать: Германия, о которой мечтаем мы, не будет такая, какою ее изображает «Подданный», но и не такую, какою она представляется в уме литератора, написавшего этот роман. Она будет или чище, свободнее и прекраснее, или ее не будет вовсе. Пусть революция позаботится о том, чтобы будущий памфлетист не отзывался о ней так, как Генрих Манн отзывался об императорской Германии...»

Драма Генриха Манна «Путь к власти» («Der Weg zur Macht»), поставленная в октябре 1920 года в Мюнхене. Герой ее — молодой Наполеон. Великая французская революция представляется Манну такою, какою он видит германскую революцию 1918 года. Деятели ее — мелкие мошенники и спекулянты, через головы которых

Бонапарт идет к власти. Появившаяся в 1921 году повесть Генриха Манна «Честолюбивая» («Die Ehrgeizige») повторяет лишь мотивы его до-военных произведений — это все та же среда выродившейся буржуазии и позирующей лже-богемы.

2 февраля 1919 года умер Рихард Демель. Как известно, он добровольцем участвовал в войне, не из шовинизма, а потому, что хотел быть там, где в тяжелую годину находилась масса народа; ему казалось позорным сидеть в Берлине и писать стихи, в то время как сотни тысяч терпели голод и холод и жертвовали жизнью. Опубликованный уже после его смерти дневник «Zwischen Volk und Menschheit» («Между народом и человечеством») — захватывающий, местами прямо потрясающий «человеческий документ». Печатаются теперь его письма, ярко обрисовывающие его своеобразную личность. Они представляют чрезвычайно ценный не только биографический, но и исторический материал — благодаря множеству разбросанных в них метких характеристик современников Демеля — Лилиенкрона, Стриндберга, Пшибшевского, Шлейха, Клингера, Беклина и других. Последнее художественное создание Демеля, аллегорическая комедия в стихах «Семейство богов» («Die Götterfamilie»), сатирическое изображение революции, к сожалению, оказалось очень слабым и, может быть, наследники поэта разумнее поступили бы, если бы воздержались от опубликования комедии.

Модным писателем большой публики в Германии все еще остается Вольдемар Бонзельс, хотя он после своего действительно великолепного описания путешествия в Индию не написал ничего, чтобы могло сравниться с этой книгой. Бонзельс эклектик, его творчество смесь романтизма и фантастики с буддийской философией, в нем — немножко от Максима Горького, немножко от Эйхендорфа, немножко от Кайзерлича и Гьелларуна. Та-

ков характер и последней его книги «Эрос и Евангелия» («Eros und die Evangelien»).

Шестьдесят лет в 1922 году исполнилось и Артуру Шницлеру (15 июня). Его очень тепло приветствовали, не скрывая, однако, что он — певец уже отжившего мира. Резче всего это высказал критик Герберт Гольц по поводу вышедшей к юбилею книги о Шницлере Иосифа Карнера, в которой он характеризуется, как поэт исключительно эротический. Для Гольца Шницлер прежде всего — бытописатель появившейся после 1848 года либеральной венской буржуазии. «Благодаря выдающемуся формальному дарованию писателя, создания его производят впечатление, пока остаются неизменными внешние условия жизни, пока жив тот общественный класс, из которого вышло это творчество. Вместе с гибелью либеральной буржуазии, и мир Артура Шницлера потерял смысл. Нет моста, ведущего от сентиментов среды, насыщенной всеми благами мира сего к исканиям обедневшего, разбитого человечества 1922 года. Ничтожность проблематики, всецело посвященной исследованию вопроса, что должно случиться для того, чтобы могло совершиться внебрачное сокоупление, и что может случиться после этого события, вся пустота этой игры в любовь и смерть, у которой никогда не хватало смелости ни для абсолютного наслаждения жизнью, ни для истинного благоговения перед нею, — в многочисленных образах и проблемах Шницлера кружится в поистине «ужасающей пляске смерти». С тех пор, как бедные людишки, имевшие все и потому и позволявшие себе роскошь иметь душу, неустанно обнюхивали, облизывали эту душу и рассуждали о ней, — с тех пор мир настолько переменялся, что первым переживанием молодежи оказалась совершенно иной вид, чем психическое самообнажение потерявшего себя общества...»

Последние произведения Шницлера вполне подтверждают эту характеристику. В повести «Возвращение Казановы» и в комедии «Сестры или Казанова в Спа» — все тот же мир, все те же типы и те же проблемы, который так хорошо знаком нам из «Анатolia», «Игры в любовь», «Одинокого пути» и пр., и пр. Меняются только имена и костюмы действующих лиц; Казанова — все тот же Анатолий в парике и камзоле с золотым шитьем. Шницлер, может быть, единственный из крупных немецких писателей, не обмолвившийся ни одним словом по поводу великого переворота наших дней. Событий 1914—1918 годов для него как будто не существует. А между тем, как раз его имя в последний год всего чаще упоминалось в печати — и отнюдь не по поводу его шестидесятилетия, а — в связи с постановкой «Хоровода», ставшей возможной при «новом строе». Постановка эта вызвала ряд крупных театральных скандалов, закончившихся грандиозным судебным процессом, к которому в качестве экспертов были привлечены писатели, критики, историки литературы. Было произнесено очень много блестящих речей о том, что истинно-художественное произведение не может быть безразличным, а «Хоровод» — несомненно художественное произведение, говорили очень много о свободе искусства, о чистоте намерений Шницлера и театральной дирекции, поставившей его пьесу, с азартом доказывали, что дважды два четыре; не говорили только об одном: о составе и психологии массы театральной публики, и правым оказался в конце концов критик, заметивший, что число людей, ищущих в театре только художественного наслаждения, вовсе не так велико, чтобы обеспечить «Хороводу» полтора-два полных сборов подряд...

IV

Новый крупный писатель современной Германии — Альбрехт Шеффер (Schaeffer), выступивший во время войны с сборником стихотворений «Des Michael Schwert-

los Kriegsgedichte» («Военные стихотворения Михаила Безоружного»), а затем привлечший внимание всех любителей литературы своими повестями и поэмами. Это — не экспрессионист, не футурист; это — эпик-реалист, спокойно, ясно, мерно повествующий о людях и их делах, но знающий все глубины и бездны человеческой души. Сила его именно в тонкости психологического анализа, чуждого вместе с тем всех вычурностей модернистов, гонящихся только за эффектами. Внутренняя правдивость образов Шеффера — вот главное их достоинство. Он заставляет вспомнить лучших мастеров «поэтического реализма» Германии — Келлера, Шторма, Мейера. В повести «Гудула» (1919) рисуется жизнь женщины, чистой, простой, умеющей только одно: любить и страдать. Дочь мелкого владетельного князька, она — без малейшей героической «позы» — отказывается от всех своих привилегий, чтобы последовать за человеком, которого она любит — художником. Затем долгие годы тяжелой борьбы за существование, тихая радость, смерть мужа, забота о детях — словом, как будто самая обыкновенная человеческая жизнь, но художник сумел воплотить все лучшие стороны германского национального характера в образе своей героини, которую мы видим молоденькой девушкой в веймарском парке в разговоре со стариком Гете (одна из самых ярких сцен повести — Шеффер немногими словами обрисовал великого поэта удивительно метко и правдиво) — а в конце повести древней старухой, дожившей до Вильгельма II и его империалистической политики. Повесть охватывает таким образом почти целое столетие, но главный интерес, конечно, сосредоточивается на событиях первой половины века; потом жизнь героини входит в спокойное русло, и автор изображает ее лишь, в общих чертах. Но история детства и первой юности Гудулы насыщены всей прелестью раннего немецкого романтизма, духом Жан-Поля и Гельдерлина, — и не менее сильно и живо в судьбе и душе геро-

ини, ставшей уже зрелой женщиной и матерью, отражается демократическое движение сороковых годов.

Совершенно иной женский тип дан Шеффером в романе «Элли или семь ступеней», вышедшем вскоре после «Гудулы». Элли — натура страстная, идеалистка, вступающая в жизнь, наполненная стремлением к «высшему, яркому, редкому, сильному», к легенде «в дебрях жизни». Но у нее нет силы одной идти по этому пути, а проводники, которых она находит, ведут ее лишь в бездну — шаг за шагом, по «семи ступеням». Жизнь дикая и безумная, но изображается она тем же ясным, объективно-спокойным, «гетевским» слогом, как и мирная жизнь Гудулы, — но это не бесстрастная объективность натуралистов старого типа; читатель чувствует, как близок автор к своей героине, которая пала только потому, что первый человек, который взялся вести ее, оказался слишком слабым; чувствуется глубокая всеобъемлющая и всепрощающая любовь, которой проникнута вся книга от первой страницы до последней.

Крупнейшее произведение Шеффера — вышедший в 1921 году роман «Helianth» в трех томах. Это роман-хроника из жизни двух людей нашего времени, ищущих друг друга, расходящихся и вновь сходящихся, роман, изобилующий действующими лицами, из которых каждое обрисовано ярко и метко, являя собой тип современного общества, роман, в котором, как у Толстого и Достоевского, в беседах его героев обсуждаются чуть ли не все вопросы, волнующие наши умы, — эти беседы полны глубоких мыслей и блестящих афоризмов, но нигде не производят впечатления «пристегнутого», нигде автор не высказывает только собственных мыслей устами своих героев, — он характеризует этих героев, выявляет их сущность их взглядами и рассказами так же, как их действиями, и вновь приходится удивляться глубине его психологического анализа и проникновения в человеческую душу. «Все эти люди», говорит критик Гвидо

Брандт, «умны, богаты познаниями, душой и сердцем и ведут глубокомысленные разговоры о любви, браке, искусстве, литературе, поле, земле и людях, они говорят в удивительных образах, способны глубоко постигать души и связь их между собою, отдаются своим страстям, переносят бесконечные страдания и, наконец, смерть. Эти люди знают, что их существование только звено цепи, которая не может быть разорвана. Следя за историей этих жизней, читатель ни разу не спрашивает, действительно ли все могло быть так. С самого начала в нем живо чувство: все это так и есть. Кто прочитал «*Helianth*» до конца, чувствует глубокую тяжесть на душе: это вера, проникающая книгу. В романе много говорится о радостях, празднествах, красоте. Но еще больше в нем страдания и скорби, ужаса и тайны, изнурения и смерти, разлада и безнадежности, боли и глубоких ран. Это настроение мировой скорби, выросшей из бесконечной равнины пейзажа. Все проникнуто скорбью какой-то скрытой в глубине силы, дыханием подземного потока, подобно темному Стиксу. Всегда точно слышишь голос, поющий, как в поэме Шеффера «Божественный Страдалец»: «нигде ты не найдешь обетованной страны, но некогда причалишь к берегу». На пути к совершенству легли тени вины, и слово, которое пламенем горит перед все ниже падающей Элли, сияет и над последним крупным созданием Шеффера «Жертва».

Одновременно с романом «*Helianth*» вышло другое произведение Шеффера, поэма — «*Der göttliche Dulder*» («Божественный страдалец»). Это — история Одиссея, но рассказанная совершенно по новому, смелый опыт романизации древнего мира. Поэма распадается на множество отдельных частей-картин, из которых каждая написана другим стихотворным размером и по содержанию, стилю и построению представляет собою законченное целое. Баллада, идиллия, гимн, элегия, песня — все эти формы можно найти в «Страдальце» Шеффера. Одисей в его

изображении становится олицетворением вечно ищущей, вечно метущейся души человека. В некоторых местах, как например, в песне сирен язык Шеффера достигает красоты и мощи, какая редко встречается у современных немецких поэтов.

Альбрехт Шеффер родился в 1885 году в Эльбинге в Восточной Пруссии, был студентом в Мюнхене, Берлине и Марбурге, с 1919 года живет в небольшой баварской деревне, в горах «вдали от шума городов, не считаясь с направлениями и программами крикливой молодежи, не думая о моде и публике».

V

Несомненно симптоматическое значение имеет пробудившийся вновь в Германии интерес к историческому роману, о котором лет двадцать тому назад знать ничего не хотели. Интерес этот виден уже из того, что все чаще начинают появляться в новых изданиях исторические романы старых писателей, — притом отнюдь не первоклассные, а весьма слабые «профессорские» романы Феликса Дана и совершенно рыночные романы из древне-римской жизни Эрнста Экштейна. Ясно, что на этого рода литературу вновь имеется спрос. Характерным является в этом отношении и большой успех, который имеет у большой публики в Германии голландец Куперус (Couperus) с своими античными романами («Гелиогабал», «Римские комедианты», «Дионис» и пр.). Безотраднее настоящее заставляет искать забвения и утешения в прошлом; массу, кроме того, привлекает вся «ветошь маскарада», внешняя занимательность; исторический роман для нее тот же роман приключений; и это влечение к историческому роману, как к занимательному чтению, мы видим не только у «массы» в точном смысле слова, но и у образованных, эстетически воспитанных людей: они тоже пресытились вечным анализом, вечной психологией и ищут ярких кра-

сок и сильного внешнего движения. С другой стороны писатели все чаще обращаются к прошлому не для того, чтобы уйти от настоящего, а чтобы уяснить себе настоящее: в прошлом они видят ту же борьбу, те же проблемы, что и в настоящем, но там они как будто яснее, определеннее, там внимание не отвлекается от сущности массой мелочей, которые для современника часто совершенно затемняют сущность; затем «переоценка ценностей», производимая сейчас повсюду, коснулась и исторического прошлого; многое в этом прошлом представляется нам теперь совершенно иным, чем его рисовало нам предание веков — дело тут не в новых научных открытиях, а только в новой точке зрения, к которой привели нас наши собственные переживания, — и это вызывает охоту изобразить великое прошлое таким, каким мы его видим теперь.

Любопытно, что среди исторических романов последних лет очень большое число посвящено писателям и художникам. Героями немецких романов стали Шиллер (Вальтер фон-Моло), Клейст (г. фон-Мергеймб), Шторм (Эмиль Гагина), Грильпарцер (Иосиф Лукс), Ленау (А. Мюллер-Гуттенбрун), Гельдерлин (Бр. Вилле) и др.

Крупнейшими созданиями в области исторического романа за последние годы несомненно является трилогия молодого австрийского писателя Гвидо-Эрвина Кольбенгейера (Kolbenheyer), избравшего своим героем Парацельса. Первая часть — «Детство Парацельса» — вышла в 1918 году, вторая — «Звезда Парацельса» — в 1921 году, третья еще не появилась. Роман дает чрезвычайно яркую картину Германии XVI века с ее религиозными исканиями, мистицизмом и алхимией, с ее социальными неурядицами, крестьянскими восстаниями и войнами мелких князей-помещиков, но главное в нем — образ самого героя: в первой части это одинокий ребенок-мечтатель, в уединении бессознательно впитывающий в себя силы духа, глубоко чувствующий природу, рано начинающий задумываться над вечными вопросами; во второй

части пробудившийся гений, расправляющий крылья, убежденный борец за истину, непонятный и осмеянный, оказывающийся еще более одиноким, чем в детстве.

В романе Кольбенгейера, несмотря на великолепный исторический фон, все сосредоточивается на личности героя, все имеет непосредственное отношение к нему, является как бы его переживанием, моментом развития его личности — и споры ученых в Тюбингене, и лагерь ландскнехтов, и восстание крестьян. Роман Альфреда Деблина «Валленштейн» (1921), напротив, хотя и назван именем героя, но в сущности роман без героя. Один критик метко назвал его «гобелэном». Эпоха тридцатилетней войны — эпоха стихийных движений, и несмотря на кажущееся обилие сильных и великих личностей двигателями событий являются не эти личности. Поэтому и Валленштейн в романе Деблина не занимает того центрального положения, как в трагедиях Шиллера. Он лишь один из винтов огромного механизма, и вопрос, какая сила управляет этим механизмом, остается открытым. Цель Деблина — показать нам весь этот механизм; роман разбивается на множество эпизодических сцен, красочных, захватывающих, перед читателем проходит целая галерея действующих лиц, очерченных резкими контурами; любопытно, что наибольшее внимание автор уделяет императору Фердинанду, мягкосердечному, безвольному фантазеру и гуляке, которому совершенно не по силам задача, возложенная на него, но который все-таки оказывает огромное влияние на судьбу окружающих его лиц, а потому и на развитие исторических событий. Но именно эта трактовка характера еще усиливает впечатление, что и Фердинанд, как все остальные герои романа, даже еще в большей мере, чем они — лишь орудие в руках иной непонятной силы, проникающей все, действующей во всем и во всех, но не постигаемой разумом и не поддающейся никакой формулировке.

Трехтомный роман Эдуарда Стукена «Die weissen Götter» («Белые боги») местами уже приближается к типу старого археологического романа — так много внимания уделено в нем изображению своеобразной экзотической культуры, изученной автором до мельчайших подробностей. Тема та же, что и в «Белом спасителе» Гаупмана — завоевание Мексики испанцами. Стукена пленяла картина гибели старой, уточенной до крайности, а потому пережившей себя культуры под напором грубой силы, и он набросал эту картину в огромных размерах, так что ее трудно охватить одним взглядом. Читатель переносится совершенно в чуждый ему, своеобразный мир, и этот мир так пленяет яркостью красок, полным несходством со всем тем, к чему мы привыкли в нашем мире, что лишь понемногу начинает выясняться общечеловеческое значение разыгрывающейся перед нашими глазами трагедии. Автор точно намеренно скрыл ее под экзотизмом своих картин, а между тем — чем дальше, тем больше чувствуешь, что исходным пунктом для писателя была трагедия, а не экзотизм. Гибель Мексики — столкновение двух миров, и все исторические детали должны служить лишь к тому, чтобы возможно полнее охарактеризовать эти два мира; при этом отдельные личности, как и у Деблина, сами низводятся на ступень исторических деталей; дело не в них, а в совершающейся великой судьбе.

VI

Рядом с историческим романом сильный интерес возбуждает роман фантастический и утопический — ясно, что по тем же причинам. Огромный успех выпал на долю «Голема» Густава Мейринка еще во время войны; последовавшие затем мистико-фантастические романы Мейринка («Зеленый лик») и др. много слабее «Голема» и понадобилась очень большая реклама со стороны изда-

тельства, чтобы обеспечить им сбыт. Одним из любимых мотивов фантастического романа является — гибель всего человечества вследствие какой-нибудь стихийной катастрофы, причем всегда остается в живых небольшая группа людей, призванных стать родоначальниками нового рода человеческого и обязательно начинающих ab ovo — с обработки земли. Таковы не лишенные внешней занимательности романы Вернера Шеффа «Ковчег» и Франца Каппуса «Последние четырнадцать». Чрезвычайно смелым по замыслу и блестящим по исполнению является роман талантливого австрийца Карла-Ганса Штробля «Переворот в потустороннем мире» («Umsturz im Jenseits»). Революция перенесена здесь в область четвертого измерения; вследствие мировой войны эта область оказалась чрезвычайно населенной духами, далеко еще не достигшими той степени внутреннего совершенства, которая делала бы их достойными существования в надземной сфере; они не освободились еще от земных страстей и желаний — и это приводит к мятежу духов низшего порядка против высших; основы потустороннего мира потрясены, и эта революция вносит хаос, смятение и ужас также в мир живущих еще земной жизнью; все человечество заболевает диким психозом, от которого оно исцеляется лишь понемногу, после того, как за пределами земли установлен порядок. Это странная тема разработана Штроблем мастерски; роман читается с захватывающим интересом. В другом романе «Привидения в болоте» («Gespenster im Sumpf»), Штробль разворачивает фантастическую картину погибающего города — Вены. Большинство жителей перемерло от голода, оставшиеся ютятся по разным углам, питаются подавными иностранцев, — причем въезд в город разрешен только членам комиссий, заведующих снабжением города, под условием соблюдения целого ряда строжайших санитарных и полицейских предписаний, вызванных свирепствующими в городе эпидемическими болезнями и преступностью до-

веденного до отчаяния населения. При первом чтении роман производит впечатление дикого бреда, кошмара, — а между тем многое из этого кошмарного сна стало уже страшной действительностью.

Исходным пунктом романов Штробля является катастрофа, постигшая Германию и Австрию. Имеется, конечно, также ряд попыток дать в романе реалистическую картину этой катастрофы, а в связи с этим разобраться в проблеме революции вообще. Многие из этих попыток интересны, но законченного художественного создания среди них мы пока не находим. Много толков вызвал роман Карла Рознера «Король» («Der König»), изображающий последние роковые дни в Главной Ставке и душевное состояние «короля», т. е. Вильгельма II, в эти дни. Образ, созданный писателем, может быть, не соответствует действительности, но постепенное пробуждение в монархе сознания собственной вины изображено с большой психологической правдивостью. Автор «Туннеля» и «Моря», Бернгард Келлерман в романе «9-е ноября» дал натуралистическое изображение переворота в Берлине; многое правдиво, многое интересно, но не чувствуется никакого под'ема: ни великого экстаза, ни великого негодования. Под'ема не чувствуется и в двух романах Клары Фибих, посвященных войне и революции: «Дочери Гекубы» («Töchter der Hekuba») и «Красное море» («Das rote Meer»), но писательница и не задавалась целью дать полное, всестороннее изображение катастрофы, задача ее была скромнее: показать, как отразились великие события на мелких людях, живущих тяжелым трудом и вечно пекущихся о хлебе насущном, прежде всего, на женщинах. И эту задачу она выполнила блестяще; кто хочет знать, как «средний немец» пережил войну и революцию, тому можно только рекомендовать чтение двух романов Клары Фибих.

Революция, как мировая катастрофа — такова тема романа «Арарат» Арнольда Улиц (Ulitz). Действие

происходит в той стране, где революция была произведена с наибольшей последовательностью — в России. Конечно, это не настоящая Россия, фантастическая, какою она рисуется в голове талантливого немецкого писателя; достаточно взглянуть на курьезные имена действующих лиц. Но «Арарат» и не претендует на кличку исторического романа. Он изображает гибель нашего эгонистического, погрязшего в ненависти и насилии мира; пока рушится старое, в уединении русского леса зарождается новая жизнь в душах, отягощенных виной и преступлением, но нашедших в себе силу очиститься любовью и творческим трудом. Последнее насилие, уничтожающее ужаснейшего из представителей старого мира, пробуждает к жизни новый мир любви и братства.

Проблема революции занимала, конечно, и драматургов. О драмах Уиру и Верфеля здесь уже была речь; назовем еще Эрнста Толлера, драмы которого вызвали большой шум уже потому, что молодой автор ее один из активных деятелей революции; он был военным комиссаром в Баварии в краткую эпоху господствовавшего там советского режима и теперь еще находится в тюремном заключении. Трагическая судьба его заставила многих переоценить его значение, как художника; перед нами не гениальный поэт, но несомненно талант, скорее, впрочем, лирический, чем драматический, искренний идеалист, верующий и любящий. Первая его драма «Die Wanderung» («Перемена»), поставленная в сентябре 1919 г. в Берлине, является лишь отголоском его собственных внутренних переживаний во время войны. В лице героя-идеалиста, сперва видящего в войне подвиг очищения и обновления человечества, потом начинающего сознавать весь ужас бесконечной бойни, становящегося проповедником революции во имя человечности, любви и братства, и, наконец, принужденного проповедывать свои идеи в доме умалишенных, ибо «здоровые» не хотят слушать его, — автор не-

сомненно изобразил самого себя, устами его высказывает свои собственные мысли и мечтания с горячностью и искренностью, невольно подкупающей зрителя и заставляющей его забыть все драматургические недочеты пьесы.

Ту же искренность переживания мы находим и во второй драме Толлера «Masse Mensch» («Человек-масса»), поставленной в сентябре 1921 года в Берлине. Она, как и первая пьеса, подкупает своим лиризмом, но и в ней нет еще объективного изображения характеров; это, по выражению одного критика, — скорее симфония, чем драма. Сострадание влечет героиню-революционерку к униженным и оскорбленным, к массе. Но эта масса не только страдает, она также ненавидит и жаждет мщения, а потому сбросив с себя оковы, совершает такие же насилия и также проливает кровь, как низвергнутый ею насильник-государство. И человек, во имя чистоты человечности отдавший себя этой массе, чувствует себя обманутым.

Наконец, в третьей драме, «Die Maschinenstürmer» («Разрушители машин»), Толлер впервые пытается изобразить революцию в исторически-бытовой обстановке. Действие происходит в середине прошлого столетия в Англии на текстильном заводе, рабочие которого поднимают восстание вследствие замены ручного труда машинным, из-за которого сотни из них лишаются заработка и выбрасываются на улицу. Пьеса была поставлена летом 1922 года на сцене «Grosses Schauspielhaus» в Берлине и имела большой внешний успех, отославшийся, впрочем, гораздо больше к постановке массовых сцен, чем к автору. Несомненно, — это самое слабое из произведений Толлера; в нем уже нет более лиризма первых пьес, но и нет еще объективного мастерства, необходимого для подобной живописи *alfresco*. Сцены, в которых выводятся замученные, изголодавшиеся рабочие, равно как и сцены мятежа, кажутся сколками с гауптмановских «Ткачей».

VII

Лирика в Германии процветает, как никогда, по крайней мере, количественно. Отыскать жемчужные зерна в огромном ворохе экспрессионистических кривляний и диллентантского лепота — не легко, но они есть. О стихотворениях Верфеля и Газенклевера здесь уже была речь; Иоганнес Бехер в 1921 году выпустил новую книгу стихов «Um Gott» («Из-за Бога»), поражающую прежде всего своим объемом — 330 страниц. Это — сплошной крик, безумный экстаз. Но чувствуется искренность порыва, чувствуется, что эти напизанные друг на друга существительные и неопределенные наклонения, перемежаемые восклицательными знаками и многоточиями — не гримаса, не поза, а подлинный язык поэта, который слишком возбужден, чтобы говорить правильно построенными предложениями. В одном стихотворении он так изображает свое состояние и момент творчества: «чувствовал, писал, кричал, швырял: слоги, слоги неведомые слова. Конец одновременно и начало немецкого языка. О, еще более. О, это был уже не я. Извержение. Призыв. Изношенные периоды рвались на куски... Все стихи ликовали. Фантастическое уничтожение... Мозаика из безумия, злодейства, судороги и веры. Потоп. Рай. Калейдоскоп. Подземные ритмы. Острая молния согласных...»

Из лириков, выдвинувшихся в последние годы крупнейшим талантом является, может быть, Иосиф Вилклер. Его «Железные советы», вышедшие еще до войны, являются торжественным гимном труду, в ритме их слышится тяжелый стук молотов и колес, все здесь стройно, ясно и определено. Во второй книге стихов «Океан», наоборот, поэт поражает смелостью образов, силой космического чувства, роднящего его с Уитманом, третья же книга «Божий лабиринт или комедия хаоса» (Irrgarten Gottes oder Komödie des Chaos) является грандиозным символическим изображением нашего обезумев-

шего времени. Это время, этот мир не хотят любви, братства и мира, не хотят преодоления животных страстей во имя духа — таков основной мотив книги, варьируемый различным образом. «К чему», — спрашивает поэт в конце книги, «к чему было воздвигать надежные дома и прекрасные дома, пройти тяжелый путь жалких свайных построек и дикого пещерного существования. К чему было завоевывать весь земной шар, смело переплывать глубокие океаны, гордость минувших веков. Любимица, избранница среди континентов, царица планеты, маленькая, ужасная, великая Европа — где находятся Иерусалим, Афины и Рим, где сосредоточены все величайшие гении земного шара, где спускались на землю серафимы, где был рай первых людей, где Христос уносился в рай будущих людей, где сказалась вся глубина, вся ясность, вся сила человечества, — какая польза от того? К чему это?»

В год войны сразу выдвинулся целый ряд поэтов лириков из рабочей среды. Самым выдающимся является безусловно Геррит Энгельке, по профессии маляр из Ганновера, трагически погибший на войне за несколько недель до заключения перемирия, 13-го октября 1918 года. Иосиф Винклер так характеризует его творчество: «В нем был космический пафос, какого никогда не достигал лихорадочный акробатизм всех экспрессионистов. Безграничное сознание Божества, вне всякого дешевого пантеизма, исполняло все его существо и окружало великое и малое сферой любви, родства и братства, но с суровой северной натурой его неразрывно были связаны удивительная четкость образов и строгая форма выражения, ибо и это было дано ему от рождения: власть слова над предметом. Он не был творцом языка в точном смысле слова, но являлся им в своих удивительно убедительных словосочетаниях и ритме; сколько в нем ни было скорбно-мужественного (ему совершенно чужд был чистый эстетизм), все же в его стихах ликует страстное диони-

сийское космическое чувство, сознающее единство всего существующего...»

Генрих Лерш, литейщик из рейнской провинции, обратил на себя внимание своими стихотворениями, вызванными войной. Его книга «Herz. Auf glühe dein Blut», вероятно, одна уцелеет из всей «военной» лирики Германии и перейдет в потомство. Это — не патриотические фразы и не пасифистическая полемика против войны, это — глубокие переживания простого, религиозного человека, для которого война — прежде всего судьба, и только глубокая вера дает ему силу перенести ее. Картины сражений в его стихах — изумительны своей безыскусственной правдивостью; но сильнее всего захватывают стихотворения вроде следующего, озаглавленного «Братья»: «Давно уже лежал мертвец перед нашим проволочным заграждением, солнце жгло его, ветер и роса приносили ему прохладу. Я каждый день глядел ему в лицо и все яснее чувствовал: это, мой брат. Во всякое время, всюду я видел его лежащим передо мной и слышал его голос, доносившийся ко мне из далекого мирного края. Ночью же я часто слышал рыдания, мешавшие мне спать: брат мой, милый брат. — Ты меня больше не любишь. Пока я, наконец, не думая о пулях, ночью прокрался к нему и понес его к себе. Я похоронил его. То был чужой товарищ. Глаза мои обманулись; но ты, сердце мое, не ошиблось: каждый мертвец имеет лицо брата...»

По окончании войны Лерш вернулся к своей прежней профессии и с новым сборником стихов уже не выступал; поэтом его сделало великое внутреннее переживание; он высказался весь, и перепевать все вновь одни и те же мотивы он не в состоянии, искусства же «для искусства» он не знает.

Певцом пролетарской революции явился Макс Бартель, бывший и в России и слагающий гимны во славу Ленина. Но если первые стихи его подкупали искренностью чувства и действительным революционным под-

емом, то чем дальше, тем больше он стал впадать в трафарет и фразерство.

Зато блестяще развился талант другого поэта-пролетария — Карла Брегера. Вскоре после объявления войны все газеты и журналы Германии обошло его стихотворение, кончавшееся словами: «Помни, Германия, что беднейший из твоих сыновей, был вернейшим». В его «военных» стихах меньше образности, меньше чувства, чем у Лерша, но больше мысли. Поэтом-мыслителем он является и в своих послевоенных стихах; это — искатель истины, вечно мучимый этическими и социальными проблемами. В 1920 году вышел чрезвычайно интересный роман Брегера «Герой в тени» («Der Held im Schatten»). Это история тяжелого детства и безотрадной юности мечтателя-пролетария, поэта, не нашедшего своего признания, лишённого руководителя и потому все вновь и вновь сбивающегося с пути, доходящего даже до преступления, но все-таки не погибающего, ибо в нем жива искра божественного огня, и она в конце концов разгорается ярким пламенем. Роман несомненно автобиографический, и это придает ему особую ценность и прелесть: так просто, искренне и правдиво автор повествует о своих исканиях и заблуждениях, падениях и достижениях.

VIII

Из представителей современной немецкой драмы виднейшие уже были названы в начале этой статьи — Унру, Верфель, Кайзер, Штернгейм, Толлер. К ним следует присоединить Эрнста Барлаха (Barlach), художника-скульптора по профессии, выступившего впервые в качестве драматурга в 1919 году с пьесой «Бедный кузен» («Der arme Vetter»). Это — глубокая символическая трагедия одиночества души — вариация на вечную тему: «Мы все скользим над той же бездной, упасть в соседнюю

нельзя». Тот же мотив лежит в основе и второй драмы Барлаха. «Мертвый день» («Der tote Tag»), поставленный почти одновременно с гамбургской премьерой «Бедного кузена» в Лейпциге. Герой пьесы, юноша, рвется к жизни, в мир, но мать, робкая, ограниченная, не хочет отпустить его — и в результате две разбитых жизни. Опять дело не во внешней фабуле, а в символическом ее значении: душа рвется на простор, в мир высших достижений и откровений, но прикована к земле. Пьеса загромождена множеством аллегорических деталей, действие, в основе ясное и несложное, запутывается всевозможными эпизодами, цель и смысл которых постигается лишь с трудом, а то и вовсе не поддается истолкованию; из мира реальной действительности автор часто совершенно неожиданно переносится в мир фантастический, некоторые образы кажутся прямо заимствованными из народных сказок. Поэтому пьеса местами сильно захватывающая, у неподготовленного зрителя вызывает только недоумение и смысл и достоинства ее открываются только при внимательном, вдумчивом чтении. То же приходится сказать и о 3-й пьесе Барлаха «Истинные Сегемунды» («Die echten Segumunds»), поставленной весной 1921 года в Гамбурге. Фабула до того запутана, что получается впечатление прямо сумбурное. Около десятка не имеющих как будто ни малейшей внутренней связи «действий» сплетаются в какой-то гордиев узел. И все же чувствуется сильный темперамент автора и в ряде отдельных образов, резко выделяющихся из дикого хаоса, мы узнаем пластического художника.

Другой и притом очень крупный художник кисти и карандаша, один из столпов «экспрессионизма» Оскар Коккошка, тоже добывается лавров драматурга. Но его пьесы «Иов», «Убийца и женщины», «Орфей и Эвридика», несмотря на всю вызванную ими сенсацию, оказываются совершенно непостижимыми для ума простых смертных; мало мальски понятным является только их ничем не

прикрытый эротизм, впрочем, может быть, тоже представляющий собою символ чего-то «высшего».

Родственной Барлаху натурой является молодой драматург Альфред Бруст, драмы которого «Вечный человек» («Der ewige Mensch»), «Битва спасителей» («Die Schlacht der Heilande»), «Поющая рыба» («Der singende Fisch») в последние два года привлекли внимание публики и серьезной критики. Это — страстный борец за новые этические и религиозные идеалы, находящийся под сильным влиянием Достоевского и Толстого. Герой «Вечного человека», Корданус, новый Христос, проповедующий религию действенной любви; «Поющая рыба» — искание новых, чистых отношений между мужчиной и женщиной. В драмах Бруста своеобразно сочетаются лирический экстаз и символический мистицизм с реализмом подчас крайне резким и грубым.

Если Бруста приходится причислять еще к «подающим надежды», то Ганс Иост является уже вполне определившимся писателем. Еще во время войны он обратил на себя внимание глубокой психологической драмой «Одиноким» («Der Einsame»); герой ее — поэт-пропойца 30-х годов Граббе. В мае 1920 года в Дрездене была поставлена его драма «Король». Герой ее молодой монарх, проникнутый глубокой любовью к человечеству и своему народу и желающий основать порядок в своем государстве на совершенно новых принципах. Он знает только любовь и веру, вмешивается в судопроизводство и оправдывает подсудимого, давшего ложную присягу, потому что он в слепоте своей думал, что в праве поступить так; он возводит в дворянство проститутку, потому что она, униженная в своем человеческом достоинстве и все-таки не потерявшая его, кажется ему более заслуживающей этого, чем все, лезущие в знать из-за корыстных побуждений. Он не хочет верить, что его банкир дает ему ссуды, потому, что это ему выгодно; поражен, когда художники, которых он пригласил выстроить и украсить дворец, ока-

зываются мелкими жадными эгоистами, полными зависти друг к другу. Молодежь в восторге от короля, придворная камарилья втайне готовится эксплуатировать его, а потому поддакивает его «ребячествам», народ же, привыкший к твердому порядку, начинает роптать против непонятного произвола, каким ему представляется новый режим. Король видит себя, наконец, оставленным всеми, его объявляют душевно больным, именно те, которым он хотел помочь, обращаются против него — и в отчаянии он налагает на себя руку, думая жертвою своей жизни подготовить победу идеи.

Что политический реформатор является любимым героем современных драм, понятно само собой. В двух драмах «Падение апостола Павла» и «Ваншаффе» молодой писатель Рольф Лаукнер (к слову сказать — пасынок Германа Зудермана) вывел два различных типа таких реформаторов. «Апостол Павел» — парикмахер Пауль Шуман, фантазер, начитавшийся книг об Индии и буддизме и бросающий свое ремесло, чтобы проповедывать человечеству новую религию. Но он не чистый идеалист, в нем много и шарлатанства и комедианства; он выдает себя за индуса, обирает истерических дам и, в конце концов, погибает именно потому, что в его учении и деятельности слишком уже грубо перемешаны «божеское и человеческое». Чистым идеалистом является Ваншаффе, герой последней драмы Лаукнера. Его, мечтателя и поэта, тянет к делу, к активному труду на пользу человечества. Он бросает литературу и посвящает себя медицине, но разочаровывается и в ней, когда ему не удается спасти жизнь дорогого ему и нужного людям человека. Тогда он выбирает политическую карьеру, думая любовью исцелить социальные недуги, но то, что он видит теперь, вновь разочаровывает его: он видит пиры капиталистов, ненависть и мстительность пролетариев, ловкие махинации дельцов политиков, трусость теоретиков — и все это приводит его к убеждению, что только революция мо-

жет спасти мир. Когда же разражается настоящая революция, он удивлен, как мало в ней «торжественности», но еще более его смущают кровопролитие, террор и грабеж... Два красноармейца, не узнав в нем «своего», застреливают его. Умирая, он приходит к убеждению, что все время шел ложным путем, что ему не по силам было творить жизнь, что истинное призвание его было — отражать жизнь в художественном творчестве.

Образ Ваншаффе несомненно выхвачен из живой действительности и изображен правдиво; такими же поэтами-мечтателями были вожди мюнхенской революции — Толлер, сидящий теперь в тюрьме, и избитый прикладами солдат Густав Ландауэр...

Две других драмы Лаукнера трактуют чисто психологические темы. «Тетушка Криста» выводит трогательный образ стареющей, некрасивой девушки, охваченной неожиданной страстью к юному племяннику и попадающей в трагическое положение; в драме «Проповедь в Литве» — конфликт между отцом и сыном, борьба старого и нового поколения.

На ту же тему борьбы поколений написаны драмы двух молодых авторов, вызвавшие много толков последней зимой. Иоахим фон-дер-Гольц, удостоенный клейстовской премии, в драме «Отец и сын» переносит конфликт в историческую обстановку: перед нами юный Фридрих II, будущий король прусский, и его отец. Несмотря на исторически-верное изображение эпохи (выведена, например, вся «табачная коллегия» короля Фридриха-Вильгельма), это не «историческое представление», а чисто-психологическая драма, интересующая прежде всего мастерской обрисовкой характеров. Между отцом и сыном много общего и именно это сходство характеров приводит к взаимному непониманию и столкновению; превосходно изображена внутренняя борьба в душе короля, который по своему любит сына и все-таки хочет его казнить, считая его опасным для государства. Прекрасна своей глубокой

внутренней правдой и заключительная сцена примирения отца с сыном, чуждая всякой сентиментальности.

Драма «Отцеубийство» совсем еще юного Арнольда Бронена, поставленная в мае 1922 года в Берлине, во многом напоминает и «Сына» Газенклевера, но Бронен еще смелее и еще заносчивее своего предшественника. Он не довольствуется тем, что противопоставляет сына отцу, — у него сын еще влюблен в родную мать и по этому одному уже ненавидит отца. Пьеса изобилует несуразностями, многое, чем автор хотел поразить и ошеломить зрителя, вызывает только улыбку, так оно ребячески-наивно; но при всем том чувствуется не только темперамент, но и талант, неопределившийся еще, но сильный, и, может быть, он разовьется благоприятнее, чем талант Газенклевера.

IX

Общее настроение германской интеллигенции все еще «Drang nach Osten». Властителем дум более чем когда-либо является Достоевский. Профессор Трельг даже счел нужным предостеречь своих соотечественников от «нового славянофильства», заставляющего немцев забывать, что они все-же принадлежат к западной культуре и всем ей обязаны. Против этого славянофильства восстает и Шпенглер, автор напумевшей «Гибели Запада», заявляя, что русские чужды немцам не менее, чем китайцы времени Конфуция и что все, что пишется немцами о русской душе — чепуха, ибо авторы говорят не о подлинной русской душе, которой они не знают, а о том, поневоле ложном представлении об этой душе, какое сложилось в их умах. Просматривая огромную немецкую литературу о Достоевском, приходится признать, что Шпенглер не совсем не прав; однако, среди массы вздорного, наивного и бестолкового все-же выделяется несколько ценных, серьезных работ — прежде всего прекрасная книга Теофила фон-Бо-

диско «Dostojewskij als religiöse Erscheinung» и этюд Карла Нетцеля «Dostojewskij und wir». Живо и интересно написана также характеристика Достоевского в книге Стефана Цвейга «Drei Meister». Три мастера — Бальзак, Достоевский и Диккенс.

Интерес к России и русской литературе, однако, не ограничивается Достоевским. Никогда в Германии так много не переводили с русского, как в последние пять лет. При этом переводчики не набрасываются, как прежде, исключительно на новейшую литературу, а, наоборот, великие русские писатели прошлого все более приковывают внимание. Их переводят вновь или переиздают старые забытые переводы. Так немцы «открыли» Лескова; почин был сделан в 1918 году пишущим эти строки, переведшим «Соборян»; вслед за ним стали появляться и другие вещи Лескова, некоторые в нескольких переводах сразу; была даже сделана — конечно, неудачная — попытка передать по немецки совершенно непереводимую «Стальную блоху».

Начинают ценить Пушкина. Еще в 1916 году вышел великолепный стихотворный перевод «Онегина» — Теодора Комихау. Все чаще появляются отдельные роскошные издания пушкинских произведений с иллюстрациями. Превосходным переводчиком пушкинских стихов оказался молодой поэт Вольфганг Грегер. В его переводе вышли «Медный всадник» (с иллюстрациями Масютина), «Сказки», «Египетские ночи», «Каменный гость»; для готовящегося в издательстве «Bibliographisches Institut» двухтомного собрания избранных сочинений Пушкина им переведен целый ряд лирических стихотворений. В качестве переводчиков Пушкина выступили еще Иоганнес фон-Гюнтер («Руслан и Людмила» в роскошном издании мюнхенского Orchis Verlag с великолепными акварелями Масютина) и талантливый Рейнгольд фон-Вальтер, переведший для издательства «Скифы» мелкие драмы Пушкина. Тем же Вальтером и, независимо от него, Грегером, пере-

ведены «Двенадцать», Блока, вызвавшие живейший интерес в Германии.

Автор этой статьи в издательстве «Bibliographisches Institut» выпустил том русских драм в своем переводе «Meisterwerke der russischen Bühne». На первом месте стоит «Горе от ума», существовавшее до сих пор только в одном устарелом и одном новом, но очень плохом переводе. В тот же том вошла впервые переведенная на немецкий язык «Снегурочка» Островского и известные уже по другим переводам «Гроза», «Горькая судьбина» и «Дядя Ваня».

«Восток» для нынешних немцев — Россия и Индия. Рядом с Достоевским — Рабиндранат Тагор, хотя увлечение им начинает уже проходить, тогда как Достоевский все еще властвует неограниченно. Все новые издания поддерживает «Indienfahrt» Бонзельса, а «Reisetagebuch eines Philosophen» Кейзерлинга, проповедующего ту же восточную мудрость, оказалась вместе с «Гибелью Запада» Шпенглера самой популярной книгой последних лет, несмотря на свой солидный объем (два увесистых тома) и тяжелое изложение. Очень интересна также книга художника Коген-Портгейма (Cohen Portheim) «Die Seele Asiens», рисующая идеал будущей культуры в виде синтеза запада с востоком.

Из корифеев запада по прежнему на первом плане Гете. Любопытно, какая бы ни явилась новая литературная «школа», — она сейчас же старается причислить Гете к лику своих «святых», доказать, что именно он был предтечей того самого «изма», который стремится водворить новое направление. Исключение составляет только, как мы видели выше, Карл Штернгейм, собирающийся бросить Гете вместе с Эбертом, Шейдеманом и Носке в помойную яму. Нельзя не отметить, что, может быть, под влиянием последних событий, последние труды о Гете уже не носят узко-филологического характера, а пытаются подойти к основным обще-человеческим проблемам личности и

творчества великого поэта. Такова книга о Гете Фридриха Гундольфа. Это — не биография, рассказывающая шаг за шагом жизнь Гете, и не разбор отдельных произведений с указанием на источники их, на литературные влияния и пр. Это — попытка выяснить миросозерцание Гете и вскрыть основы этого миросозерцания в личности поэта. Другая, вышедшая в 1920 году, книга о Гете Эмиля Людвига, стремится дать прежде всего историю развития человека Гете; много нового, интересного, но много и фельдетонной болтовни.

Шекспиру посвящена новая книга Алоиза Брандля, профессора берлинского университета, председателя германского шекспировского общества. Это — второе издание вышедшей лет двадцать тому назад биографии, но радикально переработанное и дополненное, так что смело можно говорить о новой книге. Это — труд серьезного ученого, выступающего «во всеоружии», но обладающего тонким эстетическим чувством и умением излагать свои мысли живо и интересно. Совсем иного типа — лекции о Шекспире убитого Ландауэра, изданные уже после его печальной кончины. Здесь живой человек излагает свое живое отношение к Шекспиру, мощь и величие которого захватывают его, хотя он сознает себя представителем иного века и носителем иной этики. Книга интересна именно тем, что социалист Ландауэр сумел понять и полюбить Шекспира, аристократа-индивидуалиста, не осуждая его за безнравственность подобно Толстому, но и не перетолковывая его взглядов в угоду программе своей партии, чтобы как-нибудь «спасти Шекспира для пролетариата».

Х

Из писателей, умерших за последние три года, кроме названных уже Демеля, Ландауэра и Карла Гауптмана следует упомянуть прежде всего Петра Альтенберга, которого когда-то хорошо знали и в России. Он умер в Вене

8-го января 1919 года — умер, как жил, бесприютным сыном богемы. Памяти его посвящена прелестная книга Эгона Фриделя «Des Peter-Altenberg-Buch». Это — не биография и не характеристика; автор очень близкий к Альтенбергу, рассказывает лишь о своих многочисленных встречах и разговорах с ним, — и книга его блестяще подтверждает факт, давно уже известный друзьям Альтенберга: что лучшими созданиями его были не те вещи, которые он заносил на бумагу и сдавал в печать, а случайные афоризмы, бросавшиеся им мимоходом. Книга Фриделя является необходимым, ценным добавлением к собранию сочинений Альтенберга.

В 1919 году умерли еще: Карл Буссе, тонкий изящный лирик и повеллист, Макс Даутендей, один из самых ярких талантов «молодой Германии» начала 20-го века, экзотик и экзотик; война застигла его во время кругосветного путешествия и ему пришлось, чтобы не попасть в плен к англичанам, поселиться на острове Яве, где он прожил пять лет, снедаемый тоской по родине; там же он и скончался, не дождавшись возврата. Далее — Пауль Линдау, доживший до глубокой старости, блестящий фельетонист, критик, романист и драматург 70-х годов, оставивший очень интересные воспоминания. Юлиус Роденберг, стихи и романы которого давно забыты, но который занимал видное положение в литературном мире, как издатель журнала «Deutsche Rundschau», имевшего в числе своих постоянных сотрудников всех видных писателей 70-х и 80-х годов: Келлера, Мейера, Шторма, Гейзе, Эбнер-Эшенбах и других; Роденберг также оставил воспоминания, живо рисующие старый Берлин, столь мало похожий на нынешний; к числу близких друзей его принадлежал и И. С. Тургенев. 16-го октября 1920 года умер Цезарь Флайшлен, который своими стихотворениями в прозе — нежными картинами природы, приводил в умиление, главным образом, девиц и дам; гораздо ценнее его лирики — его романы, особенно «Юст Зейффрид». В 1921 году умер

Оскар Панница, один из глапатаев натурализма, в последние годы совершенно замолкший, Людвиг Тома, редактор знаменитого сатирического журнала «Simplizissimus», в котором он помещал свои остроумные сатиры в стихах и в прозе под псевдонимом «Schemihl»; но несмотря на весь их блеск и остроумие, — в потомство Тома перейдет не как автор этих сатир и не как автор комедий «Die Lokalbahn» и «Moval», а как автор великолепных реалистических романов из быта баварских крестьян. В 1921 году умер и талантливый драматург Тадеуш Ритнер, поляк, писавший и по-польски и по-немецки, как некогда Пшебышевский, но в последние годы ставший совершенно немцем.

Из ученых, имевших более или менее близкое отношение к искусству и литературе, назовем умерших в 1919 году Вильгельма Крейценаха, автора превосходной много томной истории новой драмы; Людвига Гейгера, профессора истории литературы в Берлинском университете, автора целого ряда работ по немецкой, французской и итальянской литературе, между прочим, истории германизма, переведенной и по-русски; Георга Зиммеля, знаменитого философа, написавшего также превосходную книгу о Гете; эта книга и книга Гундольфа — два самых ценных вклада в «гетевскую литературу» последнего десятилетия. Знаменитый юрист Колер, чрезвычайно разносторонний и в своей специальной области — его интересовала и философия права, и гражданское и уголовное и государственное право — был причастен к литературе: он написал интересное исследование о Шекспире с точки зрения права, в котором в совершенно новом освещении являются типы Гамлета, Брута и Шейлока, он же — автор стихотворного перевода «Божественной Комедии» Данте. Эрнст Геккель прямого отношения к литературе не имел, но его идеи имели сильное влияние на молодое поколение, выступившее в литературе конца старого и начала нового века; поэтому не был и Фридрих Науман, известный либеральный

политик; но он был одарен глубоким эстетическим чувством, о чем свидетельствуют его многочисленные статьи, посвященные прикладному искусству, а его парламентские речи, журнальные статьи и проповеди того времени, когда он был еще пастором и вождем христианско-социальной партии, являются блестящими в стилистическом отношении; это образцы искусства слова.

В 1920 году умер Вильгельм Вундт, Генри Тоде, историк искусства, автор ценных работ о Микель Анджело и Франциске Ассизском, Генрих Морф, профессор романской филологии в берлинском университете, Теодор Шиман, историк и консервативный политик, близкий друг Вильгельма II, автор четырехтомной «Истории России в царствование Николая II» и еженедельных политических обозрений в «Kreuzzeitung», основатель ныне еще существующего «Общества изучения Восточной Европы» и прекратившего в 1914 г. свое существование весьма ценного исторического журнала «Zeitschrift für osteuropäische Geschichte».

В 1921 году скончался Евгений Дюринг, философ и математик, автор известной и у нас книги «Цена жизни», Карл-Людвиг Шлейх, медик, философ и поэт; он не только открыл способ «местной анестезии», получивший огромное значение в хирургии, но был и одним из виднейших членов кружка литературной богемы, группировавшейся в 90-х годах вокруг Стриндберга, Пшебышевского, Демеля, Гартлебена и других; он же автор целого ряда психологических и философских этюдов, стихов, повестей и прелестной автобиографии в «Besonnte Vergangenheit» («Прошлое, озаренное солнцем»). В декабре 1921 года умерли венский философ-публицист и социолог Иосиф Поппер, писавший под псевдонимом Lynkeus, и Герман Пауль, профессор германистики в мюнхенском университете, автор капитального труда «Prinzipien der Sprachgeschichte».

Р о м э н Р о л л а н

МАХАТМА ГАНДИ*)

Перевод с рукописи

28-го июля 1920 г. Ганди объявляет Индии, что первым днем «Не-сотрудничества» назначено 1-е августа; он предписывает накануне, 31-го июля, устроить день Hartal, торжественное приготовление постом и молитвой. Он не боится ярости правительства. Больше того, он опасается ярости народа и принимает предосторожности, чтобы порядок, дисциплина и согласие не нарушались в рядах индусов.

«Полное «Не-сотрудничество» требует полного порядка. Беспорядок происходит от насилия. Необходимо совершенное отсутствие насилия. Малейшее насилие будет задержкой дела и бесполезной тратой многих жизней. Прежде всего соблюдайте порядок!»

Тактика «Не-сотрудничества» была установлена Ганди и его комитетом «N-C»**) — месяца за два до этого. Было предписано:

- 1) Отказ от всех почетных должностей и функций.
- 2) Не-участие в займах правительства.
- 3) Забастовка судей и чиновников; организация частных арбитражных учреждений.

*) Окончание, см. «Беседа», № 1.

**) «Non-Cooperation».

4) Бойкот правительственных учебных заведений, как со стороны учащихся, так и их семей.

5) Бойкот Совета Конституционных Реформ.

6) Не-участие в правительственных доходах и в официальных должностях.

7) Отказ от всех военных и штатских должностных мест.

8) Пропаганда Swadeshi *): т. е. вслед за отрицающей частью программы, часть созидаящая; новый порядок, на котором должна строиться новая Индия. К этому мы вернемся ниже.

Это был лишь первый шаг; и мудрая осторожность, весьма удивительная для европейских революционеров, сквозила в действиях человека, заставившего дрогнуть громадный механизм индусского восстания, и удержавшего его мановением руки. Здесь дело не идет о «Гражданском ослушании». Ганди был с ним знаком. Он изучил его у Торо, которого он цитирует в своих статьях, тщательно отделяя его теорию от теории «Не-сотрудничества». Гражданское ослушание — скорее отказ от повиновения, сопротивление закону. «Это — нарушение, которое может быть проведено с успехом лишь при наличии отборного войска, в то время как «Не-сотрудничество» может и должно быть движением всенародным». — Ганди стремится подготовить индусский народ к Неповиновению постепенно: он сознает, что индусы недостаточно к этому подготовлены и не хочет ослабить возжей, пока не будет уверен, что народ самолично завоевал свою свободу. В этой первой декларации не упоминается даже о невзносе налогов. Ганди выжидает.

*) Дословно: Swa сам; Desh — страна: национальная независимость. Адепты «Не-сотрудничества» понимали ее преимущественно как независимость экономическую. Но ниже мы увидим, какое социальное Евангелие выводит Ганди из этих принципов в своем The Gospel of Swadeshi.

1-го августа 1920 года он подал знак к началу движения знаменитым письмом к вице-королю. Он возвращает ему полученные отличия и награды.

«Не без огорчения, — пишет он, — отсылаю я Вам золотую медаль Kaisar-i-Hind, полученную за мои заслуги в Южной Африке, медаль за войну с зулусами, данную мне за службу в чине офицера в санитарном отряде индусских волонтеров в 1906 году, медаль за войну с бурами за службу в чине помощника старшего интенданта отряда индусских санитаров в 1899—1900 г. г.». «Но, — продолжает он, — вспоминая события в Пенджабе, а также и те, что вызвали движение Калифата, я не могу питать ни любви, ни уважения к правительству, запятнанному такой несправедливостью и безнравственностью... Надо довести его до раскаяния... Я вызываю «Не-сотрудничества», ведущее к отложению от правительства и позволяющее противиться ему без насилия». — Далее Ганди выражает надежду, что вице-король исправит свою несправедливость, выслушав признанных вождей народа.

Пример Ганди тотчас же нашел последователей. Сотни чиновников подали в отставку. Тысячи учащихся вышли из учебных заведений. Суды были покинуты. Школы опустели. Конгресс всей Индии, созданный в начале сентября на специальную сессию в Калькутте, громадным большинством принял предложение Ганди. Ганди и его друг Маулана Шаукат Али об'ехали страну среди бурных проявлений восторга.

Никогда Ганди не являлся более несомненным вождем миллионов людей, чем в этот первый год своей деятельности. Ему приходилось удерживать толпу от насилий, которые были вполне возможны. В особенности ужасала его дикая сила анархии. Он не находит достаточно сильного выражения, чтобы очернить «мобократию», которую считает главной опасностью Индии. Он ненавидит войну, но предпочитает ее неистовству Калибана.

«Если Индия прибегнет к насилию, то это должно быть дисциплинированное насилие войны. Но ни в коем случае не насилие толпы!»*) — Он отрицает даже шумные и радостные, но беспорядочные демонстрации, ибо никогда неизвестно, — не перейдут ли они в безответственные действия. — «Необходимо вызвать порядок из этого хаоса. Необходимо толпе противопоставить народный закон». — И этот мистик с пронизательным взглядом и умом не меньше практического ума наших великих европейцев, организаторов порядка и властителей душ, предлагает точные указания, как умерить проявления народных чувств.

«Наша большая ошибка в том, что мы забросили музыку. Музыка — это ритм и порядок. К несчастью, в Индии она стала достоянием немногих. Она никогда не была достоянием всей нации».

...«Надо петь хором национальные песни. Надо, чтобы великие музыканты присутствовали на всех Конгрессах и обучали народ музыке! Нет ничего легче, как обучить толпу, которая не обладает волевой последовательностью...»

За этим следуют наставления:

«1) При многолюдных манифестациях не принимать неопытных добровольцев; выставлять вперед самых опытных; 2) каждому добровольцу вручать список общих указаний; 3) установить условный свист между добровольцами; 4) предложить толпе безоговорочно повиноваться добровольцам; 5) установить национальные возгласы и точное время для их произнесения; не допускать никаких исключений из общего правила; 6) обязать толпу в пути держать цепь таким образом, чтобы не мешать проезду экипажей; запретить вход в вокзалы; не позволять приводить маленьких детей на эти собрания...» и т. д. Одним

*) 8 сентября 1920. (Даты означают соответствующие статьи в Young India).

словом, Ганди становится управителем этого человеческого хора.

«Самый суровый долг для народа — упорядочить свои демонстрации»*).

Толпа хочет насилия лишь под влиянием порыва; скорее же она сама не знает, чего хочет, она отдается внезапным влечениям, противоречивым желаниям. Но некоторая часть индусов сознательно хочет насилия; она не признает учения Ганди и в особенности его политической деятельности. Ганди получает анонимные письма, в которых его просят не восставать против насилия; эти письма (величайшее оскорбление) — выражают наглую надежду, что его слова лишь притворство, чтобы обмануть врага, и торопят его подать знак к войне. Ганди горячо отвечает. Он ведет страстные споры. В прекрасных статьях он нападает на «принцип оружия»**). Он спорит против того, что индусские священные книги и Коран яко-бы предписывают насилие. Ни в одной религии насилие не является сredo. Иисус — проповедник пассивного сопротивления. Багават-Гита учит не насилию, а исполнению долга, хотя бы ценою жизни***). «Человек не обладает творческой силой; поэтому он не имеет права разрушать...» «Надо любить того, кто причиняет зло: это не значит, что надо потакать злу.» Ганди стал бы ухаживать за больным генералом Дайером. Но если бы его собственный сын вел позорную жизнь, — «любовь моя», пишет он, «потребовала бы от меня лишить его всякой поддержки, даже если бы это могло привести его к смерти». — Никто не имеет права противостоять злу злом. Но каждый обязан противиться

*) 8 и 24 сент., 20 окт. 1920.

**) 11 августа, 25 авг. 1920.

***) Таково, по крайней мере, толкование Ганди. Посмеет ли европеец сказать, что видит в Багават-Гите хотя бы равнодушие по отношению к сделанному или перенесенному насилию?

ему, отмежевываясь от него, чего бы это ни стоило. Если же враг раскаивается, то надо протянуть ему обе руки*).

Укрощая насильников, он в то же время ободряет колеблющихся. Он убеждает тех, кто отступает перед подвигом:

«Ничто не было достигнуто на земле без подвига. Я отказываюсь от слов «пассивное сопротивление», ибо они недостаточны... Генерала Смутса в Южной Африке покорил подвиг».

«Какой величайший симбиоз осуществлен Христом и Буддой? Симбиоз подвига и милосердия. Будда принес в стан врагов борьбу, он заставил преклонить колени высокомерное священство. Христос изгнал торгующих из храма, он бичевал книжников и фарисеев. Вот действительный подвиг!.. И в то же время надо всем этим жило бесконечное милосердие...»**).

Ганди взывает к чувству и уму англичан***). Он называет их «дорогими друзьями», он напоминает им, что в течении тридцати лет был их верным спутником; он просит их справедливо отнестись к вероломству их правительства. «Его предательство подорвало мою веру в него. Но я еще верю в английскую доблесть. Индия противопоставляет вам сейчас лишь моральную доблесть. «Не-сотрудничество» есть принесение самих себя в жертву. Я хочу убедить вас своими страданиями...»

Его борьба, длившаяся от четырех до пяти месяцев, ставила себе целью не только парализовать английское правительство «Не-сотрудничеством», но и организовать новую Индию, способную жить самостоятельно и достичь, материально и духовно, независимого положения. Первой его задачей было упрочить за ней независимость экономи-

*) 27 авг. 1920.

**) 12 мая 1920.

***) «Ко всем англичанам в Индии», 25 окт. 1920.

ческую; т. е. то, что Ганди называл Swadeshi. (Вернее среди многих значений этого слова, — это его самое точное определение).

Естественно, что Индия должна была приучиться к отсутствию некоторых материальных благ, которых она лишалась, и бесропотно согласиться на некоторые неудобства. Это был суровый приказ. Но тут была необходимая гигиена. Здоровье нации, как и нравственность ее, должны были тем самым обрести бесспорные выгоды. Прежде всего надо было снять с Индии «проклятие пьянства», учредить общество трезвости, объявить бойкот европейским винам, убедить винных торговцев отказаться от их патентов*). Индия тотчас же откликнулась на призыв Махатмы. Волна трезвости поднялась в стране; и потребовалось скорейшее вмешательство Ганди, чтобы помешать толпе силой закрыть и разгромить магазины. Ибо «не дозволено силой приводить людей к очищению».

Но если было относительно легко отказаться от такого бедствия, как пьянство, то трудным оказалось упрочить за Индией средства к существованию. Чем она прокормит себя? Во что оденется, отказавшись от европейских товаров? Ответ Ганди чрезвычайно прост; в нем сказывается восточный характер его ума, мечтающего о возвращении к правам древности: он хочет во всех индусских семействах восстановить старинные домашние прялки (charka).

*) 28 апреля 1920 г., 8 июня, 1 сент. 1921 г. В Письме к Париям, которые суть в большинстве торговцы, Ганди закликает их закрыть винные магазины (23 марта 1921 г.). В Письме к Умеренным (8 июня 1921 г.) он просит их, даже если они не согласны с остальной частью его учения, употребить на это всю силу.

Тогда же, когда он борется против пьянства, он восстает против торговли «drugs», курильщиков опиума.

Легко осмеять подобное патриархальное разрешение социального вопроса*). Но необходимо понять индусские условия и точный смысл, придаваемый Ганди слову charka. Он никогда не был того мнения, что прядение достаточное средство к жизни для кого-нибудь, кроме самых немощных; но он говорил, что это вспомогательное производство при земледелии, когда последнее временно прервано. Разрешение этого вопроса таково (оно не отвлеченно, оно действительно и стремительно): 80% индусского населения занимается земледелием и четыре месяца в году лишено работы. Десятая часть населения голодает. Средний класс недоедает. Англия ничего не сделала, чтобы улучшить положение вещей; она только еще более обострила его. Английские торговые компании разорили туземную промышленность, истощили источники и высасывают из Индии шестьдесят миллионов рупий ежегодно. Индия, производящая хлопка столько, сколько необходимо ей самой, вывозит миллионы тюков в Японию и Ланкашир, откуда он возвращается к ней в виде фабрикатов. Ясно, что Индии необходимо научиться устранять разоряющие ее услуги иностранцев и как можно скорее организовать собственные мастерские; необходимо каждому дать возможность существовать и работать. Поэтому ничего нет более скорого и выгодного, чем труд у домашнего очага, старинное производство Индии: прядение и тканье. Нет речи о том, чтобы засадить за эту работу земледельцев, сытых продуктами своей работы, но необходимо привлечь к ней с одной стороны безработных, а с другой — женщин и детей; наконец, — всех индусов в часы досуга. Итак, Ганди предписывает: 1) бойкотировать заграничные тка-

*) Ганди и сам знает, что над ним станут смеяться. «Но, говорит он, разве игла совсем уступила место швейной машине, а рука — пишущей машине? Прядка ничего не утратила от своей полезности. Она и теперь национальная необходимость, единственная возможность для тысячи голодающих.» (21 июля 1920.)

ни; 2) восстановить и распространить простейшее обучение прядению; 3) носить отныне ткани, сделанные только домашним способом. Он целиком, с неслабеющим жаром отдается осуществлению этой мысли. Он хочет, чтобы тканье стало обязанностью всей Индии*), чтобы тканью обучали в школах, чтобы бедные дети оплачивали свое учение работой на прялке, чтобы каждый человек, и мужчина, и женщина, жертвовал этому делу час в сутки. Он тщательно входит в мелочи, дает технические указания насчет хлопка, ниток, различных способов тканья; дает практические советы ткачам, покупателям, отцам семейств, школьникам; показывает на цифрах, как, открыв с небольшим капиталом торговлю Swadeshi (результат индусской работы), можно получать доходы в 10%... и т. д. Он становится лиричен, когда превозносит «музыку прялки»**), самую древнюю музыку Индии, ту, которой наслаждался Кабир, поэт-ткач, и Аурауг-Зеб, великий император, сам себе делавший колпаки... Ему удается разжечь общественное мнение. В Бомбее женщины знатных родов садятся за прялки. Индусы и мусульмане дают обет не носить никаких одежд, кроме сшитых из национальных тканей. Начинается мода на khaddar или khadi, красоту которых признал сам Рабиндранат Тагор. Заказы поступают во множестве; они приходят даже из Белуджистана и Адена.

Этот порыв зашел несколько далеко, когда дело коснулось бойкота заграничных тканей; сам Ганди, обычно сдержанный, казалось, потерял меру. Он приказал их сжечь, как символ рабства; и вот, в Бомбее, в августе 1921 г., как во время Саванароллы, Christo regnante, на площади Сенъории, — среди шумного восторга толпы, запылали костры из роскошных материй. Один из наиболее благородных людей Англии, друг Р. Тагора, С. Ф. Ан-

*) 2 февраля 1921.

**) 21 июля 1920.

дрюс, написал Ганди, которым восторгался, горячее письмо, где сожалел о том, что материи были сожжены, а не розданы нуждающимся, и что тем самым была сделана уступка дурным народным инстинктам. Андриус восстает против подобного национализма, в котором видит род насилия; он не может вынести того, что из разрушения создают религию: разрушать плод работы — преступно. Андриус, сначала принявший реформы Ганди и даже носивший khaddar, теперь колеблется и хочет его снять. Вид этого костра подорвал его веру в Махатму. Но Ганди печатает свой ответ и, тронутый признанием сердца, тоскующего по любви, горячо объявляет, что ни в чем не раскаивается. Ни к одной нации он не питает враждебного чувства и вовсе не требует уничтожения всех заграничных предметов, но лишь тех, вред которых неоспорим. Миллионы индусов разорились из-за английской мануфактуры; многие низошли в ряды париев или наемных солдат, а жены их стали уличными женщинами. Нельзя без греха облекаться в эти преступные ткани. Индия принуждена ненавидеть английских эксплуататоров. Ганди переносит свое озлобление с людей на предметы. Виновны не только англичане, продававшие свои ткани, виновны и индусы, покупавшие их. Их сжигают не от ненависти, но от раскаяния. Это необходимая хирургическая операция. И было бы недостойно раздать эти оскверненные материи бедным, у которых тоже есть своя гордость.

Материально раскрепостить страну от рабского подчинения иностранцам — еще далеко не все. Необходимо освободить дух. Ганди хотел, чтобы Индия сбросила с себя ярмо европейской культуры, и одним из самых плодотворных его шагов была закладка основы истинно-национального образования.

Уже существовало несколько университетов и школ, где сохранились, под английским надзором, кое-какие

искры древне-индусской культуры. Алигар был уже со-рок пять лет индусульманским университетом, центром исламистской культуры в Индии. Школа в Khalsa была центром культуры сикхов. Индусам принадлежал университет в Бенаресе. Но эти немного отсталые, схоластические учебные заведения были подчинены правительству, которое их субсидировало. Ганди решил их уничтожить и устроить вместо них более достойные очаги науки. В ноябре 1920 года он открыл в Ахмедабаде национальный университет. Идеалом этого университета была единая Индия. Два основных столпа его — Dharma для индусов и Ислам для магометан. Он стремился к сохранению индусских наречий и к созданию источника для возрождения национализма. Ганди справедливо замечает*) (и это лишь подтверждает мое мнение о нем), что «систематическое изучение азиатских культур не менее существенно, чем полное образование, которое достигается изучением всей восточной науки, громадных сокровищ санскрита, языков арабского, персидского, пали, инди, урди и магадхи, которыми необходимо овладеть, чтобы найти путь к укреплению нации». — Но нет надобности повторять то, что сказано или сделано в минувшие годы. «Необходимо создать новую культуру: на остатках прежней, но расширенную, благодаря вековому опыту. Она должна стать синтезом различных цивилизаций, которые влияли на Индию и коснулись ее духа. Этот синтез не будет схож с американской культурой, где одна преобладающая подавляет все прочие. Каждая культура получит законное место. Цель всего — гармония, а не единство, добытое силой. Ученики должны будут изучить все индусские религии. Индусы сроднятся с Кораном, а мусульмане с Шастрами. Национальный университет исключает лишь принцип исключительности. Он не признает существования «отверженных». Индусский язык станет обязатель-

*) 15 ноября 1920.

ным, ибо это истинное национальное наречие, смесь санскрита, инди и урда персидского*).).

Интеллигенция получит профессиональное образование, остальные же — гуманитарное. Таким образом сгладится кастовое неравенство. Независимый дух будет поддерживаться не только образованием, но и воспитанием, которое Ганди называет «воспитанием склонностей» («vocationelle»**). В противовес европейскому воспитанию, развивающему лишь интеллект и игнорирующему ручной труд, Ганди хочет, чтобы последний был введен в школы с самых младших классов. Полезно, чтобы такой работой ребенок сам платил за свое обучение, тем самым привыкая с малых лет зарабатывать на жизнь и независимость. Что же касается до воспитания духа, которое совершенно обходит Европа, то его необходимо создать. Но прежде, чем создавать учеников, необходимо создать учителей.

У нас есть предписания Ганди, данные им своему любимому детищу, Satyagrah Ashram***) в Ахмедабаде. Они касаются гораздо более учителей, нежели учеников, и связывают первых монашескими обетами. Но вместо того, чтобы, как в других монастырях, с течением времени превратиться в мертвые правила, они горят духом жертвы и чистой любви, вдохновлявшей святых. Наставники подчинены следующим правилам:

*) Английский язык не исключен (как и ни один европейский язык). — Его изучают в высших классах, в конце школьного обучения. Наречия же, наоборот, преподаются в течении всего университетского курса. Ганди мечтает о более возвышенном человеческом существовании, при котором все эти различия соединятся не как деления, но как «многие грани одного драгоценного камня» (июнь 1920).

**) Не должно переводить «профессиональное воспитание», ибо речь идет именно об освобождении духа от власти какой бы то ни было профессии.

***) Ashram — монастырь.

1) Обет Правдивости. — Не достаточно не лгать. «Ни одна ложь не должна быть употреблена, даже если она ведет к благу родины». Истина может требовать сопротивления родителям и старшим.

2) Обет «Ahimsa» (Не-убиения). — Не достаточно не отнимать жизни у другого существа. Должно не поднимать руки даже на тех, кого считаешь неправыми. Должно не гневаться на них: должно любить их. Противиться тирании, но не причинять зла тирану. Побеждать его любовью. Но не повиноваться ему даже под угрозой смерти.

3) Обет Целомудрия, без которого почти невозможно выполнение двух предыдущих. — Не достаточно избегать похоти. Должно подвергать животные инстинкты проверке мыслью. Если человек женат, должно к жене относиться как к другу жизни, но сохранять с ней совершенно чистые отношения.

4) Ограничение в пище. — Должно упорядочить и очистить свою пищу. Решительно отказаться от продуктов не необходимых.

5) Обет Честности. — Дело касается не только имущества других людей. «Воровством почитается употребление предметов, без которых мы легко можем обойтись». Природа снабжает нас изо дня в день всем тем, что необходимо для наших ежедневных нужд.

6) Обет Отречения от собственности. — Не достаточно не иметь собственности. Должно хранить лишь то, что действительно необходимо для телесных потребностей. Отказываться от избытка. Упрощать жизнь.

К этим главным обетам присоединены два дополнительных замечания:

1) Swadeshi. — Не употреблять предметов, носящих в себе признаки обмана. Это предписание влечет за собой запрещение употреблять заграничные предметы обихода,

ибо они — продукт нищеты и эксплуатации рабочего населения Европы. Поэтому, европейские товары отныне «табу» для ученика Ahimsa. Из этого проистекает потребность в простой кустарной одежде местного производства.

2) Бесстрашие. — Ибо тот, кто имеет страх, не может следовать предыдущим предписаниям. Должно перестать страшиться королей, народов, семьи, людей, диких зверей и смерти. Бесстрашный человек защищается «силой истины» или «силой духа».

Надев эти железные доспехи на человеческий характер, Ганди поспешно переходит к другим предписаниям воспитательного значения, из которых самые поразительные — два: наставники обязаны подавать пример работы (предпочтительно физической) и обучать главнейшим индусским наречиям.

Что же касается детей, то, поступив в Ashram (куда они могут быть помещены с чегырех лет *), — они также связаны до самого дня окончания учения (которое продолжается приблизительно лет десять). — Они отделены от своих семей. Родители отказываются от всякого контроля. Дети их не навещают. Одеты они просто, питаются скромно, строго-вегетариански; не имеют ни одного дня каникул, в обычном смысле этого слова, — но полтора дня в неделю предоставлены их личной работе, а три месяца в году посвящаются пешим прогулкам по Индии. Инди и одно из дравидских наречий обязательны для всех. Кроме того, ученики должны изучить английский язык, как второстепенный, и чтение на пяти индусских языках (Урди, Бенгали, Тамиль, Телугу, Деванагири). На родном наречии их обучают истории, географии, математике, экономическим наукам и санскриту. Параллельно они проходят земледелие и ручное ткачество. Естественно, что все образование облечено в религиозную

*) Но поступить туда учеником можно в любом возрасте.

форму. Когда образование закончено, молодым людям предоставляется выбор: или дать обеты по примеру их наставников, или покинуть школу. Обучение бесплатно и рассчитано на пожертвования.

Я довольно долго распространялся по поводу образовательной программы, так как она указывает на высокую духовность гандистского движения и так как сам Ганди — главный двигатель этих реформ. Чтобы создать новую Индию, необходимо создать новых людей, людей уверенных и смелых, истинных индусов. А чтобы создать их, нужно организовать священный легион апостолов, которые были бы, как и апостолы Христа, солью земли. Ганди — не фабрикант законов, как наши европейские революционеры. Он — творец нового человечества.



Английское правительство, (как и всякое другое в подобном случае), конечно, не поняло происходящего. Первым жестом его была презрительная насмешка. Вице-король лорд Чельмсфорд в августе 1920 г. сказал, что «из всех нелепостей эта самая нелепая!» Однако, вскоре пришлось спуститься с высот столь удобного презрения. Уже взволнованное, но еще неуверенное ни в чем правительство опубликовало 6 ноября 1920 г. официальное сообщение, довольно покровительственное, хоть и угрожающее, в котором говорилось, что оно никого не хочет преследовать судом, ибо зачинщики движения проповедают непотворствование, но что отдан приказ против тех, кто перейдет положенные пределы и произведет насилие или окажет вооруженное сопротивление.

Границы скоро были перейдены самим правительством. Движение приняло угрожающие размеры, и в декабре 1920 года произошло событие исключительной важности. Непотворствование «Не-сотрудничество» было до сих пор лишь тактическим опытом с оттенком неуверен-

ности, и правительство лестило себя надеждой, что сессия обще-индийского Собрания в конце года его отменит. Но всеиндийский Национальный Конгресс, собравшись в Нагпуре, наоборот, включил его в конституцию, как закон первой важности.

Статья I. — «Цель Национального Конгресса — достичь Swaraj (Гом-руль) индийского народа всеми законными и мирными путями».

При голосовании Конгресс утвердил «Не-сотрудничество», принятое специальной сессией в сентябре 1920 года, и расширил его, подчеркнув принцип непотворствования, указав на необходимость, для успеха дела, полного единогласия между различными слоями народа, — иначе говоря, провозгласив индо-мусульманское объединение и даже более того, — сближение привилегированных и отверженных классов. Кроме того он внес в Конституцию основные изменения, установившие раз навсегда представительное правление во всех частях Индии*). Конгресс не скрывал, что начатое ныне «Не-со-

*) В Национальном Конгрессе в Нагпуре, принимало участие 4,726 делегатов, из коих было 469 мусульман, 65 сикхов, 5 парсов, 2 отверженных, 4,079 индусов и 106 женщин.

Новая конституция установила избрание одного делегата от 50,000 жителей, что составит всего 6,173 делегата. Всеиндийский Национальный Конгресс собирается раз в год на сессию (около Рождества). Комитету Всеиндийского Конгресса, насчитывающему приблизительно около 350 человек, поручается исполнение постановлений Конгресса и проведение в жизнь его резолюций; в промежутках времени между сессиями Конгресса он обладает теми же полномочиями, что и Конгресс. Исполнительный Комитет из 15 членов, по отношению к Комитету Конгресса играет роль министерства по отношению к парламенту; он может быть смещен Комитетом Конгресса.

Нагпурский Конгресс составил план иерархии провинциальных Комитетов Конгресса, включающих в себе 21 провинцию и 12 языков, и подчиненных им местных комитетов Конгресса, для всех сел и волостей, — с армией национальных «работников» (Национальная

трудничество», — лишь первый шаг борьбы. Он объявлял, что окончательный отказ от содействия правительству и от уплаты налогов только тогда будет иметь значение, когда наступит минута, указуемая свыше. Пока же, подготавливая к ней страну, Конгресс подтвердил бойкот, поощрил индийское тканье, обратился к студенчеству, семьям, чиновничеству, приглашая их осуществлять «Не-сотрудничество». Отказывающимся повиноваться распоряжениям Конгресса грозило исключение из общественной жизни.

Это было утверждение государства в государстве: истинного государства Индии против британского правительства. Последнее не могло уже оставаться пассивным. Надо было или уступить, или бороться. При небольшом мирном усилии было еще возможно соглашение. Конгресс объявил, что он достигнет своей цели «рука об руку с Англией, если она согласна; а нет — так и без нее». Как всегда бывает в европейской политике в отношении к другим нациям, насилие победило. Нужны были лишь поводы, а в них недостатка не было.

Несмотря на принцип непротивления, утвержденный Ганди и Конгрессом, произошли довольно крупные беспорядки в разных концах Индии, не имевшие прямого касательства к движению «Не-сотрудничества». В соединенных провинциях (Аллахабад) начались аграрные беспорядки, возмущения арендаторов против собственников, прекращенные полицией не без кровопролитий. Затем, движение Акали в Сикхе, сперва чисто религиозное, пере-

Индийская повинность), содержимых Swaraj всей Индии, учрежденным в память Тилака.

Все взрослые мужчины и женщины, имеющие определенный ценз, являются избирателями, с неперенным условием подписания Credo Конституции. Возраст совершеннолетия — 21 год. В условия входит принятие статьи I-й Конституции, а также постановлений и правил Конгресса.

шло на платформу «Не-сотрудничества», и привело в феврале 1921 года к убийству двухсот человек полицией. Ни Ганди, ни его учеников нельзя было считать ответственными в этой драме. Но повод был дан: в начале марта 1921 г. начались репрессии, которые с возрастающей свирепостью продолжались до конца года. Предлогом к ним послужили трезвеннические манифестации. Не в первый раз алкоголизм и европейская цивилизация шли рука об руку. Организация «Не-сотрудничества» была запрещена. Был объявлен закон против революционных митингов. В различных провинциях сельской полиции была дана полная власть душить движение, объявленное революционным и анархическим. Тысячи Индусов были арестованы; видным личностям не было оказано никакого уважения. Естественно, что такие действия повлекли за собой волнения, а в некоторых местах даже убийства, пожары, а также стычки между толпой и полицией. Комитет Всеиндийского Конгресса, собравшись в Бенгаде в конце марта, поставил на очередь вопрос об объявлении гражданского ослушания. С редкой мудростью, он нашел, что народ еще не достаточно зрел и дисциплинирован, чтобы употребить это оружие, и решил ждать, приступив, так сказать, к гражданской и экономической мобилизации.

Ганди вновь с жаром взялся за объединение Индии, — за объединение религий, народностей, партий и каст. Он обратился к парсам*), богачам, крупным коммерсантам, фабрикантам, ко всем, зараженным, по его словам, духом Рокфеллера. Индо-мусульманскому объединению все время препятствовали старинные предрассудки, страх и взаимное недоверие. Он всецело отдался этому делу**), не стремясь к слиянию двух народов, что по существу было невозможно, да и для него самого нежелатель-

*) 23 марта 1921 г.

**) 6 окт. 1920, 11 мая, 18 мая, 28 июля, 20 окт. 1921.

но, — но ища прочного союза, основанного на взаимной дружбе *).

Его главной целью было вернуть в лоно индийской общественности отверженную касту. Его страстная защита прав париев, его крик возмущения и боли против этого чудовищного социального неравенства, сами по себе достаточны для того, чтобы обессмертить его имя. Страдание, которое причиняло ему, как он говорит, «самое позорное пятно на индуизме» началось еще в детстве **). Он рассказывает, что, когда был ребенком, к ним в дом приходил парий для грубой работы; ребенку запрещалось его касаться, не совершая затем омовения; Ганди не соглашался с этим и спорил с родителями. В школе он часто прикасался к отверженным. Мать советовала ему, чтобы освободиться от такого пятна, тотчас прикасаться к мусульманину. Но двенадцати лет он уже принял твердое решение. Он поклялся смыть этот грех с совести Индии. Он мечтал прийти на помощь своим униженным братьям. Никогда он не кажется таким свободомыслящим, как когда отстаивает их дела. На этом основании можно сказать, что он готов пожертвовать самой религией, если бы ему доказали, что отверженность — одно из оснований ее. И в его глазах одна эта несправедливость оправдывает все то, от чего страдает Индия...

*) Ставя в пример свою близкую дружбу с мусульманином Маулана Махомед Али, он свидетельствует, что они оба остаются верны своей религии. Ганди не отдал бы свою дочь замуж за одного из сыновей Али; он не разделил бы с ним трапезы; и точно также поступил бы его друг. Это не мешает им любить друг друга и быть уверенным друг в друге. Однако, Ганди не думает, что следует карать смешанные браки между индусами и мусульманами, и общие их трапезы. Но раньше, как через столетие, немислимо дойти до такого слияния. Практическая политика не должна думать о подобной реформе. Ганди не ставит ей препятствий, однако, она ему кажется преждевременной. Этим лишний раз доказывается его чувство действительности (20 окт. 1921 г.).

**) В публичной речи 25 апреля 1921.

«Если Индусы стали париями Королевства, это лишь доказательство вечной справедливости. Пусть индусы сперва омоют свои окровавленные руки!.. Принцип отвержения унизил Индию. В Южной Африке, в Восточной, в Канаде индусы в свою очередь были париями. Swaraj (Гом-Руль) невозможен, пока существуют парии. Индия виновна. Ничего более черного не сделала даже Англия. Первый долг человека: помогать слабому, не унижать человеческого достоинства. Мы не станем лучше скотов, пока не смоем с себя этого греха*). Swaraj должен быть царством справедливости на земле...»

Ганди желал, чтобы национальное законодательное собрание как можно скорей улучшило судьбу его братьев-париев, чтобы им предоставили школы и колодцы (ибо право пользоваться общественными колодцами было у них отнято). Но что было делать до тех пор? Нетерпение, не позволявшее ему ждать сложа руки пока привилегированные классы исправят свою несправедливость, заставило его, так сказать, перейти самому в стан париев: он становится во главе их и старается их объединить. Он вместе с ними обсуждает различные способы действия; что могут они сделать? Прибегнуть к помощи правительства Индии? Но это значило бы перейти из одного рабства в другое... Отказаться от индуизма — (необходимо отметить великодушную смелость великого индусского гражданина!) — и перейти в христианство или могометанство? Ганди был бы готов посоветывать им это, если бы знал, что индуизм нераздельно связан с отвержением. Но он уверен, что отвержение — лишь вредный нарост, и что необходимо его вырвать с корнем. Поэтому париям необходимо организовать самозащиту. Способом защиты стало бы для них «Не-сотрудничество» с индусами, отказ от всех сношений с ними. (Удивительно смелый совет общественного мятежа в устах этого патри-

*) 27 окт. 1920, 27 апр. 1921.

ота!). Но, продолжает Ганди, парии не способны ни к какой организации; у них нет вождя. Поэтому, пусть они присоединяются — (это единственное, что им остается) — к общему движению индусского «Не-сотрудничества», первым условием которого является единение всех сословий! Истинное «Не-сотрудничество» есть акт религиозного очищения. Никто из тех, кто презирает париев, не может в нем участвовать; этим самым он грешит. Таким образом Ганди удается согласовать религию, родину и человечество*).

Торжественное освящение первых шагов объединения было произведено Конференцией «угнетенных» сословий (Suppressed Classes Conference), на которой 13 и 14 апреля 1921 г. Ганди председательствовал в Ахмедабаде. Там он произнес одну из самых прекрасных своих речей**). Он не удовлетворяется требованием уничтожения общественного неравенства; он ждет от париев великих деяний в общественной жизни восстановленной Индии; он верит в них, он вселяет и в них горячую веру, вдохновляющую его. Он говорит, что заметил в них огромные скрытые возможности. Он рассчитывает, что через пять месяцев отверженные достойно завоюют место, принадлежащее им в великой индусской семье.

Ганди был счастлив видеть Индию взволнованной брошенным ей кличем, и париев, освобожденных во многих областях страны***). Накануне своего ареста он еще

*) 27 окт. 1920 *

**) 27 окт. 1920.

***) С конца апреля 1921 г. отвержение ослабело. Во многих селах парии стали жить среди остальных индусов, пользуясь равноправием (27 апр. 1921). С другой стороны, в иных областях, напр. в Мадрасе, положение их оставалось отчаянным (29 сент. 1921). С этих пор разрешение этого вопроса поставлено Национальным Индусским Собранием в первую очередь. Уже Нагпурский Конгресс, в декабре 1920 высказал желание о прекращении «греха отвержения».

был занят этим вопросом и радовался его успехам. Многие брахманы посвятили себя ему. Привилегированные классы давали трогательные примеры раскаяния и братской любви. Ганди приводит случай, когда молодой семнадцатилетний брахман сделался метельщиком, чтобы жить вместе с париями*).

С наименьшим благородством принялся Ганди и за другое великое дело, — дело освобождения женщин.

Половой вопрос особенно остро стоит в Индии, богатой чувственностью, подавляющей и плохо сдерживаемой. Детские браки изнуряют и телесные, и духовные силы нации. Физические излишества подавляют мысль, и достоинство женщины ими принижено. Ганди публикует жалобы одной индусской женщины на унижительное положение, в которое женщина ставится индусскими националистами**). Он защищает ее. Он говорит, что эта рана Индии не менее опасна, чем отвержение. «Но», прибавляет он, «весь мир страдает от того же. Вопрос этот имеет мировое значение. Как и в вопросе о париях, он требует развития не столько в унижающих, сколько в униженных.» Ганди обращается к женщинам; они должны внушить к себе уважение, не смотреть на себя, как на предмет вождения мужчин. Пусть они участвуют в политической жизни, пусть они переносят ее риск и опасность! Пусть не только откажутся от роскоши, выбрасывая и сжигая заграничные ткани, но пусть разделят с мужчиной все его заботы! Несколько знатных женщин уже было арестовано в Калькутте. Это хорошо. Пусть они не требуют более мягкого суда, но пусть вместе с мужчинами терпят строгости и лишения! На этом поприще женщина всегда может превзойти мужчину. Пусть

*) 27 апреля 1921.

**) 21 июля 1921. Другие жалобы индусских женщин — 6 окт. 1920.

они ничего не боятся! Даже самая слабая может уберечь свою честь. Достаточно уметь умирать *).

Он не забыл также «наших падших сестер» **). Он рассказывает о беседах, которые вел в собраниях, где их было несколько сотен, в провинции Андра и в Баризале. С каким простым благородством разговаривают они с ним, открываются ему, спрашивают у него совета! Он ищет для них достойного ремесла; он предлагает им прядение, они обещают тотчас же взяться за прялку, если им в этом помогут. И обращаясь к мужчинам Индии, Ганди призывает их уважать женщин:

«Привычке играть с грехом нет места в нашей Революции. Swaraj говорит, что всех жителей Индии мы считаем нашими братьями и сестрами... Уважение ко всем!.. Женский пол не слабый пол; из двух полов он наиболее благороден своим умением приносить жертвы, молча страдать, смиряться, а также своею верой и разумом. Инстинкт женщины часто превосходит высшее знание мужчины, несмотря на его горделивую уверенность...»

В женщинах Индии, — начиная со своей жены, — он нашел умных помощников и лучших последователей своих.

★

1921 год был апогеем славы Ганди. Он обладает теперь огромной духовной властью, и вовсе не ища ее — получает в руки почти неограниченную власть политическую. Народ считает его святым; с него пишут портреты Шри Кришна***). В декабре 1921 года всеиндийский Национальный Конгресс облакает его полным авторитетом, пе-

*) 21 июля, 11 авг., 17 декабря 1921.

**) Так называется одна из его статей: «Our fallen sisters» (17 сент. 1921).

***) Ганди протестовал против этого в Young India (июнь 1921).

редает ему свои полномочия, с правом выбрать преемника. Он бесспорный хозяин индусского народа. От него зависит развитие политическую революцию или даже, по желанию, объявить «религиозную реформу».

Он не сделал этого. Он этого не хотел. Что это было? Духовное величие? Или духовная робость? Может быть, и то, и другое вместе. Трудно человеку (да еще чужой культуры) проникнуть в совесть другого, в особенности, когда она столь сложна и тонка, как совесть Ганди. В вихре событий, охватившем Индию в этот мятежный год, трудно определить, насколько тверда была рука рулевого и всегда ли управляла она без дрожи и колебаний громадным кораблем. Но я постараюсь передать все то, что смог разобрать в этой живой загадке, со всем тем религиозным уважением, которое я испытываю по отношению к этому великому человеку, и с искренностью, которой я обязан его искренности.

Хотя влияние Ганди было огромно, — опасность проявлять это влияние была не меньше. По мере того, как общественное движение распространялось, и порыв его поднимал десятки миллионов людей, становилось все труднее управлять этим движением и самому сохранять равновесие на этом бурном море. Сверхчеловеческая задача заключается в том, чтобы согласовать духовную умеренность с широкими требованиями возбужденной массы. Верующий и смиренный рулевой молится Божеству и верит в Него. Но голос, который он слышит, доносится к нему вместе с голосом бури. Донесется ли он и до других?..

Меньше всего Ганди рискует возгордиться. Никакое поклонение не может вскружить ему голову. Он скорее обижается на поклонение, искренне умоляя себя. Быть может, единственный случай в истории пророков и великих мистиков: у него не бывает ни видений, ни откровений, и он не стремится ни сам в них поверить, ни заста-

вить поверить других. Ум его не знает опьянения, сердце — тщеславия. Он остается человеком, равным другим людям... Нет, пусть не называют его святым! Он не хочет этого, и тем самым он уже свят...

«Слово святой должно быть изъято из современной жизни... Я молюсь, как каждый добрый индус, я думаю, что мы все можем стать посланниками Божиими; но у меня никогда не было особых откровений свыше. Я твердо верю, что Бог открывается всем человеческим существам, но мы закрываем уши на этот слабый внутренний голос... Я считаю себя смиренным тружеником, смиренным рабом Индии и человечества (a humble servant of India and humanity)... У меня нет желания основать секту. Я, в самом деле, слишком честолюбив. Я не предлагаю новых истин. Я пробую осуществлять Истину и следовать ей такой, какой ее понимаю. Я бросаю новый свет на многие старые истины...» *).

По отношению к себе он всегда скромнен, полон сомнений, лично неспособен занимать особое положение ни как индийский патриот, ни как проповедник «Не-сотрудничества». Он ни за кем не признает «права очищать людей насилием» **). Он не разрешает тиранин, даже ради благой цели... «Ни в коем случае не следует заменять рабства государственного, рабством «Не-сотрудничества»... ***). Он отказывается противопоставить свою партию другим партиям и его патриотизм не удерживается в границах Индии... «Для меня любовь к родине соединена с любовью к человечеству. Я патриот оттого, что я человек и человек. Я не исключение. Желая услужить Индии, я не причиню зла ни Англии, ни Германии. Империализму нет места в моей жизни... Патриот уже не патриот, если он равнодушен к человечеству...» ****).

*) 12 мая 1920, 25 мая, 13 июля, 25 авг. 1921.

**) 12 февр. 1921.

***) 8 декабр. 1920.

****) 16 марта 1921.

Но все ли его ученики были столь умеренны? Во что превращается его учение в устах некоторых из них? И, при их посредничестве, каково оно становится в толпе?

Когда Рабиндранат Тагор, после многих лет путешествия по Европе, в августе 1921 г. вернулся в Индию, он был поражен переменой, происшедшей в умах. Беспокойство его проявилось еще раньше, в ряде писем, посланных индусским друзьям из Европы, и частью напечатанных в *Modern Review* *). Необходимо остановиться на разногласиях этих двух людей, относящихся друг к другу с уважением и восторженностью, но разделенных роковым образом, как бываюи разделены мудрец и апостол, Платон и Павел.

С одной стороны — дух веры и милосердия, стремящийся стать движущей силой для нового человечества. С другой — дух разума, свободный, огромный и высокий, принимающий совокупность всех существований.

Тагор всегда признавал святость Ганди; он мне говорил о нем с почтением: когда я по поводу Махатмы упомянул имя Толстого, Тагор указал, насколько Ганди ему ближе и кажется озареннее — (теперь, когда я ближе знаю Ганди, я сужу точно также) — ибо в Ганди все — природно: простота, скромность, чистота; борьба его облечена в высокие одежды. У Толстого же всюду мятеж; гордость идет против гордости, гнев против гнева, страсть против страсти; все у него — сопротивление, даже — само непротивление. 10 апреля 1921 г. Тагор писал из Лондона: «Мы благодарны Ганди за то, что он предоставил

*) Letters from Abroad. Три письма от 2, 5 и 13 марта 1921 г. были помещены в *Modern Review* в мае 1921 г. 3-е Истины, написанный по возвращении Тагора в Индию, был помещен в *Modern Review* 1 окт 1921 г.

Кроме этого письменного спора, известно, что Тагор по возвращении имел свидание с Ганди. Никто из них об этом свидании не рассказывал. Оба как бы условились сохранить его в тайне.

Индии случай доказать, что вера ее в божественный разум человека еще жива...» И несмотря на то, что покидая Францию он только с оговорками принимал гандистское движение, он все же был расположен ему помочь. Даже «Зов Истины», блестящий октябрьский манифест 1921 г., который я приведу ниже, освящая их разрыв, начинается самым великолепным восхвалением Ганди, какое когда либо было написано.

Ганди со своей стороны выказывает Тагору горячее уважение и даже при всех разногласиях старается от него не отдаляться. Чувствуется, что ему не легко начинать полемику; и когда близкие друзья, как всегда, стараются разжечь спор, передавая их частные разговоры, Ганди просит их молчать, вспоминая все то, чем он обязан Тагору*).

Но судьбой было предназначено, чтобы различие их мыслей усугубилось. С лета 1920 г. Тагор стал сожалеть о том, что бывшие через край любовь и вера Ганди, после смерти Тилака обречены на служение политике. Конечно, не по своему желанию Ганди решился на это; тут была необходимость: когда Тилак умер, Индия осталась без политического вождя, и Тилака надо было заместить.

«Если я участвую в политике, — говорит Ганди в минуту своего решения, — то потому только, что ныне политика обвила нас, как змея; от нее освободиться нельзя, что бы мы ни делали. Итак, я хочу бороться с этой змеей... Я попытаюсь религию ввести в политику...»**).

*) Так сделал он в одной из последних статей, названной «Слишком святое, чтобы быть обнародованным». (9 февр. 1922). Тагор и Ганди давно знали друг друга. Ганди не раз гостил в Сантаникетане у Тагора. Он говорил, что получил разрешение смотреть на этот дом, как на убежище, а во время его пребывания в Англии у Тагора воспитывались его дети.

**) 12 мая 1920.

Но Тагор скорбел об этой необходимости. 7 сент. 1920 г. он писал:

«Нам необходимо обладать всем тем моральным напряжением, которое проявляется в жизни Махатмы Ганди, и которое отличает его от остального мира... То, что столь драгоценное сокровище брошено в утлое судно политики, в бесконечные волны возмущений и взаимных упреков, — великое несчастье для нашей страны, назначение которой в том, чтобы возвращать своим душевным пламенем жизнь мертвецам... Расточение наших духовных ценностей в авантюрах, которые, с точки зрения истинной нравственности, дурны — возмутительно. Преступно претворять моральную силу — в слепую...»). Эти строки были ему продиктованы возобновившейся кампанией «Не-сотрудничества» и агитацией, начавшейся в Индии по поводу Калифата и преступлений, совершенных в Пенджабе. Он опасался последствий, какие все это вызовет в населении, подверженном порывам истерического неистовства. Он хотел отвращения народа от мысли о мести или невозможной революции, чтобы непоправимое было забыто, чтобы заботились только о возвышении души Великой Родины. Насколько в учении и деятельности Ганди он восхищался светом духа самоотречения (он говорит об этом в письме от 2 марта 1921 г., которое я приведу ниже), — настолько ему чужд был элемент отрицания, который содержала в себе новая вера, — «Не-сотрудничество». Ему было противно все, что говорило «нет!» И это было причиной противопоставления им положительного идеала брахманизма (очищения радостей жизни), — отказу от него, который требовал отрицающий идеал Буддизма. На это Ганди ответил**), что отказ не

*) И позже: «Честь и слава Махатме! Но наши политики не могут отделаться от мысли воспользоваться Махатмой для тайных действий в их хитрой игре».

**) 1 июня 1921.

менее важен, чем приятие. Усилия человечества направлены в обе стороны. Заключительное слово Упанишад есть отрицание. Определение Брахманизма, данное авторами Упанишад, есть *Neti*. Индия слишком потяряла способность говорить «нет!»; Ганди ей вернул эту способность. «Прежде, чем сеять, надо корчевать... Вырывать зло с корнем...»

Но, конечно, Тагор ни от чего отказаться не захотел. Его поэтическая созерцательность мирится со всем существующим и наслаждается гармонией. Он выражает это на гениально красивых, но совершенно оторванных от действительности, страницах. Это пляска Натарайи, играющей с иллюзиями:

«...Я изю всей силы стараюсь согласовать свой образ мышления с великим чувством волнения, охватившим всю мою страну. Но отчего в существе моем ощущаю я дух сопротивления, несмотря на горячее желание победить его? Я не нахожу на это точного ответа; но во мраке моих сомнений я вижу чью-то улыбку и слышу голос, говорящий: «Твое место — с детьми, на берегу вселенной; там — твое спокойствие, и там Я буду с тобой». И вот почему я вновь принялся за игру в новые ритмы. Это все пустяки, довольные тем, что их ввели в бег времени, пустяки, танцующие в лучах солнца, смеющиеся и исчезающие. Но в то время, как я играю, вся природа веселится со мной: ибо разве листья и цветы — не суть ритмы, никогда нескончаемые? Разве мой Бог не вечный расточитель времени? Звезды и планеты бросает Он в ураган изменений; в потоп Видимого мира Он бросает бумажные кораблики Веков, наполненные Его причудами. Когда я мучаю Его и умоляю разрешить мне стать Его маленьким учеником и принять несколько безделок, мною сотворенных, как груз Его игрушечного корабля,—Он улыбается, а я бреду за Ним, ловя край Его одежды. Но где я? Среди толпы, толкаемый сзади, стиснутый со всех сторон? Что

за шум вокруг меня? Если это пение, моя цитра сможет уловить его мелодию, и я примкну к хору, ибо я сам певец. Но если это крик, то голос мой заглушен, и я сбит с толку. Все эти дни я пытался, напрягая слух, различить мелодию; но принцип «Не-сотрудничества», с его оглушительной звонкостью, с его угрозами, с криками отрицания — ничего не поет мне. И я сказал себе: «Если ты не можешь идти в ногу с соотечественниками, когда для них наступил великий исторический перелом, то остерегись говорить, что они неправы, а прав ты; откажись от должности солдата, вернись в свой угол поэта, и приготовься принять осмеяние немилостивой толпы!...»^{*)}.

Так мог бы говорить Гете, вакхический индусский Гете. И кажется, что отныне все сказано: Поэт уходит от Действия, которое унижает его; он плетет вокруг себя паутину творческой восторженности. Но Тагор на этом не останавливается. Когда он писал: «Рок его избрал, чтобы он правил своим кораблем именно против течения!» — он в эту минуту своей жизни был не только поэтом: он был духовным представителем Азии в Европе; и он шел к Европе, просить у нея содействия для создания всемирного университета, который хотел основать в Сантини-кетане.

«Какая прорния судьбы, что я проповедую по сю сторону моря соединение культур Востока и Запада именно тогда, когда с другой стороны проповедуется «Не-сотрудничество»...^{**)}. «Не-сотрудничество» непосредственно уязвляло и его деятельность, и его веру в разум: «Я верю в истинный союз Востока и Запада...»^{***)}. Оно уязвляло его широкую образованность, вскормленную всеми культурами мира:

«Вся слава человечества — моя слава... «Бесконечная Личность Человека» (как говорится в

^{*)} 5 марта 1921.

^{**)} там-же.

^{***)} там-же.

Упанишадах) может быть осуществлена лишь в великой гармонии всех народов... Я молюсь о том, чтобы Индия была представительницей соединения всех наций мира... Для нее Единство есть Истина, а разделение — Майя. Единство — это то, что объединяет все и поэтому не может идти дорогой отрицания... Действенное усилие различить нас с Западом есть попытка духовного самоубийства... Современность принадлежит Западу. Это стало возможным лишь потому, что Западу было дано несколько великих человеческих назначений. — Мы, Восток, мы должны у него просветиться... Конечно, дурно, что мы давно уже оторваны от своей собственной культуры, и что поэтому Западная культура стоит у нас не на своем месте... Но говорить, что не следует поддерживать с ней отношения, значит принимать худший вид провинциализма, который происходит от духовного убожества... Задача современности — всемирность. Ни один народ не может ступить шага, отмежевываясь от другого. Или спастись всем вместе, или всем вместе погибнуть...»^{*)}.

Как Гете в 1813 году отказывался ненавидеть французскую цивилизацию, так Тагор не может допустить разрыва с цивилизацией Запада. И хоть суть учения Ганди не в этом, — он знает, что таков будет смысл, который придадут ему разгоряченные страсти индусских националистов. И он опасается приступа этого духовного варварства:

...«Студенты предлагают пожертвовать собой, но — чему? Совсем не более полному образованию, но — Необразованию... Я вспоминаю, что во время первого движения Swadeshi^{**)} ко мне пришла толпа студентов; они сказали мне, что если я прикажу им уйти из школ и университетов, они тотчас же послушаются меня. Я твердо от

^{*)} 13 марта 1921 г. Повторено и расширено в статье Единение Культур (Modern Review) ноябрь 1921 г.

^{**)} Первое движение Гом-Руль в Индии, вызванное в 1907—8 годах разделением Бенгалии.

этого отказался, и они ушли смущенные, сомневаясь в искренности моей любви к родине...»^{*)}.

Именно в эти дни весны 1921 года, когда Тагор с неудовольствием узнал, что в Индии начался бойкот английских учебных заведений, в самом Лондоне ему пришлось наблюдать резкий пример этого умственного национализма: во время лекции английского профессора и его друга Пирсона, индусские студенты начали неуместную демонстрацию. Тагор возмущен. В письме к директору Сантаникетана он называет это духом ничтожной нетерпимости. Он возлагает ответственность на движение «Несотрудничества». Ганди отвечает на эти упреки^{**)}. Умалчивая о нравственных достоинствах гуманитарного образования в Европе, которое ничего общего не имеет с воспитанием и которое он обвиняет в том, что оно разнеживает молодежь Индии, — он осуждает учиненную грубость и протестует против ее вольнодумства:

«...Я вовсе не хочу, чтобы мой дом был огорожен со всех сторон, чтобы окна мои были забиты. Я хочу, чтобы дыхание различных культур свободно веяло в моем доме, но я отказываюсь быть им унесенным. Моя религия не есть религия тюрьмы. В ней есть место для всех созданий Божьих. Она закрыта лишь для заносчивой расовой, религиозной или партийной гордости...»

Благородные слова. Но они не обезоруживают Тагора. Он не сомневается в Ганди. Но он боится гандистов. И с первых шагов по приезде в Индию, в августе 1921 года, он поражен их слепой верой в слова учителя. Ему кажется близкой опасность умственного деспотизма; и вот, в «Modern Review» от 1 октября он печатает настоящий манифест, «Зов Истины», который восстает против этого умственного порабощения. Протест этот еще более разителен тем, что ему предпослана великолепная хвалебная статья

^{*)} 5 марта 1921 г.

^{**)} «The Poets Anxiety», 1 июня 1921 г.

о Махатме. Тагор, вспоминая начало движения за независимость Индии в 1907—1908 г. г., указывает, насколько книжной тогда была мечта индусских политических деятелей, вдохновляемая тенями Гладстона, Мадзини, Гарибальди, неспособная идти дальше людей, говоривших по-английски...

«...В этот момент явился Махатма Ганди. Он побывал на пороге множества нищенских хижин, в одежде нищего. Он говорил с бедняком на их родном языке. Тут, наконец, была истина, а не книжная цитата. Данное ему имя Махатмы — его истинное имя. Кто еще почувствовал, что все люди Индии одной с ним крови и плоти? В соединении с истиной, пробудились тайные силы душевные. Как только истинная любовь встала у дверей Индии, дверь эта широко раскрылась. Исчезло всякое колебание. Истина пробудила истину... Слава Махатме, открывшему нам могущество истины!.. Когда Будда говорил об истине Сострадания ко всем живым существам, которая была плодом его строгой суровости к себе, — Индия проснулась в расцвете своей возмужалости, силы ее проявились в науках, искусствах, богатствах; она перешла и пустыни, и океаны... Никакая торговая или военная деятельность никогда не достигала этого... Одна любовь истинна. Когда она дает свободу, она ее открывает в нас самих...»

Но это восхваление внезапно обрывается. За ним следует разочарование.

«...Несколько звуков этой музыки, этого чудесного пробуждения Индии любовью, долетели до меня через море... В надежде вдохнуть живительную струю этой новой свободы духа, я радостно возвратился. Но то, что я встретил, вернувшись, меня удручило. Казалось, тяжесть нависла над страной. Какое-то внешнее давление двигало каждого, и заставляло всех говорить на один голос и впрягаться в одну тачку. Повсюду я услышал, что и культуру,

и разум необходимо запереть, а самим закабалиться в слепом подчинении... Так легко раздавить внутреннюю свободу человека во имя свободы внешней!..»

Нам знакомы и это волнение, и это возмущение. Они были во все времена. Последние великие умы исчезающего античного мира так встречали идущий на смену христианский мир. Мы сами чувствуем, как растет в нас протест против моря людей, поднятых ныне слепым прибоем веры, общественной или национальной, все равно. Это — вечное возмущение свободной души против веков доверия к власти, которые она сама вызвала; ибо это доверие — бесконечная свобода для горсти избранных, а для народа, который его превозглашает, — рабство.

Но упреки Тагора проносятся выше фанатизма толпы. Через головы массы, опьяненной подчинением, он говорит с Махатмой. Как бы ни был велик Ганди, но не превышает ли его влияние силу одного человека? Такое дело, как дело Индии, не может держаться в руках одного учителя. Махатма — учитель правды и добра. И, конечно, «золотой кнут, который может разбудить нашу страну к правде и добру, — не из тех предметов, которые могут быть сфабрикованы соседним мастером... Но умение и знание, как добиться *Swaraaj* (Гом-руля), — великая задача. Пути ее трудны и требуют времени. Для такого дела должны быть налицо и порыв, и чувство, но не менее их — знание и мысль. Ради него экономист должен мыслить, рабочий — работать, наставник — наставлять, государственный человек — ухищряться и изобретать. Одним словом, духовные силы народа должны проявляться во всех направлениях. Помимо всего, надо хранить в стране дух искания, чистый и безупречный. Умственная жизнь не должна загоняться в подполье, ни открытым, ни тайным давлением...»

Итак, Тагор призывает к сотрудничеству все свободные силы Индии.

«В наших древних лесах наши гуру (мудрецы), полные прозрений истины, бросали призыв всем искателям ее... Почему наш гуру, который хочет вывести нас на путь осуществлений, не бросает такого призыва?..»

Но гуру Ганди бросил всего один ключ каждому и всем вместе: «Придите и тките!..» «Неужели в этом — весь наш призыв к творчеству? Если большие машины представляют опасность для запада, то разве маленькие машины не представляют для нас еще худшей опасности?»

Не достаточно, чтобы все народные силы содействовали друг другу; надо, чтобы они содействовали силам всего мира... «Пробуждение Индии есть часть пробуждения всего мира... Впредь каждая нация, которая замкнется в себе, пойдет против духа нового времени...» И Тагор, проведший в Европе несколько лет, вспоминает многих людей, встреченных там, — мудрых европейцев, сбросивших цепи национализма со своих сердец, чтобы посвятить их служению человечеству; это, всеми преследуемое меньшинство, никем не будет побеждено, это граждане мира, — «*civis totius orbis*», — которых он ставит в разряд Sannyasin*), т. е. тех, кто в душе своей осуществил Единение человечества...»

«А мы, мы останемся в одиночестве, и будем довольствоваться повторением отрицающих правил, бесконечным возвращением на путь старых ошибок, надеждой осуществить Swaraj на основе ненависти и вражды!.. Когда птица пробуждается на заре, она поглощена не только заботой о пище. Крылья ее неумоимо отвечают небесному призыву. Голос ее льет радостные песни новому свету. Новое человечество посылает нам свой призыв. Пусть разум наш ответит ему на своем языке!.. Первая наша обязанность на заре — вспомнить того Единственного,

*) Т. е. тех, кто отказался от личной жизни для того, чтобы дать человеку Единение.

кто не знает различия сословий и окрасок, и кто, чрез Многообразие сил своих, видит, сколь он необходим нуждам каждого сословия и всех сословий вместе. Станем молиться дарующему нам мудрость, да соединит он всех нас в истинном понимании друг друга...»*).

Эти царственные слова, самые возвышенные из всех, какие когда либо были услышаны народом, эта лучезарная поэма, одинаково трогают все человеческие массы. И единственный упрек, какой можно им поставить, это то, что они слишком их трогают. Они правы — с высоты столетий. Поэт — певец, «огромный соловей, ласточка величиной с орла», (как сказал Гейне об одном великане нашей музыки) — поет на развалинах времени. Он вечен. Но настоящее его гнетет. Настоящее требует от сегодняшних действий пускай несовершенного, но немедленного облегчения, — во что бы то ни стало! И на это у Ганди, которому не хватает взлетов Тагора, (или, быть может, который, будучи Bodhisattva милосердия, сам отказался от них, чтобы жить вместе с отверженными), есть возможность прекрасно ответить.

На этот раз он отвечает с большим жаром, нежели прежде. Ответ его не заставил себя ждать; 13 октября он был напечатан в Young India. Ганди благодарит «великого часового»**) за то, что тот стоит на страже, оберегая Индию от опасностей. Он соглашается с ним на необходимости свободного выбора. «Не надо никому навязывать решение. Слепое подчинение часто унижительное насилия, произведенного кнутом тирана. Есть еще надежда для раба силы; для раба любви ее уже не существует...» Тагор хороший сторож, предупреждающий о близости врага, который называется: ханжество, летар-

*) Переделка первого стиха Упанишад.

**) «The great sentinel» название статьи от 13 окт. 1921 г.

гия, нетерпимость, невежество, лень... Но Ганди не допускает, чтобы упреки Тагора оправдались в данное время. Махатма обращается к разуму. Не может быть, чтобы в Индии существовало в таком количестве слепое подчинение. Если страна и решилась прибегнуть к прялке, то произошло это после зрелого размышления. «Тагор говорит о терпении, но довольствуется своим пением. Теперь война. Пусть поэт отложит лиру. Он будет петь позже. Когда дом в огне, каждый хватается за ведро воды... Когда окружающие меня люди умирают с голоду из-за отсутствия пищи, единственное, что мне позволено, это — накормить голодных... Индия — дом в огне... Индия умирает с голоду, ибо она лишена работы, которая ей может дать пищу. Khulna умирает с голоду... Ceded Districts голодают в четвертый раз. Orissa страдает от постоянного голода... С каждым днем Индия становится все обездоленной. Кровь почти уже не струится по ее жилам. Если мы не решимся на что-нибудь, то она разрушится. Для народа, изголодавшегося и безвольного, Бог может явиться лишь в одном облачении — в облачении труда и обещания пищи, как награды за труд. Бог создал человека, чтобы он трудом добывал себе пропитание, и Бог же сказал, что те, кто питается, не трудясь, — равны ворами... Мы должны подумать о миллионах людей, которые сейчас ничтожнее животных, которые почти при смерти. Прялка есть средство к существованию для миллионов умирающих. Голод толкает Индию к прялке... Поэт живет в завтрашнем дне и хотел бы от нас того же. Нашему восхищенному взору он преподносит прекрасную картину птиц, поющих ранним утром хвалебные гимны и порхающих в небе. Птицы эти сыты. Каждый день у них есть пища, и взлетают они на крыльях, отдохнув и обновив кровь свою за ночь. Но я имел несчастье видеть птиц, лишенных сил; птиц, у которых даже не было желания двигать ослабевшими крыльями. Человеческая

птица, под небом Индии, после кажущегося отдыха ослабевает. Для миллионов людей жизнь есть или вечное бодрствование, или вечная каталепсия... Я нахожу невозможным облегчить страдания голодающих пением Кабира... Предоставьте им заработок, чтобы они могли насытиться!.. «Но спрашивают: почему же и мне, которому не надо работать, чтобы быть сытым, тоже надо пряхть? Потому, что я ем то, что мне не принадлежит. Я живу трудами моих соотечественников. Проследите путь тех денег, что приходят в ваш карман, и вы увидите, что я говорю правду!..» Необходимо пряхть! Пусть каждый прядет! Пусть Тагор прядет, как и все! Пусть сожжет свое заграничное платье!.. В этом задача нашего времени. Завтрашним днем мы займемся после. Как учит Гита: «Исполни правое дело!»

Мрачные, трагические слова! Всесветная нищета восстает перед иллюзией искусства и кричит ей: «Посмей обо мне забыть!» Кто не поймет и не разделит горячего волнения Ганди! И вместе с тем, в этом гордом и сильном ответе есть нечто, что оправдывает некоторые опасения Тагора: тут — *Sileat poeta!* тут настойчивый призыв к борьбе. Безусловное подчинение закону *Swadeshi*, который прежде всего устанавливает каждодневное всеобщее прядение.

Бесспорно, в человеческой борьбе дисциплина есть долг каждого. Но несчастье состоит в том, что те, кто обязан за ней следить, — приближенные вождя, — суть не редко люди узкого ума; и для себя и для других они средство делают целью. Правило их прельщает именно своею узостью, ибо они находятся сами на узком пути. Для них *Swadeshi* становится идеалом, принимает оттенок святости. Один из главнейших учеников Ганди, Д. Б. Калелькар, профессор самой ему дорогой школы *Satyagrahashram Sabarmati* в Ахмедабаде, напечатал

«Евангелие Swadeshi»*), которому Ганди предпослал поощрительное предисловие. Брошюра эта обращена к читателям из народа. Вот credo, предложенное народу одним из тех, кто стоит у чистого истока учения:

«Во все века Бог воплощался для искупления людей... Но не обязательно, чтобы он являлся нам в образе человека... Он может явиться и в форме отвлеченного принципа или великой идеи, проникающей в мир... Новым откровением является Евангелие Swadeshi...»

Евангелист согласен, что можно встретить улыбкой подобное утверждение, в случае если на Swadeshi будут смотреть как на бойкот иностранных тканей. Но вопрос этот только ничтожная практическая частность огромного «религиозного принципа, которому суждено обновить мир и освободить его от ненавистного раздора». Этот принцип содержится в Священных Индусских писаниях. Вот он:

«Твоя собственная Дхарма, если даже она не имеет заслуг, все же самая лучшая из всех. Осуществление Дхармы, не принадлежащей тебе, всегда окружено опасностями. Только тот достигает счастья, кто сосредотачивается на своем личном долге».

Этот основной закон Swadeshi, опирается на веру в «Бога, создавшего вечность для блага вселенной. Этот Бог дал каждому человеку ту среду, которая ему подходит, дабы человек выполнил свое личное назначение. Все поступки человека должны согласоваться с его личным положением в жизни... Как наше рождение, так и семья, и страна, и культура не могут быть нами выбраны. Нам остается лишь принять все то, что нам дано Богом; мы должны признать преемственность, ибо она идет от Бога,

*) «The Gospel of Swadeshi», 1922 г. Мадрас.

и обязательный долг наш — согласиться с ней. Отвергнуть ее было бы грехом».

Из этих исполненных веры статей следует, что человеку одной страны нет дела до людей страны чужой. «Верующий в Swadeshi никогда не берет на себя напрасную задачу попытаться изменить мир; ибо он знает, что вселенная двигалась и всегда будет двигаться по Божьему предопределению... Не надо ожидать, что одна страна станет заботиться о нуждах другой, даже в виде благотворительности; даже если-бы это было возможно, это было бы нежелательно... Истинно верующий в Swadeshi не забывает, что каждое человеческое существо ему родственно, и он принужден исполнить долг, предназначенный ему его рождением... Так же точно, как мы обязаны служить веку, в котором родились, мы во что бы то ни стало должны служить своей родине... Освобождение духа должно быть обретоено средствами нашей собственной религии и собственной культуры...»

Но, по крайней мере, позволено ли народу развивать все имеющиеся у него возможности для процветания его торговли и промышленности? Нисколько. Недостойно желание снабдить Индию крупными заводами! Это означало бы насиловать Дхарму остальных людей. Вывозить свои товары так же преступно, как и ввозить чужие. Ибо «прозелитство противно учению Swadeshi». И логический вывод из этого закона (весьма для европейца неожиданный) — невозможность торговать предметами, как и идеями. Если Индия исторически была сурово принижена, то это возмездие за давнее преступление ее предков, торговавших с Египтом и Римом, преступление, повторенное всеми поколениями, делавшими те же ошибки, не исправляя их... Пусть каждая страна, каждое сословие выполняют свой долг, живут своими средствами, своими обычаями! Пусть избегают сближаться с теми, чей быт не схож с их бытом! Не следует соединять свою жизнь

с жизнью тех людей или наций, чьи стремления не совпадают с нашими... Каждый человек — ручей. Каждый народ — река. Все должны следовать своему руслу, пока не достигнут моря Единения и не соединятся в нем.

Вот кульминация национализма! Самого чистого. Самого узкого. Сидеть по домам. Закрыть двери. Ничего не менять. Все сохранять. Ничем не торговать. Ничего не покупать. Очищаться душой. Это — средневековое Евангелие заточенных в монастыре монахов*). И Ганди с легким сердцем подписывается под ним!..

Понятен испуг Тагора перед этими цветами реакционного национализма, возомнившего себя в силах остановить бег веков, посадить в клетку полет человеческого разума и взорвать мосты, соединяющие Индию с Западом...*).. — Правда, не в этом — последняя задача Ганди. Вот, что

*) Однако, здесь встречаются замечательные моральные предписания: «Не надо мести! Что прошло — то прошло. Прошлое непреложно, оно стало частью вечности, и у человека нет средств изменить его. Не помышляй о возмездии за прошлые обиды и оскорбления! Пусть мертвое прошлое погребает своих мертвецов! Станем действовать в живом настоящем, сердце наше в нас и Бог — над нами!..» От начала книги до конца — ледяная прозрачность.

**) Тагор особенно должен был быть чувствителен к таким статьям, как эта, ибо между Ashram, где жил Ганди (и откуда вышло это Евангелие) и Сантиникетаном, где жил Тагор, установилось соперничество, которое оба вождя желали избежать. Это видно из статьи от 9-го февраля 1922 г. в *Young India*, о которой я уже упоминал: Ганди в ней жалуется на то, что один журналист приписал ему слова, будто бы сказанные по поводу Ashram'a и Сантиникетана и носящие оскорбительный для последнего оттенок. Он говорит о своем уважении к Сантиникетану не без скрытого юмора: «Если бы мне пришлось решить вопрос о превосходстве того или другого, говорит он, несмотря на учение и на рассвет в Ashram'e, я бы высказался за Сантиникетан. Он — старший брат, он древнее годами, а также и мудростью. Но, — хитро прибавляет он, — пусть жители Сантиникетана остерегаются быстрого движения Ashram'a».

он сам пишет Тагору: «Swadeshi есть благая весть миру...» (Итак, он отдает себе отчет о мире и не отрицает «прозелитизма»). — «Не - сотрудничество» не направлено против Запада. Оно идет против материализованной цивилизации и против эксплуатации страдающих от нее...» (Итак, оно борется лишь с ошибкам Запада, а труд свой посвящает его же благу). — «Это уединение нас в самих себя» (но уединение временное, чтобы собрать свои силы, прежде чем начать служить человечеству). «Индия должна научиться жить, прежде чем научиться умирать за человечество...» И Ганди ни в какой мере не отрицает сотрудничества с Англией, т. е. с Европой, в случае, если последняя устремится к той цели, которую он предлагает всем: ко всеобщему объединению.

Эта мысль Ганди бесконечно шире, универсальнее*) той, которую выражает напечатанное под его надзором «Евангелие...»

Но почему тогда он присоединил к нему свое имя?.. Почему позволил заключить свой высокий идеал, созданный для всего мира, в узкие рамки индусской теократии?.. Опасные ученики! Чем старательнее они, тем смертнее. Да сохранит Бог великого человека, от тех, кто никогда

*) По моему Ганди столь же универсален, как и Тагор, но иначе. Тагор универсален, благодаря своему уму, Ганди — благодаря нравственному сознанию. Ганди никого не исключает из общей ежедневной молитвы и работы. Так апостолы в давние времена не делали различия между евреями и язычниками; каждого приучали они к нравственной выдержке. К этому же стремится и Ганди. Но тут-то и сказывается его узость: не узость сердца, которое столь же широко, как сердце Христа, но узость умственного аскетизма и самоотречения (что — тоже от Христа). Ганди — универсалист средневековый. И по этой причине, несмотря на все мое к нему уважение, я — за Тагора.

не сможет обнять всего учения, и кто, дробя его на параграфы, разрушает гармонию, высший дар живой души!..

Это не все. Те, что живут подле учителя, непосредственные ученики, проникаются хотя бы его духовным благородством. Но ученики учеников и остальные, к которым долетают лишь искаженные отголоски, вряд ли воспринимают его учение о внутреннем очищении и творческом самоотрицании. Лишь самое внешнее и материальное доходит до них: отвлеченное достижение Swaraj (Гом-Руля) путем прядения! Отрицание прогресса. Fuori Barbari! Тагор не без причины бьет тревогу по поводу того, что апостолы непротивления (не исключая и Ганди) применяют насилие, если не по отношению к людям, то к предметам с Запада. Хотя Ганди и говорит, что «он уйдет с поля битвы, если почувствует ненависть к англичанам», что надо любить тех, против кого борешься, а ненавидеть лишь их ошибки, что «надо ненавидеть сатанизм, любя Сатану» — но теория эта слишком тонка для народного сознания. Когда вожди движения с жаром вспоминают преступления англичан и их бесчестность, ужасы Пенджаба и Калифата, в народе подымается такая злоба, что если сдерживающая его плотина прорвется — начнется бедствие! Когда Ганди присутствует при сожжении дорогих тканей в Бомбее, в августе 1921 г., и отвечает на отчаянные заклинания Андрияса, друга Тагора, своей «Этикой Разрушения»*), он говорит, что верит в «перемещение народного гнева с людей на предметы». Но он не замечает, что народный гнев тут лишь пробивает себе дорогу и рассуждает так: «Сперва предметы! А потом — люди!..» И Ганди не предвидит, что в том же Бомбее меньше, чем три месяца спустя, народ будет убивать людей... Он слишком свят, слишком чист, слишком лишен животных страстей, которые живут в каждом человеке. Он не знает, что они во-

*) 1 сент. 1921 г.

круг него, что они слушают его слова и ухватываются за них. Тагор, будучи более проникновен, отмечает неосторожность «Не-сотрудничества», приверженцы которого, без устали напоминая о несправедливостях, причиненных Европой, и прививая народному сознанию яд буйства, приводящего к насилию, проповедуют непротивление. Они ни о чем не подозревают, эти апостолы, не знающие гнева в сердцах своих. Но тот, кто приближается к жизни, должен слушать не только свое сердце, но и сердце других. Берегись народа! «Save salem!»! Для того, чтобы вести его под уздцы, не хватит силы нравственных приказаний даже Ганди. Одна есть возможность, при которой они, не колеблясь, послушаются суровой проповеди учителя: этот учитель должен согласиться стать их Богом, каким его тайно объявляют те, кому он кажется уже в образе Sri-Krishna. Но искренность Ганди и смирение его не согласны на это... Поэтому ему остается лишь одиноко вызывать голосом самого чистого человека, царящим над гулом человеческого моря. Долго ли еще ему удастся быть слышимым? Огромно и трагично его напряжение!..



Весь 1921 год, в течении которого разrostалось движение, был полон неорганизованности и беспорядка. Ганди сам не вполне смог уберечься от этого вихря.

Восстание было в периоде брожения; оно ускорялось крайне-резкими мероприятиями правительства. Кровавые бунты возникали в Малегане, в округе Назик, волнения начинались в Гиридихе, в Бехаре. В начале мая 1921 г. еще более мрачные события произошли в Ассаме: двенадцать тысяч кули отказались от работы на чайных плантациях и уходя оттуда были избиты подоспевшими солдатами. Служащие на железных дорогах и пароходах, в восточной Бенгалии, объявили всеобщую двухмесячную забастовку протеста. Ганди старается все еще играть роль

примирителя. В мае происходит его свидание с вице-королем, лордом Ридингом; Ганди является посредником между ним и братьями Али, обвиненными в произнесении речей, разжигающих восстание; от своих друзей мусульман он добивается официального обещания никогда более не призывать народ к мятежу.

Но это не уменьшает революционную силу движения, и мусульманская часть Индии продолжает осуществлять самые смелые мероприятия. 8-го июля, в Караши, Конференция Калифата всей Индии, повторяя требования Ислама, объявляет, что «мусульманину не пристало служить в армии или помогать вербовке»; кроме того, она угрожает английскому правительству, в случае если оно будет бороться с правительством Ангоры, провозгласить в конце года, на сессии Всеиндийского Конгресса, гражданское ослушание и Индусскую республику.

28 июля Комитет Всеиндийского Конгресса, созданный в Бомбее (первый комитет, избранный на основании новой Конституции) провозглашает бойкот Принца Уэльского, прибытие которого ожидается, и полный бойкот иностранных тканей, ввезенных до 30 сентября; Комитет устанавливает и упорядочивает кустарное ткачество и пряденье, и восстанавливает деревню против спиртных напитков, несмотря на то, что правительство поддерживает продавцов. Но будучи осторожнее мусульман Калифата, он порицает беспорядочные волнения последнего времени и гражданское ослушание, но расширяет пропаганду непротивления.

В августе разражается грозный бунт Моплахов, который продолжается несколько месяцев. Ганди и Маулана Мохамед Али решают выехать из Калькутты в Малабар, чтобы его умирить. Правительство этого не разрешает, и в сентябре арестовывает Маулана Мохамеда, брата его Маулана Шукат Али и еще нескольких видных мусульман, за внесенные ими предложения объявить гражданское

ослушание на Конференции Калифата. Тотчас же главный Комитет Калифата в Дэли утверждает резолюцию Калифата, и сотни митингов энергично подхватывают ее. 4 октября Ганди объявляет о своей солидарности с мусульманскими братьями. Вместе с пятьюдесятью выдающимися членами Конгресса он публикует манифест, в котором требует предоставить каждому гражданину право высказывать правительству свое мнение относительно «Не-сотрудничества» и утверждает, что не подобает индусам служить государству, приведшему Индию к нравственному, экономическому и политическому разорению, ни в качестве чиновников, ни в качестве солдат. Он объявляет, что долг каждого — отмежеваться от Англии. Процесс братьев Али происходит в Караши. Вместе со своими сообщниками они приговорены к двухлетнему одиночному заключению. Индия горячо отвечает на это. Манифест Ганди принят Комитетом Всеиндийского Конгресса 4-го ноября в Дэли. Комитет делает решительный шаг; на все области, под ответственностью каждой, он возлагает задачу начать гражданское ослушание отказом от уплаты налогов. Он ставит условием, чтобы сопротивляющиеся были в полном единении с программой Swadeshi и «Не-сотрудничества», в том числе осуществили бы ручное пряденье и проводили в жизнь непротивление. Таким образом, с помощью Ганди он пытается остановить мятеж учением о самоотречении. Чтобы еще более его углубить, он предупреждает сопротивляющихся граждан и их семьи, что рассчитывать на денежную помощь Конгресса им не приходится.

Всеобщее ослушание должно было начаться 17-го ноября, когда Принц Уэльский высадился в Бомбее. Постановление о бойкоте было осуществлено средними и низшими классами. Богатые классы, Парсы, официальные лица не подчинились ему. Толпа избила их, не пощадив женщин, и волнение быстро распространилось; дома были разгром-

лены, оказались убитые и раненые. Это был единственный взрыв в Индии, где во всей стране предписанный *Hartal* (торжественный пост) проводился в мире и спокойствии. Но Ганди был, по его словам, «поражен». При первом известии о беспорядках, он поспешил туда, куда призывали его восставшие; смущение его удвоилось. Он говорил, что Парсы имеют право честовать принца по своему желанию и что ничто не может извинить недостойное насилие восставших. Народ притих, но волнения разгорелись вблизи. Поднялись низы; двадцать тысяч человек не легко давали себя уговорить. Однако, возмущение все же было остановлено; самый мирный день наших европейских революций приносит бедствий неизмеримо более. Ганди с отчаянием обращался к жителям Бомбея и участникам «Не-сотрудничества»; призывы его были впоследствии опубликованы. Он говорит, что подобные события делают в настоящее время невозможным обще-гражданское послушание; он временно отменяет свой приказ. Чтобы наказать самого себя за насилие других, он обрекает себя на двадцатичасовой пост еженедельно.

Европейцы в Индии были не столько потрясены волнениями в Бомбее, сколько трогательным одиночеством в совершении *Хартала*, охватившим всю Индию. Они оказывали давление на вице-короля. Ряд крутых мер, попиравших всякую законность, был проведен правительством на местах. Был извлечен старый закон 1908 года, запрещающий тайные анархические сообщества; его применили по отношению к добровольческим союзам Конгресса и *Калифата*. Были произведены тысячи арестов. В ответ на это тысячи новых добровольцев записались в национально-индусские списки. Провинциальным Комитетам было предписано организовать добровольческие отряды и соответственно их обучить. Полный *Hartal* был назначен на 24 декабря, день посещения принцем Калькутты. И в назначенный день Принц нашел в Калькутте пустыню.

В эти часы, когда, казалось, уже веяла революция, в Ахмедабаде открылся всеиндийский Национальный Конгресс. В нем господствовала та же волнующая торжественность, что и на заседании Генеральных Штатов в 1789 году. Председатель Конгресса только что был заключен в тюрьму. Прения были продолжительны. Конгресс вновь утвердил принцип «Не-сотрудничества», предложил всем гражданам записываться в добровольцы и, если надо, быть арестованными; он призвал индусский народ собраться на митинги, объявил свою веру в гражданское послушание, по силе равное вооруженному сопротивлению, но превосходящее его гуманностью; он советовал начать послушание тогда, когда народ достаточно ознакомится с тактикой Непротивления. Предвидя, что большинство его членов будет арестовано к концу сессии, Конгресс передал Ганди все свои полномочия для полной диктатуры, с правом выбрать себе преемника; он делал его единственным хозяином индусской политики с одним условием: не менять национального *сredo* и не заключать мира с правительством без согласия на то Комитета Конгресса. Часть Собрания внесла - было предложение перейти к более резким мерам, чтобы скорее достичь окончательной независимости Индии. Но предложение это было отклонено большинством, державшимся воззрений Ганди.

Ближайшие недели доказали религиозный энтузиазм Индии. 25.000 мужчин и женщин радостно согласились быть заключенными в тюрьму. За ними поднялись тысячи других, ожидая очереди осуществить свое решение.

Ганди вновь приготовился обратиться к народу с призывом начать гражданское послушание. Сигнал должен был быть дан образцовой областью, Бардоли, в провинции Бомбея, где его учение всегда находило самую плодотворную почву *). Ганди предупреждает об этом вице-короля пись-

*) Сто сорок сел, 87.000 жителей.

мом, опубликованным 9 февраля 1922 года, которое является вежливым, но несомненным объявлением войны. По словам Ганди, он является ответственным вождем движения. Бардоли должна стать объединяющим началом Индии, восставшей против правительства, которое столь грубо посягнуло на свободу слова, собраний и печати. Ганди дает лорду Ридингу семь дней для перемены политики. Иначе отданный уже приказ будет осуществлен: начнется восстание *).

Едва было отправлено письмо к вице-королю, как в Шори-Шора, в области Горакпура, разгорелись события, еще более кровавые, нежели предыдущие. Во время одного шествия полиция атаковала толпу. В свою очередь атакованная, она открыла огонь и укрепилась в полицейских казармах. Толпа подожгла здание. Тщетно осажденные просили о милосердии; они были растерзаны и сожжены. Провокация шла с их стороны, и ни один из участников «Не-сотрудничества» не принимал участия в их убийстве. Поэтому Ганди имел право не принимать на себя ответственности за него. Но он действительно стал совестью Индии. Преступление хотя бы одного индуса покрывало его кровью. Он брал на себя все грехи своего народа. Его отчаяние было столь велико, что тотчас же, вторично, он приостановил движение, объявленное им самим. На этот раз положение его было гораздо более мучительным, чем после восстания в Бомбее. Несколько дней тому назад был отправлен им ультиматум вице-королю. Как вернуть его, не опозорив себя? Гордость, которую он зовет Сатаной, не позволяла ему этого сделать. Лишний повод, чтобы решить-

*) Заметка от того же числа в *Young India* сообщила Индии об этом ультиматуме, но с еще большим жаром: если вице-король не ответит, — приказ непреложен. Гражданское слушание должно быть осуществлено во что бы то ни стало, даже в случае, если теперь большинство высказалось бы против него.

ся. Ему надлежало выпить «горькую чашу унижения». И он ее выпил.

16 февраля 1922 г. в *Young India* появился один из самых удивительных документов этой жизни *), — его *Mea culpa*, его публичное покаяние. Из глубины его унижения первым словом встает его ликование и благодарность Богу за то, что тот унижил его:

«Господь ко мне преисполнился доброты. (God has been abundantly kind to me). В третий раз Он предупредил меня, что Индия еще не достигла духовных высот Непротивления и Истины, которые единственно могут оправдать всенародное гражданское ослушание, — единственно достойное назваться «гражданским», т. е. смиренным, мирным, мудрым, добровольным и вместе с тем любовным, но никогда не преступным и не нетерпимым. Впервые он предупредил меня в 1919 году, когда началось движение против Роулатского билля. Ахмедабад, Вирамгам и Хеда заблуждались. Амристар и Казур заблуждались. Я вернулся по своим следам; я назвал свое заблуждение — ошибкой в расчетах, я унижился перед Господом и людьми, я остановил не только всеобщее гражданское ослушание, но и свое собственное... Во второй раз это было во время событий в Бомбее. Господь сделал меня их очевидцем. Я приостановил всеобщее ослушание, которое должно было начаться в Бардоли. Унижение было еще больше, но оно принесло мне благо. Я уверен, что народ выиграл от такого промедления, и таким образом Индия осталась представительницей Истины и Непротивления. Но горчайшее унижение — сегодняшнее... Господь ясно говорил с нами событиями в Шори-Шора... В час, когда Индии показалось, что она достигла престола свободы своим Непротивлением, насилие толпы стало мрачным предзнаменованием... Необходимо участникам «Не-сотрудничества» оказать давление на сопротивление массы. Это

*) «The crime of Chauri-Chaura».

станет возможным лишь тогда, когда несознательный элемент Индии будет обуздан...»

11 февраля он созвал в Бардоли исполнительный Комитет Конгресса и поделился с ним своим беспокойством. Многие из товарищей не были с ним согласны. Но он был, по его словам, «благословен» небом, чтобы обрести в них и сочувствие, и снисходительность. Они поняли его волнение и согласились с его доводами о необходимости отменить гражданское послушание, предложив всем организациям стараться осуществить принцип Непротивления.

«Я знаю, продолжает Ганди, что это покажется немудрой политикой; но это благоразумно с точки зрения религии, ибо я покался, и дело мое выигрывает уже тем, что я признался в своих ошибках. Единственная добродетель, к которой я стремлюсь, это Истина и Непротивление. Я нисколько не претендую на сверхчеловеческие достижения. Я не стою за них. Я облечен в ту же смертную плоть, что и слабейший из нас, и не могу избежать заблуждений. Работа моя ограничена; но до сих пор Бог благословлял ее, несмотря на то, что она не совершенна... Покаяние метет, как метла... Я чувствую в себе новые силы, ибо покался, и дело мое выигрывает уже тем, что отложено. Никогда еще человек не достигал цели, не отклоняясь от прямого пути... Мне говорят, что преступление в Шори-Шора ничего общего не имеет с предполагаемым движением Бардоли. Я не сомневаюсь. Жители Бардоли, по моему, самые миролюбивые люди в Индии. Но Бардоли лишь одна точка ее. Усилие этой точки может стать плодотворным лишь при условии полного единения между нею и остальными частями Индии... Зерно мышьяка в ведре молока отравляет его... Шори-Шора — смертельный яд... (Он не единственный и он не обезврежен). Он опасный симптом периодических восстаний... Истинно гражданское послушание не выносит никаких волнений. Оно есть при-

готовление к молчаливому страданию. Действие его чудесно, хотя неуследимо и постепенно... Трагедия Шори-Шора есть перест, указующий нам путь. Если мы не хотим, чтобы из Непротивления исходило насилие, мы должны скорее вернуться по своим следам, восстановить порядок и забыть о всеобщем послушании, пока не будем уверены, что спокойствие будет сохраняться во что бы то ни стало. Пусть противник обвинит нас в подлости! Лучше быть ложно осужденными, чем обмануть Бога...»

И этот апостол хочет искупить кровь, пролитую другими. «Я должен пережить личное очищение. Я должен уметь отмечать малейшее колебание нравственной атмосферы вокруг меня*). Молитвы мои должны стать искреннее и смиреннее. Ничто не очищает лучше, чем истинный пост; им достигается более полное самоутверждение и возвышение духа над плотью»...

Себе он публично предписывает пятидневный пост. Пусть никто ему не подражает. Он должен наказать одного себя. Он оказался неловким хирургом. Ему необходимо либо отказаться от более высокого достижения, либо завоевать его. Пост этот в одно и то же время наказание для него и кара для согрешивших в Шори-Шора, на чьих устах, может быть, было его имя. Ганди хотел бы один пострадать за них, но он советует им предаться в руки правительства и во всем признаться. Ибо они причинили огромное зло тому делу, которому хотели послужить.

«Я хотел бы перенести еще, кроме унижений, все муки, полный остракизм, даже смерть, лишь бы помешать нашему движению стать насильническим или предвестником насилия...»

★

*) Отметим свет, которым озарилась таинственная сила этой души, в которой записан весь трепет народа!

История человеческого сознания не много насчитывает столь возвышенных страниц. Духовная ценность подобного поступка исключительна. Но как поступок политический, он непонятен. Ганди сам признавал, что его осудят, как «политически неразумного». Опасно выпустить из рук подводя, заставить задрожать народ в ожидании обещанного движения, поднять руку, чтобы подать знак, и снова опустить ее, — и тогда, когда уже пущена в ход вся эта огромная машина, три раза под ряд остановить ее. Опасно испортить механизм и сломать двигатель.

Когда 24 февраля 1922 г., в Дэли собрался Комитет Конгресса, Ганди не без резкой оппозиции добился принятия резолюций, вынесенных 11-го числа в Бардоли. Среди участников «Не сотрудничества» произошел раскол. Ганди хотел — объединиться на более строгих началах; он предлагал реорганизацию. Но многих возмущало его промедление; восставали против отмены приказа об слушании и говорили, что Ганди душит народные стремления. Часть их предложила поставить на голосование вопрос об учреждении контроля над исполнительным Комитетом Конгресса и требовали отмены его постановлений. Ганди, однако, это отверг, хотя самый факт был ему неприятен. Большинство, следовавшее за ним, не утешало его. Оно казалось ему неискренним. И не один, голосовавший за него, за спиной называл его «диктатором» (он это слышал). В глубине души он чувствовал свою отчужденность от народа. Он признался в этом 2-го марта 1922 г. со свойственной ему искренностью:

«У большинства существует множество скрытых насилиственных тяготений, сознательных и бессознательных, и поэтому я помолился об угрожающем поражении. Я всегда был в меньшинстве. В Южной Африке я начал при общем согласии, а спустился до меньшинства, до 64, даже до 16,—и опять поднялся до несметного большинства. Самая лучшая и самая прочная работа была сде-

лана в пустыне одиночества... Я боюсь большинства. Я дошел до того, что мне стало противно слепое обожание толпы. Я бы тверже чувствовал под ногами почву, если бы толпа плевала на меня... Мой друг меня предупредил не злоупотреблять своей властью... Далекий от того, чтобы ею злоупотреблять, я спрашиваю себя, не даю ли себя «эксплуатировать»? Признаюсь, я боюсь этого, как и раньше боялся. Единственное мое спасение в отсутствии стыда. Я предупредил моих товарищей по Конгрессу, что я неисправим. Каждый раз, как народ даст промах, я его обнаружу. Единственный тиран, которого я признаю в мире, это «слабый, тихий голос» (the still small voice), который заключен в нас. И даже, если бы я был вынужден рассматривать свое меньшинство, как одного человека, я думаю, у меня хватило бы храбрости быть с этим отчаявшимся меньшинством. Это для меня единственно искреннее решение. Теперь я человек более мрачный и, думается, более мудрый. Я вижу, что Непротивление наше поверхностно. Мы сгораем от возмущения. Правительство усиливает это своими невероятными мероприятиями. Можно подумать, что оно словно хочет видеть эту страну растерзанной, в пожарах и разгромах, чтобы, наконец, иметь право сказать, что только оно в силах ее восстановить.

Наше Непротивление обязано, мне кажется, нашему безволию: словно в сердцах мы лелеем мысль о мести при первом удобном случае. Разве истинное, добровольное Непротивление может исходить из этого вынужденного непротивления слабых? Разве не произвожу я сейчас бесполезный опыт? Ну, а если, когда разразится гроза, ни один не будет удовлетворен, если рука его поднимется на своего ближнего,—к чему тогда послужит мой пост, грозящий мне голодной смертью, при наличии такого бедствия?... Если вы не способны на Непротивление,

обратитесь честно к сопротивлению! Но без лицемерия!*) Большинство кажется, что оно принимает Непротивление... Пусть признает свою ответственность! Оно принуждено сейчас приостановить гражданское послушание и осуществлять созданную работу... Иначе мы потонем в водах, глубина которых нам неведома...»

И обращаясь к меньшинству, он говорит:

«Вы не хотите Непротивления? Выйдите из Конгресса! Создайте новую партию! Всенародно объявите ваше credo! Пусть страна выберет между нами!... Но не будьте уклончивы! Будьте прямодушны!...»

В этих сильных словах есть горькая печаль, но мужественная и ясная. Это был его Гефсиманский сад. Ганди должен был быть арестован... Кто знает, быть может, в глубине души он принял это событие, как спасение?...

Он его ждал уже давно. Уже 10-го ноября 1920 г. все меры были приняты. Он дал указания народу, на случай своего отсутствия («If I am arrested»). Он возвращается к этому в статье от 9 марта 1922 г., когда начал распространяться слух об его аресте. Он говорит, что не боится насилий правительства. Но боится одного, — насилия толпы. Это обесчестило бы его. «Пусть народ смотрит на день моего ареста, как на день радости! Правительство думает, что после ареста Ганди с Индией будет покончено. Докажите ему обратное! Пусть узнает силы народа!» Лучшее доказательство народного почитания — абсолютное спокойствие. Ганди почувствует себя униженным, если

*) Теперь для Ганди ясно, что, по крайней мере, часть большинства, поддерживающего Непротивление, тайно видело в нем лишь политическое средство, скрывающее в себе подготовку к сопротивлению. Они убежденно говорили, по словам Ганди, о том, чтобы нанести удары *непротивлению*! Ганди теперь понял опасную уловку, замеченную Тагором уже давно. Он был потрясен ею! Теперь еще суровее Тагора он обличает ее и подымает ее забрало.

узнает, что правительство колеблется его арестовать, боится восстания. Итак, пусть народ останется в покое, пусть не бросает работы, пусть не собирается на митинги! Но пусть закроются суды, пусть будут оставлены государственные должности, пусть опустеют казенные школы, пусть осуществится в ее целом, в строгом порядке программа «Не сотрудничества»! Если народ поступит таким образом, он одержит победу. Если нет — он будет раздавлен.

Итак, будучи вполне подготовлен, Ганди отправился в любимое свое убежище Ашрам Сабарматти, близ Ахмедабада, чтобы там сосредоточенно ожидать, в кругу любимых учеников, прихода тех, кто должен был арестовать его. Он стремился к тюрьме, как к благу. Вера Индии сильнее проявится тогда, когда его не будет. «А он, может быть, обретет покой...»*).

Вечером 10 марта, вскоре после молитвы, прибыла полиция. Весь Ашрам был предупрежден об ее приходе. Махатма отдался в ее руки. По дороге в тюрьму он встретил своего друга-мусульманина Маулана Хазрат Мохани, который издали спешил к нему и во время прихода, чтобы обняться с ним. Ганди был приведен в тюрьму вместе с издателем Young India Банкером. Жене было позволено проводить его до порога тюрьмы.

В субботу, 18 марта, в 12 часов дня, в присутствии окружного судьи и сессии из Ахмедабада, начался «великий процесс»**). Он протекал в редком спокойствии. И суд, и обвиняемые были преисполнены рыцарского благородства. Никогда еще Англия в своей борьбе не поднималась до такого великодушного бесстрашия. В эти дни судья, С. Н. Брумфилд, искупил многие грехи правительства. Отчет процесса, напечатанный друзьями Ганди, был частью перепечатан европейской прессой, и отголоски

*) 9 марта 1922 г.

**) «The Great Trial», 23 марта 1922 г., Young India.

его долетели до Франции. Поэтому я лишь вкратце изложу его.

Почему правительство решило арестовать Ганди? После двухлетнего колебания, как оно могло выбрать для такого приказа именно то время, когда Махатма сдержал волнения народа и казался единственной плотной, загораживающей путь к вооруженному сопротивлению? Была ли это aberrация? Или правительство хотело подтвердить трагическую фразу Ганди: «Кажется, правительство хочет видеть страну, разоренную убийствами, пожарами, разгромами, чтобы иметь повод обуздать ее?» В самом деле, положение его было тяжело. Правительство и уважало, и опасалось Ганди. Оно хотело шадить Ганди, но Ганди его не шадил. Махатма осуждал насилие; но его непотворствие было революционное всех других сопротивлений. В тот самый день, когда он воспротивился гражданскому послушанию, 23 февраля, накануне открытия Конгресса в Дэли, он напечатал одну из своих наиболее угрожающих британскому могуществу статей. Дерзкая телеграмма лорда Биркенхеда и г. Монтэгу хлестнула Индию кнутом*). Ганди в порыве возмущения поднял оскорбительный вызов:

«Никаких уступок Королевству, пока британский лев потрясает перед нашим лицом окровавленной лапой... Британское Королевство, опирающееся на организованную эксплуатацию физически более слабых земледельческих народов и на условное чванство грубой силой, не может быть долговечно, если существует Бог, правящий вселен-

*) «Если бы существование нашего Королевства было поставлено на карту, если бы британскому правительству было запрещено выполнять свои обязательства по отношению к Индии, если бы кому-нибудь пришло в голову, что мы могли бы допустить мысль об уходе из Индии, — то Индии пришлось бы безуспешно тягаться с самым решительным в мире народом, который на это ответил бы со всей надлежащей суровостью».

ной... Пора британскому народу отдать себе отчет, что борьба, начатая в 1920 г., — борьба до конца, хотя бы она длилась месяц, год, месяцы или годы... Я молю Бога, чтобы он дал Индии смирение и возможность провести Непотворствие до конца, но подчиниться этим дерзким вызовам немислимо...»

На этой и двух предыдущих статьях*) основывались все обвинения. Ганди был обвинен в том, «что вызывал неблагоприятное отношение, ненависть и презрение к правительству Его Величества». У него не было защитников. Он признал себя виновным во всем.

Генеральный адвокат, сэр У. Т. Стрэнджман из Бомбея, заявил, что три статьи, на которые опирается обвинение, не были исключением, что они составляли часть последовательного двухлетнего похода против правительства, и доказал это приведенными примерами. Он отдал честь достоинствам Ганди. Но зло, которое могло быть причиной подобными статьями, от этого лишь усугублялось. Он приписал Ганди кровавые события в Бомбее и Шори-Шора. Конечно, Ганди проповедывал непотворствие, но в то же время призывал к вражде — и это делает его ответственным за все.

Ганди попросил слова. Его борьба с совестью, его тревоги, его сомнения последних недель по поводу справедливости тех решений, которые он должен был предпринять, и тех последствий, которые они могли повлечь за собой в народном сознании, — рассеялись. Он вновь получил высшую власть над своей душой. Он принимал все то, что свершилось, все, что должно будет еще свер-

*) От 19 сент. и 15 декабря 1921 г. Первая — по поводу обвинения, предъявленного братьям Али; вторая — в ответ на возмутительную речь лорда Ридинга. В них можно найти то же самое решение: «война до конца»... «Мы хотим свергнуть правительство, принудить его подчиниться народной воле... Мы не просим пощады, мы не ждем ее...»

питься, как необходимость, о которой он мог сожалеть, но которую должен был перенести. Он объявил, что согласен с генеральным адвокатом. Да, он вполне ответственен за все. Он проповедывал вражду гораздо раньше, чем то говорит обвинение. Это было его слабостью. Он брал на себя все упреки по поводу волнений в Мадрасе, «дьявольских преступлений» в Шори-Шора, и «возмутительных оскорблений» в Бомбее...

«Генеральный адвокат прав, когда говорит, что я, как человек ответственный, получивший образование, обладающий не малым количеством опыта в мирских делах, должен был предугадать последствия моих действий. Я знал, что играю с огнем. Я подвергался опасностям, но если бы я был свободен, я бы вновь сделал то же самое. В последние ночи я зрело размышлял. Сегодня утром я почувствовал, что не исполнил бы своего долга, если бы не сказал того, что говорю сейчас. Я стоял и стою на том, чтобы избежать насилия. Непротивление есть первый и последний закон моей веры. Но мне надо было выбрать: либо подчиниться политическому строю, который, как я считаю, принес непоправимый вред моей стране, — либо подвергнуться опасности, которая грозит в случае проявления неистовства моего народа, когда он узнает правду из моих уст. Я знаю, что мой народ становится иногда безумным. Я глубоко опечален этим; и поэтому я здесь нахожусь, чтобы предаться не легкому, но самому суровому наказанию. Я не прошу помилования, я не оспариваю ни одного обстоятельства, направленного против меня. Я здесь для того, чтобы радостно принять высшее страдание, какое только может быть наложено за то, что по закону, является намеренным преступлением, и что мне представляется единственным долгом каждого гражданина. Судьи, у вас нет выбора: устраните или покажите меня!...»

После этой мощной импровизации, в которой превосходно сочетались сомнения верующей совести и героическая твердость политического вождя, Ганди прочел написанное им воззвание, обращенное к жителям Индии и Англии. Он говорит в нем, что обязан сообщить им, как из союзника и горячего приверженца Британии он стал «неблагоприятным» и как стал несправлимым сторонником «Не-сотрудничества». Он рисует картину своей общественной жизни с 1893 года. Он вспоминает все свои страдания индуса от британского строя, свои двадцатипятилетние усилия смягчить этот строй, в упорной надежде на возможность этого, с тем, чтобы Индия отделилась от Королевства. До 1919 года, несмотря на все неприятности, он отстаивал сотрудничество. Но оскорбления, несправедливости и злодеяния переполнили меру. Правительство же, вместо того, что бы их искоренять, бросало наивысший вызов индусской совести: оно вознаграждало и отличало виновных. Правительство само разорвало узы, связывавшие его с подданными. Теперь Ганди пришел к тому убеждению, что даже реформы, предложенные Англией Индии, были бы для нее смертельны. Государство покоится на эксплуатации народа. Законы поддерживают эту эксплуатацию. Административная власть куплена и состоит на службе у эксплуататоров. Хитрая и энергичная система запугивания подчинила народ и приучила его к притворству. Индия разорена, голодна, унижена; многие могут сказать, что для того, чтобы ей иметь возможность существовать в качестве самостоятельного государства, необходимы, быть может, многие поколения. Ни одно правительство, когда либо угнетавшее Индию, не причинило ей столько зла, сколько причинило Британское. Не-сотрудничество со злом есть долг. Ганди его исполнил. Но, вместо того, чтобы, как бывало, путем к спасению оказалось наси-

лие, он предоставил своему народу оружие более могущественное — Непротивление...

Тут начинается рыцарский поединок между судьей Брумсфильдом и Махатмой.

«Господин Ганди, в некотором роде вы облегчили мою задачу. Но самое трудное для судьи — это вынести наиболее справедливый приговор... Невозможно не знать, что в глазах миллионов людей вы властный вождь и великий патриот. Даже те, кто политически не согласны с вами, смотрят на вас, как на человека высоких идеалов, жизни благородной и даже святой... Но мой долг судить вас лишь как человека, подчиненного известным законам... Вероятно, не мало людей в Индии сейчас искренно жалеют о том, что вы сделали для правительства ваше освобождение невозможным. Но это так... Я постараюсь уравновесить то, что вам необходимо воздать, с тем, чего жаждет общественное мнение...»

Он вежливо допрашивает обвиняемого на основании предъявленных ему обвинений. Он приводит ему в пример приговор, вынесенный 12 лет тому назад Тилаку: шесть лет тюремного заключения. «Или вы считаете это неразумным? Если в ходе событий в Индии представится возможность сократить это время, никто не будет счастливее меня...»

Ганди несколько против этого не протестует. Он рассматривает, как высокую честь, сопоставление своего имени с именем Тилака. Приговор самый мягкий, какой только мог быть ему вынесен; и в течении всего процесса он не мог ожидать большей мягкости *).

*) Издатель Банкер, который во все время процесса молитвенно следовал примеру Махатмы, соглашаясь в немногих словах с его речами, был приговорен к году тюрьмы и денежному штрафу.

Процесс был закончен. Друзья Ганди, рыдая, упали к его ногам. Махатма, улыбаясь, простился с ними. И ворота тюрьмы Сабарматии закрылись за ним.*)

С этих пор замолк великий голос апостола. Тело его замуровано, как в гробнице. Но никогда еще могила не таила в себе идею. И незримая душа Ганди по прежнему одушевляет огромное тело Индии. «Мир, Непротивление, Страдание» — единственная весть поданная из тюрьмы **). Она была услышана. Слова «соблюдение порядка» пронесли с одного конца страны в другой. Три года тому назад вся Индия, в случае ареста Ганди, была бы в крови. Когда в марте 1920 г. возник такой слух, население восстало. Приговор Ахмедабада был принят Индией в сосредоточенном молчании. Тысячи индусов дали арестовать себя с радостной верой. «Непротивление и мир»... Исключительный пример показал, как глубоко проникло божественное учение в душу нации.

Сикхи, как известно, всегда были самой воинственной частью Индии; они в большом количестве участвовали в великой войне. В прошлом году между ними вспыхнула острая рознь. Повод к ней был ничтожен (в глазах европейцев). Религиозное возрождение Сикхов породило секту Акалитов, пожелавших очистить свои святилища. Святи-

*) Госпожа Кастурибай Ганди объявила приговор всем мужчинам и женщинам Индии посредством подходящего случая сообщения, приглашая их спокойно сосредоточиться на созидательной программе учения Ганди.

Ганди не был оставлен в тюрьме в Сабарматии, где условия жизни были довольно хороши. Его перевели сначала в скрытое место, затем в Yeravda, близ Пунэ. Сообщение Н. С. Хардикера Ганди в тюрьме («Unity», 18 мая 1922 г.), которое не удалось проверить, утверждает, что он был посажен в одиночное заключение на общих правилах, без смягчений, и что его слабое здоровье от этого пострадало.

**) Журнал «Unity» напечатал (3 авг. 1922 г.) «Письмо из тюрьмы», направленное против современной цивилизации, которое мне кажется апокрифическим. В нем я вижу подражание прежним страницам из «Hind Swaraj».

лица эти стали достоянием сторожей, пользовавшихся дурной славой и отказавшихся выселиться оттуда. Правительство, на основании закона, взяло их под свою защиту. Тогда, около августа 1922, началась ежедневная пытка Гуру-Ка-Баг *). Акалиты приняли принцип Непротивления. Тысячи из них поместились вблизи святилища, четыре тысячи — в самом Золотом Храме в Амритсаре. Ежедневно сто добровольцев (большинство — призывного возраста, многие служили на последней войне) выходили из Золотого Храма, давши обет не применять насилия ни словом, ни делом и до последнего издыхания находиться подле Гуру-Ка-Бага. Другая часть, в тысячу двадцать пять Акалитов, дала тот же обет. Недалеко от святилища британская полиция ожидала их на мосту, вооруженная длинными пестами с металлическими наконечниками. И ежедневно происходила невероятная сцена, описанная Андрьюсом **), другом Тагора и профессором Сантиникетана: Акалиты в черных тюбанах, украшенных маленькой гирляндой белых цветов, подходят к полицейскому отряду и останавливаются в расстоянии одного метра от них, немые, неподвижные, молящиеся. Полицейские сильно бьют их своими длинными палками. Сикхи падают на землю; если они еще в силах, то встают опять и снова избитые падают, теряя сознание. Андрьюс не слышал ни одного крика, не видел ни одного умоляющего взгляда. Кругом, в некотором отдалении, около сотни зрителей, с лицами, искаженными болью, молча совершают молитву, с выражением восторженности и страдания. «Они напомнили мне, говорит Андрьюс, тень Креста Господня». Англичане, упоминающие об этом событии ***), удивляются, ничего не понимают, с сожалением отмечают, что это не-

*) Гуру-Ка-Баг — святилище (Gurdwara) в десяти милях от Амритсара.

**) The Akali Struggle, появилось в Swarajya, в Мадрасе и отдельно напечатано с датой 12 сент. 1922 г.

***) Manchester Guardian Weekly, 13 окт. 1922 г.

разумное геройство есть блестящая победа «Не-сотрудничества» и что население Пенджаба ею околдовано. Но благожелательный Андрьюс, чей чистый идеализм научил его разгадывать душу Индии, увидел здесь, как Гете в Вальми, начало новой эры: «Новый героизм, которому научило страдание, возрос на этой земле; новая борьба духа»...

Народ, казалось, лучше хранил заветы Махатмы, чем те, на кого возложено было им руководить. Мы видели уже оппозицию, которая объявилась за двадцать дней до ареста Учителя в Комитете Конгресса в Дэли. Она возобновилась, когда 7 июня 1922 г., в Люхнове снова открылся Комитет Конгресса. Яростное недовольство царило по отношению к предложенной Ганди программе терпеливого созидания и ожидания; утвердилось желание вернуться к гражданскому послушанию. Была назначена осведомительная комиссия, которая должна была обследовать страну с точки зрения ее готовности к гражданскому послушанию. Она объехала всю Индию и отчет ее, сделанный осенью, обезоруживал: он не только доказывал невозможность послушания, но половина членов (людей испытанной веры) захотела отказаться даже от Гандистских реформ «Не-сотрудничества», от бойкота политических должностей и оставить партию Swaraj (Гом-Рулъ) лишь внутри государственного Совета, иначе говоря, сделать «Не-сотрудничество» парламентской оппозицией. Так было обстрелено учение Ганди с одной стороны крайними, с другой — умеренными.

Но Индия запротестовала. Всеиндийский Национальный Конгресс на очередном собрании, в конце декабря 1922 г. в Гауа, вновь подтвердил свою верность преследуемому учителю и веру в его учение «Не-сотрудничества». 1740 голосами против 890 было отвергнуто предложение сотрудничать с Государственным Советом. И в конце концов образовалось единодушное к продолжению политической забастовки, с небольшими изменениями в такти-

ческих частностях. Отказано было лишь в бойкоте английских товаров, благодаря разумной заботе не провоцировать антогонизма европейских рабочих. Более резкая, как всегда, мусульманская конференция Калифата огромным большинством приняла этот бойкот.

На этой точке истории должны прервать мы рассказ о великом гандистском движении. Несмотря на некоторые неизбежные уступки, сделанные в отсутствии учителя и его лучших учеников, его ад'ютантов (а именно братьев Али), заключенных, как и он, в тюрьму, оно победно противилось грозному испытанию в первый год после того, как лишилось вождя. И разочарование, в котором признавалась после Конгресса в Гауа английская пресса, ясно указывает на важность одержанной победы *).

*) Статья Бланч Ватсон (Unity, 16 ноября 1922 г.) подводит итог «Преимуществам Индии, извлеченным из борьбы безоружным сопротивлением». Она утверждает, что внутренние доходы Индии уменьшились приблизительно на 75 миллионов долларов, а бойкот английских тканей заставил Англию потерять в год 20 миллионов долларов. Она насчитывает до 30.000 арестованных к этому времени индусов и приводит данные об окончательном развале административного механизма. Но Бланч Ватсон, восторженная поклонница гандизма, видимо, бессознательно преувеличивает успех. Другие показания кажутся менее благоприятными. Они говорят, что движение самоотречения сталкивается с эгоизмом торгового и имущего сословий, и что многие оставленные должности были впоследствии вновь приняты. Было бы дико предполагать обратное. Во всякой революции многие отстают или возвращаются по своим же следам. Весь вопрос в том: глубоко ли это течение. Вот свидетельство, в существенности и беспристрастности которого невозможно усомниться:

«The Manchester Guardian», разумный либерализм которого известен, но который является представителем именно тех, чьим интересам угрожает гандистское «Не-сотрудничество», приступил к тщательному исследованию Индии. Исследование это было опубликовано в ряде статей. Несмотря на вполне естественную антипатию, заметную по отношению к индусскому движению и на предвзятую мысль его обесценить, в ряде статей чувствуется возрастающее беспокойство Англии и острота положения в Индии. Я вкратце изложу заключи-

Что ожидает Индию в будущем? Не окажется ли Англия, наученная ошибками прошлого, достаточно ловкой, чтобы подавить народные порывы? Не сдастся ли народ в своем упорстве? Народ обладает плохой памятью; и я боялся бы, что индусы не долго сохраняют воспоминание об уроках Махатмы, если бы они уже давно не были вписаны в глубины народного сознания. Ибо человек лишь тогда истинно-гениален, когда отвечает стремлениям своего народа, нуждам времени и упованию всего мира.

Таков Махатма Ганди. Учение его, Ahimsa (Непротивление), было начертано в сердце Индии уже две тысячи лет: Махавира Будха и культ Вишну сделали из

тельную статью, напечатанную 16 февр. 1923. (Manchester Guardian Weekly).

Исследователь хочет убедиться в том, что действия Ганди потерпели сильное поражение и что «Не-сотрудничество» должно реорганизоваться на новых началах. «Но, — прибавляет он, — дух «Не-сотрудничества» еще жив. Всюду — если не чистый гандизм, то недоверие к иностранному правительству и горячее желание освободиться от него. Этим духом пропитаны и высшие классы и горожане. Крестьянин (guot) покамест затронут им лишь слегка, но в селах такие условия жизни, что в скором времени и крестьянин его обретет. Армия кажется вполне довольной. Но она набрана по деревням и рано или поздно последует за общим движением. Часто лучшие люди и даже самые умеренные одержимы духом «Не-сотрудничества». Умеренные лишь отвергают революционные пути; но это мнение не разделяется страной. Страна более поддерживает безрассудство сторонников «Не-сотрудничества», нежели осторожность умеренных...» Английский наблюдатель исчисляет время, необходимое для восстания индусских крестьян и отказа платить подати, десятью годами. Но до тех пор положение будет все обостряться. Уже невозможно сдерживать индусов страхом тюремного заключения; этого страха в них больше не существует. Придется перейти к мерам принудительным и более суровым, но и они лишь увеличат ненависть. «Возможно лишь мирное решение вопроса, если таковое еще существует»: необходимо, чтобы Англия взяла на себя инициативу реформ в Индии. Не половинчатых реформ, какие

него содержимое миллионов душ. Ганди в него лишь перелил свою геройскую кровь. Он будил гигантские тени и силы прошлого, уснувшие и заглушенные в смертельной летаргии. Они поднялись при звуке его голоса. Ибо они узнали в нем себя. Он был больше проповедей, он был примером. Он их воплотил. Счастливец человек, который сам есть народ, из могилы вставший и воскресший в его лице.

Но эти воскресения никогда не бывают случайны. И если дух Индии вышел из ее храмов и дебрей, то потому, что принес миру предназначенный ответ, которого мир от нее ожидал.



Ответ этот на самом деле бесконечно перерос Индию. Она одна могла его дать. Она принесла в жертву как свое

были произведены в 1919 году и в течение целого года не могли быть осуществлены. Они не достаточны, а время не терпит. Пусть Англия созовет национальный индусский конвент, где были бы представлены все оттенки интересов и стремлений Индии, — как Ганди и его ученики, так и индусские князья и европейские капиталисты, мусульмане, индусы, персы, евразийцы, христиане, отверженные... Пусть этот конвент вырабатывает конституцию автономной Индии и пусть наметит осуществлению этого Гом-руля. Так, и только так, может быть избегнут разрыв с Королевством.

Я не знаю, в какой мере правительство Индии и английская бюрократия примут этот проект, настойчиво предлагаемый Manchester Guardian'ом и на основании сообщений корреспондента весьма им подчеркнутый. Мне также трудно поверить, чтобы Ганди и участники «Не-сотрудничества» согласились объединиться в одном Собрании с индусскими и европейскими капиталистами! Но в чем я уверен, так это в том, что Индийский Гом-руль уже не представляет из себя вопроса. Так или иначе — он неизбежен. И ничего не поражает меня более, чем отношение англичан к Индии, изменившееся с начала деятельности Ганди. Нет уже более презрения европейцев к индусам. Стараются говорить о них с уважением и клеймят свои бессмысленные насилия, бывшие когда-то их высшим, а иногда и единственным проявлением власти. Индия одержала духовную победу.

величие, так и свое смирение. Он угрожает ей стать для нее крестом.

Кажется, есть вечная необходимость в том, чтобы один народ приносил себя в жертву ради обновления всего мира. Евреи принесли себя в жертву Мессии лишь после того, как носили в себе надежду и питались ею веками и, наконец, не узнали его, когда он, окровавленный, объявился на кресте. Индусы, более счастливые, узнали своего Мессию. И радостно идут они на жертву, которая должна их освободить.

Но, как и первые христиане, все они не понимают истинного смысла своего освобождения. Те давно уже слышали на своей земле «adveniat regnum tuum». Надежды же большинства индусов не простираются дальше индусского Swaraj. И я думаю, что этот политический идеал будет вскоре достигнут. Европа, окровавленная войнами и революциями, истощенная, усталая, лишенная своего блеска в глазах азиата, которого она притесняла, вскоре не сможет уже властвовать в Азиатских землях пробужденных народов Ислама, Индии, Китая и Японии.

Но несколько новых наций, — как бы ни была прекрасна та гармония, которой они обогатят человечество, — этого было бы немного, если бы силы Азии не несли с собой новый смысл жизни, смерти и (что важнее всего) действия ради всего человечества: если бы они не несли опустошенной Европе новое причастие.

Мир одержим вихрем насилия. Буря эта, побивающая ростки нашей цивилизации, для нас не неожиданна. Века грубой националистической гордости, возбужденной идеологией слепого поклонения революции, поощряемого слепой демократией, и, в виде заключения, — век бесчеловечного индустриализма и прожорливой плутократии, рабской механизации, экономического материализма, при котором душа человеческая погибает, задохнувшись, — должны были роковым образом привести к этим нестройным движениям, во время которых исказятся сокровища Востока.

Один народ душил другой во имя тех же принципов, что прикрывали когда то инстинкты и цели Каина. И каждый националист, фашист, социалист, униженный или унижающий класс или народность, — каждый требует для себя закон Насилия, который кажется ему Правом, и отказывает в нем другим. Полвека тому назад сила преобладала над правом. Сейчас дело обстоит гораздо хуже. Сила есть Право. Она его уничтожила.

В этом старом, разрушающемся мире нет ни убежища, ни надежды. Нет света. Церковь дает временно одурманивающие, добродетельные, умеренные советы, она боится, как бы ее не смешали с остальными всемогущими; кроме того, она советует, но не подает примера. Вялые пацифисты неубедительно тавкают; чувствуешь, как они колеблятся: они уверяют нас в том, в чем сами не уверены. Кто их убедит? И как? Как докажется вера? Делом!

Вот «Весть миру», как называет ее Ганди, вот весть Индии: «*Пожертвуйем собой!*»

Тагор повторил ее в чудесных словах *): ибо в этом высоком догмате Тагор и Ганди подают друг другу руки:

«... Я надеюсь, что плодотворно разрастется росток жертвы и готовности к страданию... В этом истинная свобода... Ничто не может быть ценнее — даже национальная независимость. У Запада непоколебимая вера в силу материальных богатств: поэтому, как бы он ни кричал о мире и разоружении, его кровожадность от этого не уменьшится. Так рыба, которую бы оскорбляло давление воды, вдруг захотела бы летать: блестящая мысль! но совершенно невозможно ее осуществление. Нам, Индии, предстоит показать миру, что такое эта истина, не только делающая возможным разоружение, но преобразующая само разоружение в силу. То, что сила духовная имеет больше могущества, чем сила грубая, будет доказано на-

*) Письмо 2 марта 1921 г., напечатанное в Modern Review, май 1921 г.

родом без оружия. Эволюция жизни показала, как постепенно отвергались огромная тяжесть вооружения и уродливый груз плоти, пока не настал день, когда человек сделался завоевателем враждебного мира. Настанет день, когда человек, нищий духом, окончательно освободившийся от вооружения, докажет, что Махатма Ганди, хрупкий телом, лишенный телесных потребностей, сзывает всех кротких и смиренных, чающих и ожидающих в недрах человечества и Индии, униженной и отверженной. Судьба Индии выбрала себе в союзницы Нараяну, а не Нараяни-сену, т. е. силу духа, а не силу плоти. Она то и должна поднять историю человечества из болота материальной суеты до высот борьбы духовной... Пусть мы истощим все фразы, выученные у Запада, но ведь Swaraj (Гом Руль) вовсе не последняя наша цель. Наша борьба — борьба духа. Это борьба за Человека. Мы должны вырвать Человека из паутины, которую он сплел вокруг себя, из его эгоистического национализма. Нам нужно убедить бабочку, что свобода ценнее кокона... В нашем языке нет слова «Нация». Когда мы берем его из другого языка, оно режет наш слух, ибо мы хотим объединиться с Нараянией, существом высшим: и победа наша ничего не даст нам, кроме себя самой, победы ради Божьей вселенной... Если мы сможем выдержать сравнение с сильными, богатыми, вооруженными, пробудив в мире сознание бессмертия духа, весь замок великана Шаира провалится в пустоту. Тогда то Человек обретет истинный Swaraj. Мы, оборванные нищие Востока, должны завоевать свободу для всего человечества».

О, Тагор, о, Ганди, реки Индии, подобные Инду и Гангу, обнимите в двойном объятии Восток и Запад; первый из вас — полный величественного света, второй — трагического героизма, оба вы струитесь от Бога к земле, изборожденной плугом насилия; бросьте на нее Его семя!

«Наша борьба», говорит Ганди, *ведет к тому, чтобы стать друзьями всего мира... Непротивление возникло сре-*

ди людей; оно пребудет всегда. Оно — вестник вселенского мира...»

Вселенский мир далек. Мы лишены иллюзий. Мы видели в течении последнего полувека ложь, низость и зверства человека. Это не мешает нам любить его. Ибо даже у самого мерзкого существует «nescio quid Dei»... Мы знаем все материальные тяготы, нависшие над Европой XX века, губительную неизбежность экономических условий, держащих ее в тисках; за ней — века страданий и заблуждений, покрывшие души современных людей грубой корой, не пропускающей света. Но мы также знаем и чудеса духовной силы. Мы, историки, видели как небеса, темнее наших, порой пронзались ее лучами. Мы, живущие в современности, слышим из Индии звуки барабана Сивы: *«Хозяин пляски потупляет свой пронзительный взгляд и умеряет свой шаг, чтобы спасти мир от возвращения в бездну...»* *).

Истинные «реальные политики» насилия (и революционеры, и реакционеры) осмеивают эту веру и тем доказывают свое незнание самых глубоких реальностей. Пусть не смеются! Эта вера и моя. Мой голос в Европе преследуется и осмеивается, и в моей родной стране нас — небольшая горсть... (Да и горсть наберется ли?). Но если даже я буду одинок — что до того? Вера далека от того, чтобы презирать враждебные действия мира, — ее дело в том, чтобы следить и не соглашаться с ними! Что может быть лучше этого? Ибо вера есть борьба. И наше Непротивление — борьба самая суровая. Путь к миру вовсе не путь слабости. Мы еще более враги слабости, чем враги насилия. Ничто не достигается без силы: ни зло, ни добро. Но лучше — цельное зло, чем ложное добро. Падифизм смертелен для мира: он низок, он лишен веры. Пусть те, кто не верят или сомневаются, — отступят! Дорога к ми-

* Орывок из самого древнего обращения к Сиве, в пьесе Mudra-Rākshasha (400), соч. Vishākadatta.

ру — самоотречение. Таково учение Ганди *). Ему не достаёт лишь креста. Каждый знает, что без евреев Рим не принял бы христианства. А Британское Королевство стоит Римской Империи. Но первый клич брошен. Душа народов Востока была им потрясена до глубин; и содрагания ее передались всему миру.

Великие религиозные события на Востоке подвержены определенному ритму. Имеются две возможности: либо учение Ганди одержит победу, либо оно повторится в веках, — как повторились в веках Мессия и Будда, — до окончательного воплощения принципа жизни в лице смертного полубога, который поведет новое человечество к новому этапу.

Февраль 1923

*) Учение это — так же есть учение сообщества Conscientious Objectors, которое из Англии постепенно распространяется по всем странам Европы.

Проф. Ф. Ринне

О ТОНЧАЙШЕМ СТРОЕНИИ МАТЕРИИ ПО ОБРАЗЦУ КРИСТАЛЛОВ

Перевод с рукописи

1. РЁНТГЕНОВЫ ЛУЧИ

28 лет тому назад Вильгельм Конрад Рёнтген открыл то своеобразное физическое явление, которое он сам назвал X-лучами и которое теперь, в честь этого великого ученого, часто называют лучами Рёнтгена. Они представляют собою тонкий, но пронизывающий зонд, с помощью которого удалось проникнуть в тончайшую структуру вещества и положить начало новой, чрезвычайно важной области знания — учению о тончайшем строении материи или лептологии.

Для получения Рёнтгеновых лучей употребляется приспособление, схематически представленное на рис. 1. Электрическая цепь прерывается запаянной стеклянной трубкой, в которой воздух очень сильно разрежен, и снова продолжается на другом конце трубки. Если через такую Рёнтгенову трубку пропустить мощный электрический ток постоянного направления, то происходит, согласно нашему представлению, следующее: из конца К металлического проводника (катода) вылетает с огромной скоростью очень большое количество чрезвычайно маленьких частичек, так называемых отрицательных электронов; они

вылетают перпендикулярно к концу проводника, обыкновенно имеющему форму небольшой вогнутой сферической поверхности, и с силою ударяются о противоположный конец проводника АК (антикатод), помещенный в фокусе катода, где как раз встречается вся масса частичек. Получается настоящая бомбардировка антикатада электронами, происходящая с такой силою, что пластинка раскаляется, если не принять мер к ее охлаждению. Но самое важное для нас — то, что из антикатада, куда ударяются электроны, исходят таинственные Рёнтгеновы лучи, (рис. 1 R), расходясь во все стороны в виде конуса. Им, как известно, присуща особая способность проходить и через такие тела, которые непрозрачны для лучей обыкновенного света, напр., тонкие листы алюминия или бумага. Другие вещества пропускают их не в такой полной мере, как вышеназванные, и менее всего тяжелые металлы, как, напр., железо и, особенно, свинец и золото. Рёнтгеновы лучи оказывают сильное влияние на фотографическую пластинку; в тех местах пластинки, куда они падают, после проявления обнаруживается почернение, которое тем сильнее, чем сильнее было излучение. Другой, методически возможный, отличительный признак Рёнтгеновых лучей — это их способность «ионизировать» воздух, т. е. делать его проводящим электричество. Таким образом, о силе излучения Рёнтгеновых лучей можно судить по степени почернения фотографической пластинки или по степени ионизации воздуха.

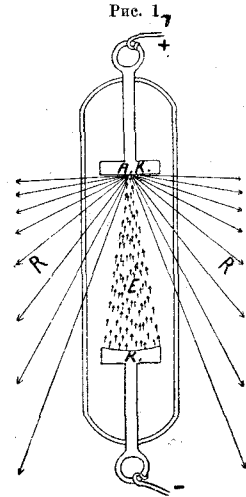


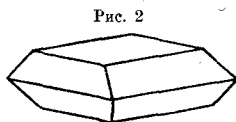
Схема Рёнтгеновской
трубки

II. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТОНЧАЙШЕМ СТРОЕНИИ МАТЕРИИ

Чтобы получить представление о строении вещества, лучше всего начать изучение с наиболее совершенного вида его, именно с кристаллов. Рис. 2 дает пример кристалла, отличающегося закономерно расположенными плоскостями, углами и ребрами; но необходимо отметить, что и крупинки — например, металлов — а также порошкообразные вещества по своей внутренней структуре представляют кристаллические образования, хотя они и не имеют внешне правильной формы.

Голландский ученый Гюйгенс (Huygens), основатель кристаллографии Р. Ю. Гаюи (R. J. Haüy) и его последователи утвердили в науке взгляд, что все кристаллические образования состоят из маленьких невидимых не только простым глазом, но и недоступных сильнейшим увеличительным приборам, частичек, — подобно тому, как уже

греческие натурфилософы Левкипп, Демокрит и Эпикур, допускали это в своем атомистическом учении для всех веществ. В кристаллах эти мельчайшие частички расположены — по представлению особенно Бравэ — в виде так называемой пространственной решетки. Рис. 3 дает о ней общее представление. По направлению осей, частицы правильно повторяются на одинаковых промежутках, точно так же и на плоскостях и в пространственных формах. Все вспомогательные линии, конечно, только вооб-



Кристалл гипса

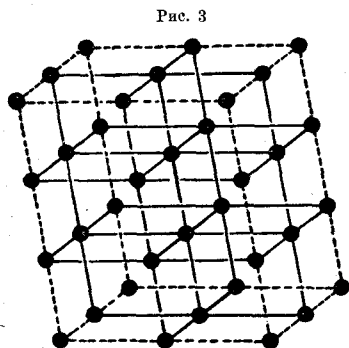


Схема пространственной решетки

но так же и на плоскостях и в пространственных формах. Все вспомогательные линии, конечно, только вооб-

ражаемые. В действительности мы имеем только самые частички, которые удерживают друг друга в правильном расположении. Согласно этому воззрению, каждый кристалл, например, кубик каменной соли, в тончайшем строении своем состоит из таких нежных, правильных образований. Математическая возможность строго определенного расположения частичек, из которых построен кристалл, была достойным удивления образом, исчерпывающе объяснена классическими работами русского исследователя Федорова и одновременно немецким ученым Шёнфлиссом. Такое закономерное расположение частичек отсутствует у жидкостей, например, воды или масла. Частички, из которых они построены, т. е. «атомы» или — при сложном соединении нескольких атомов — «молекулы» — расположены там в хаотическом беспорядке, а не в виде пространственной решетки. Так же обстоит дело и с газами, которые отличаются от жидкостей еще более свободным, разреженным расположением частиц. Ко всему сказанному надо еще добавить, что эти мельчайшие частички нужно мыслить находящимися в непрерывном, быстром движении, хаотическом у газов и жидкостей и более правильно колеблющимися у кристаллов.

Понстине, своеобразно представление о сущности вещей, построенное теоретически философами и натуралистами. Но в настоящее время мы можем с полной уверенностью утверждать, что тончайшее строение вселенной на самом деле таково, каким мы его только что представили. Ключом к этому познанию, которое, очевидно, касается самой глубокой сущности вещей, явились лучи Рёнтгена.

III. ОПЫТ ЛАУЭ И ЕГО СОТРУДНИКОВ

Каждому ясно, что для исследования очень маленьких частичек нужны и очень тонкие средства. Для того, чтобы разобрать отдельные песчинки, мы прибегаем к по-

мощи иголки. То же самое имеет место и по отношению к свету и его применению к исследованию мельчайших частичек. Обыкновенный дневной свет состоит из тонких колебаний, на которые, как известно, могут оказать влияние очень маленькие тела, что бывает хорошо заметно, например, когда через затуманенные стекла окна смотришь на какой-нибудь свет на улице. Влияние мельчайших капелек воды на свет сказывается в том, что появляются цветные кольца. Это так называемая диффракция света. Но по отношению к атомам материи обыкновенные световые

Рис. 4

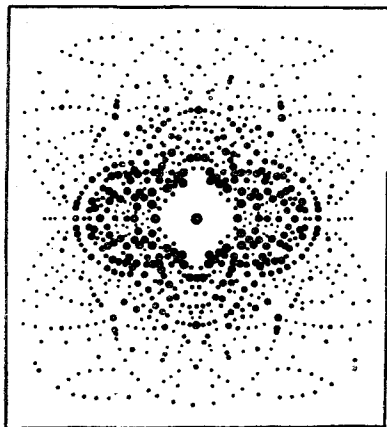


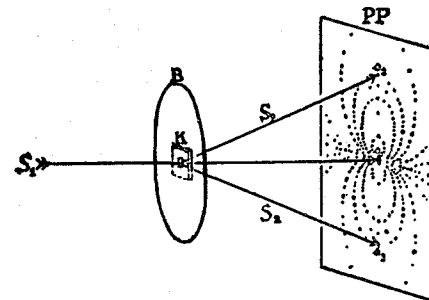
Схема опыта Лауэ

лучи слишком грубы по величине своих колебаний; и те мельчайшие частички, из которых построены различные вещества, на них не действуют. Рентгеновы же лучи, которым приписаны колебания в тысячу раз более тонкие, могли бы — так решил молодой мюнхенский ученый Лауэ — оказаться для этого подходящими. Он побудил своих друзей Фридриха и Кнппинга произвести опыт, взяв

для этого кристалл, и то, что в течение более чем двух тысячелетий составляло предмет размышлений всех естествоиспытателей, — существование атомов, — в 1912 году было доказано. Рентгеновский луч, вступавший в кристалл, попадал под влияние нежных, расположенных в виде пространственной решетки частичек, подобно тому, как вышеупомянутый световой луч — под влияние капелек воды; он распадался при этом на большое число отклоненных

лучей, которые, будучи направлены на фотографическую пластинку, давали почернение, обнаруживавшее после проявления те точки, в которые падали лучи. На пластинке получается «диаграмма Лауэ», — как называет ее автор настоящей статьи, — открывающая перед нашим умственным взором полную картину расположения атомов в данном веществе.

Рис. 5



Пример диаграммы Лауэ. Кордиерит

в виде пространственной решетки, и, наконец, опыт этот подтвердил и окончательно установил, что атомы — действительные образования и существуют так же несомненно, как звезды в небе.

IV. ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

После того, как опыт Лауэ с несомненностью показал, что кристаллы имеют закономерно правильную структуру и состоят из атомов, расположенных в виде пространственной решетки, многие ученые посвятили себя этому вопросу и применили упомянутое выше общее положение к изучению особенностей структуры кристаллических тел. Существенную помощь этому изучению оказали некоторые разъяснения и упрощающие представления, выработанные

главным образом английскими учеными W. H. и W. L. Bragg. Они нашли, что каждый луч, который в красивом узоре диаграммы Лауэ запечатлевается в виде точки, является отражением одной из плоскостей в кристалле, образованных совокупностью атомов. Таким образом, исходя из этого упрощенного представления, можно было определить положение не только плоскостей в кристалле и линий их пересечений, но и отдельных атомов. Нам приходится ограничиться здесь этими краткими указаниями. Однако, для интересующихся ближе методикой этого вопроса пусть будет добавлено, что W. H. и W. L. Bragg с большою точностью определяют, при помощи ионизационной камеры как направление, так и интенсивность вторичных лучей, получающихся из того монохроматического Рентгенового света, которым они пользуются. В дальнейшем Р. Деуе и Р. Scherrer в Геттингене применили этот способ к кристаллической пыли. Тем самым достигнута была независимость от хорошо образованных кристаллических форм, и вся обширная область всевозможных веществ, имеющих применение в технике, как, например, порошкообразных химических осадков, мелкозернистых металлов и т. д. стала доступна рентгенографическому исследованию*).

V. ПРИМЕРЫ СТРОЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Из большого разнообразия изученных лептологических веществ возьмем только несколько наиболее важных примеров, прежде всего железо. Из случайных наблюдений, сделанных на особенно удачных образцах, известно, что железо кристаллизуется в маленьких кубиках. Но обыкновенно эти зернышки железа бывают недостаточно ясно и правильно ограничены и к тому же настолько малы, что простым глазом нельзя заметить ничего особенного. Лучи же Рентгена раскрыли перед нами всю тончайшую структуру этого чрезвычайно важного металла. Главным образом, благодаря исследованиям шведского ученого Westgren'a стало известно, что атомы железа в каждой частице его при обыкновенной температуре расположены так, как вершины куба (Рис. 6). И здесь тоже все линии, конечно, только вспомога-

тельные, проведенные для большей ясности представления. В действии, атомы железа висят в пространстве так, что они образуют вершины воображаемого куба. К ним присоединяется еще один атом, расположенный в центре этого куба. Расстояния между этими атомами также хорошо известны. Масштабы, которые приходится вообразить себе для этого, чрезвычайно малы: $1/1000$ мм. = 0,001 мм. в данном случае мера слишком грубая; даже и $1/1.000.000$ = 0,000001 мм. тоже — еще непригодна: и только, если мы возьмем десятую часть последней величины, т. е. дойдем до десятиллионных долей миллиметра (0,0000001 мм.), мы придем к верному размеру величины. Углы кубиков, из которых построено железо, на самом деле отстоят друг от друга на 0,000.000.285 мм.; другими словами, вдоль ребра железного кубика длиной в 1 мм. располагаются $3\frac{1}{2}$ миллиона атомов железа. Отсюда нетрудно вычислить, что в одном кубическом миллиметре железа расположено 86 триллио-

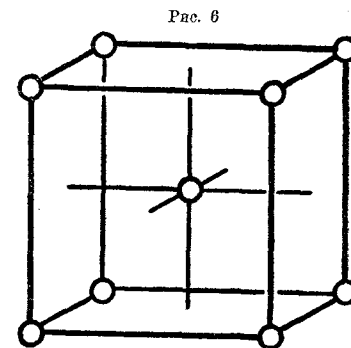
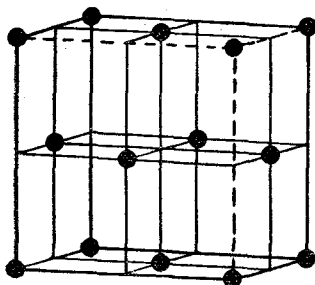


Рис. 6
Строение чистого железа

*) Подробнее смотри в книге Rinne: „Einführung in die kristallographische Formenlehre und Anleitung zu kristallographisch-optischen sowie röntgenographischen Untersuchungen“. Leipzig, 1922, 4. u. 5. Auflage.

нов атомов. Те мельчайшие кубики, из которых построено железо, таким образом, находятся далеко за пределами видимости. Надо представить себе, что группы атомов, правильно расположенные в виде пространственной решетки, должны миллионы и миллионы раз присоединяться друг к другу, чтобы создать количество вещества, видимое с помощью увеличительного прибора и, наконец, и простым глазом.

Рис. 7



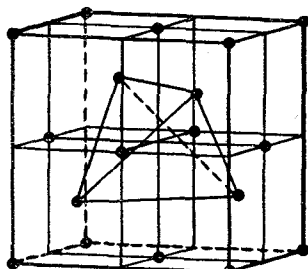
Строение меди, серебра, золота

Другие вещества имеют и другое строение. Рис. 7 относится, например, к меди, серебру и золоту. И они построены по типу куба, но с атомами не только на вершинах куба, а также и посередине граней. Они отличаются друг от друга, помимо рода атомов, размерами первичных кубиков.

Весьма замечательно строение алмаза (рис. 8). Он состоит только из атомов углерода, расположенных точно также, как и атомы меди, на вершинах и посередине граней первичных кубиков. Но к ним присоединяются еще по 4 атома, расположенных внутри первичного кубика и образующих вершины изящного маленького тетраэдра.

У других веществ строение часто бывает еще более запутанным, в особенности, когда в строении вещества принимают участие разного рода атомы. В таком отношении укажем на поваренную соль (рис. 9). Она пред-

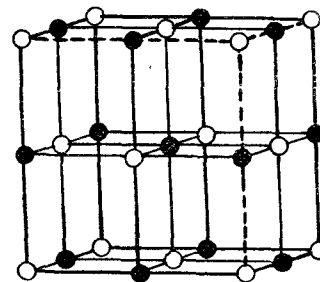
Рис. 8



Строение алмаза

ставляет собою химическое соединение атомов натрия и хлора. Его первичный кубик, имеющий длину ребра в 0,00000056 мм., обнаруживает такую структуру: атомы натрия расположены в вершинах куба и посреди его граней; атомы же хлора занимают середину ребер, и один атом хлора расположен в центре куба.

Рис. 9



Строение поваренной соли

В этих удивительных результатах, полученных лептологией перед нами такое завоевание человеческого стремления к познанию, чудеснее которого нельзя себе даже и представить. Поэтому взоры всех естествоиспытателей в настоящее время в значительной мере направлены на кристаллы — образец строения всех веществ. К тому же, это исследование строения вещества дает прекрасное основание для объяснения свойств всевозможных важных материалов, в чем в высокой степени заинтересована не только наука, но и техника. О некоторых сторонах этого вопроса речь впереди. Для лучшей оценки значения всего вопроса, необходимо принять во внимание общие положения учения о строении вещества, созданные настойчивыми размышлениями выдающихся физиков, как Helmholtz, Bohr, Rutherford и пр.

VI. ЧАСТИЦЫ ПЕРВИЧНОГО ВЕЩЕСТВА И СВЯЗЬ МЕЖДУ НИМИ

Все многообразие вселенной со всеми ее солнцами и планетами, с луною и землею и всем богатством проявлений природы, будь то воздух, вода и камни, растения, животные и человек, а также все бесконечное разнообразие искусственно полученных веществ — все это может быть

сведено к одному единственному первичному веществу и меняющейся связи его частиц, так называемых электронов. Из него, из этого электрического первичного вещества, построено, как бы странно это ни звучало, по воззрениям современной науки все существующее. Электроны эти известны в двух состояниях: заряженные положительно и отрицательно, причем свободны только последние.

Проследуем по всем физико-химическим ступеням, от этих электронов до кристалла. Первую ступень в соединении электронов между собой составляют атомы. Они характеризуются ядром, построенным из положительных и отрицательных электронов, с избытком первых. Это ядро, следовательно, заряжено положительно. В различном строении ядра, в различных зарядах у атомов разных веществ, современное естествознание видит ключ к пониманию своеобразных свойств различных веществ. Крошечные ядра с единичным зарядом образуют водород, с двумя зарядами — гелий, с тремя зарядами — литий, с четырьмя зарядами — бериллий, с пятью — бор, с шестью — углерод, с семью — кислород и т. д. до 92-х зарядов у урана. Таким образом, у каждого элемента есть свой порядковый номер, свое нумерованное место в ряду атомов. У фосфора, например, число зарядов равно 15-ти, и таков же номер его места; у железа — 26, платины — 78, золота — 79, урана — 92, — по числу положительных зарядов соответственного ядра. Все элементы состоят из одного и того же первичного вещества — электронов; различаются они только числом электронов и соединением их, — структурой, как выражаются техники. Подобное представление о строении атомов снова воскресило старую мысль о превращении одного элемента в другой, — например, получение золота из железа. И на самом деле удалось уже разложить некоторые элементы, получив из них другие, например, от бора, азота, фтора, натрия, алюминия и фосфора отщепить водород. С точки

зрения народного хозяйства эти превращения, правда, пока не представляются еще выгодными, так как они требуют затраты колоссальных количеств энергии; но у так называемых радиоактивных тел, напр., урана, атомы распадается сами собою.

К заряженному одним положительным зарядом атомному ядру водорода может присоединиться отрицательный электрон; в таком случае получается нейтральный атом, в то время, как самое ядро заряжено положительно, т. е. представляет из себя, как говорят, положительный, ибо существует далее возможность, прибавить к нейтральному атому еще отрицательный электрон; в таком случае мы имеем уже дело с отрицательным ионом. Точно так же и атомы других веществ могут быть нейтральными или же заряженными положительно или отрицательно.

Единицею следующего порядка в веществе является молекула; она представляет собою соединение нескольких атомов и, следовательно, уже более сложную систему из нескольких, связанных между собою, атомных ядер. Таких комбинаций из атомов существует, — в противоположность к простым веществам, которые стоят на более низкой структурной ступени, — бесконечное множество. Это нетрудно понять, если представить себе, что 88 известных нам атомов различного рода могут соединяться между собою в самых различных количествах и сочетаниях.

Видимые вещества представляют совокупность бесконечно большого числа атомов и молекул. Даже в наиболее разреженном состоянии вещества, у газов, в одном кубическом сантиметре его, — т. е. в пространстве величиною, приблизительно, с наперсток — помещается более 27 триллионов молекул. Плотнее их расположение — а, следовательно, больше число — у жидкостей и еще больше, в общем, у аморфных твердых тел.

Наконец, высшую ступень неорганической материи представляют кристаллы. Здесь частички, принимая расположение пространственной решетки, о которой речь шла выше, образуют сложный индивидуум с трехмерной периодичностью свойств. Кристаллы, таким образом, являются наиболее сложно и строго организованным звеном в общем структурном ряду, протягивающемся к ним от электронов через атомы и молекулы. Подобное строение требует того, чтобы собралось, по крайней мере, столько однородных атомов, ионов или молекул, чтобы могла образоваться элементарная форма (напр., изображенная на рис.6). Для простого параллелепипеда для этого нужно 8 частичек. В рентгенографической практике, действительно, имеются уже примеры кристаллов, образованных очень незначительным количеством атомов: кристаллики золота построены приблизительно из 30 атомов.

Двойственная природа кристаллов сказывается в том, что к ним можно притти не только вышеупомянутым путем, идущим через атомы, но также следуя по ряду превращений веществ — от газов к жидкостям и кристаллически твердым телам.

ВII. СИЛЫ ЛЕПТОНИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

Какова природа тех сил внутренней связи, которые сдерживает мир и придают ему прочность, не подлежит более никакому сомнению: это силы электрические. Нежные частички, из которых построено все вещество, надо полагать, взаимно притягиваются. Но так как они не сближаются вполне, то, вероятно, они на самых близких расстояниях отталкиваются. Таким образом, они удерживают друг друга в известном закономерном расположении, что яснее всего выступает в кристаллах, являющих образец строения материи вообще. В этом отношении припомним еще раз тончайшее строение поваренной соли,

представленное на рис. 9. Исходя из приведенных выше соображений, мы должны, предположить, что в тех точках, где изображены атомы натрия и хлора (последние обозначены черными кружками), — в действительности имеются атомы соответствующей структуры. т. е. ядра и электроны, и в данном случае свойства поваренной соли заставляют химиков признать, что тут имеются ионы. Таким образом, мы представляем себе, что атомы натрия — это положительные, а атомы хлора — отрицательные ионы, которые удерживают друг друга в правильном расположении. И если мы вспомним далее, что каждая из точек рисунка 9, обозначающая атом, на самом деле есть лишь тот центр, вокруг которого совершается все сложное движение внутри атома, то каждый из нас без сомнения признает, что в тончайшем строении материи перед нами бесконечно малый мир, полный чудес.

Чтобы понять, как это сложное строение реагирует на посягающие на него внешние разрушительные силы, представим себе, что каждый атом имеет определенную «сферу влияний», и что вся пространственная решетка разбита на такие «атомные участки». Таким образом, при правильном расположении, вся система находится в устойчивом равновесии.

VIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА

Сжимаемость вещества легко объясняется с точки зрения учения о микроструктуре вещества. Речь идет о сближении частичек, из которых оно построено. Вполне понятно также, вследствие тех отталкивающих сил, которые проявляются при очень большом сближении частичек, что уменьшение объема твердых тел возможно только в очень небольших пределах. Очень незначительно также в общем, и влияние растяжения: можно достигнуть лишь самого ничтожного измерения расстояния между

атомами, но затем наступает разрыв, и связь оказывается нарушенной.

Влияние нагревания, соответственно этому, тоже приходится объяснить изменением расстояния между атомами, причем, вообще говоря, происходит увеличение этого расстояния. Однако, в кристаллах, благодаря их своеобразному строению, наблюдается при нагревании, по крайней мере, в одном направлении, сжатие. Например, кристалл известкового шпата расширяется в одном, главном, направлении, в других же, перпендикулярных к нему направлениях, он одновременно сжимается. Кроме того, повышение температуры вызывает увеличение движения атомов, которое может сделаться настолько значительным, что частички теряют свое правильное расположение, разрушают пространственную решетку и превращаются в беспорядочную массу. Это процесс таяния, представляющий переход от кристаллически твердого состояния к жидкому. При отвердевании же, например, при застывании расплавленной массы железа, атомы располагаются в пространственную решетку.

Чрезвычайно важное техническое значение имеет способность кристаллически твердых тел, как например, ковкое железо, медь, серебро, золото изменять свою форму при соответствующей обработке, т. е. их пластичность, которая особенно проявляется при высокой температуре. Это ведь и составляет основуковки, вальцевания, прессования, вытягивания проволоки и многих других способов обработки материалов. И это чрезвычайно важное свойство тоже объясняется с точки зрения тончайшей структуры металлов. Кристаллографам давно уже известно, что, напр., в каменной соли существуют строго определенные плоскости скольжения, вдоль которых части кристалла могут сдвигаться друг относительно друга, не теряя связи между собою. Такою плоскостью в кристалле каменной соли является пл. ТТ в рис. 10. Из-

вестно также, что и в известковом шпате существуют правильно расположенные плоскости, вдоль которых может происходить сдвиг без нарушения общей связи, но, странным образом, только до вполне определенного предела. Эти обстоятельства играют важную роль в пластичности металла; они делают возможной обработку его в твердом состоянии.

Но с другой стороны, многие вещества обладают и очень опасным для техники свойством — хрупкостью. Во многих случаях она кристаллографически объясняется существованием плоскостей спайности. Явление это с особенной ясностью проявляется в каменной соли и известковом шпате. Кусок каменной соли, например, легко распадается на кубики. Рис. 11, объясняет это явление с точки зрения тончайшего строения данного вещества. Из

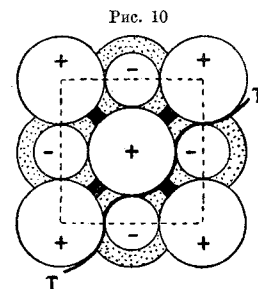


Рис. 10
Каменная соль. Перемещение сфер отдельных атомов, связанное с явлениями пластичности

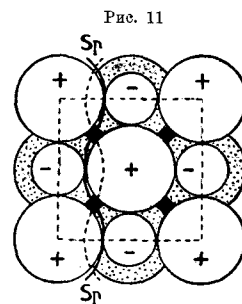


Рис. 11
Каменная соль. Перемещение сфер отдельных атомов, связанное с явлениями хрупкости

а отрицательные с положительными, — и связь сохраняется.

него видно, что давление, которое стремится сдвинуть расположение частичек по направлению Sp, сближает положительные атомы с положительными и отрицательные с отрицательными. Частички этому сопротивляются, и как бы под влиянием электрического взрыва, связь их нарушается: кристалл распадается на части. Наоборот, при упомянутом выше сдвиге, изображенном на рис. 10, положительные атомы в каменной соли остаются в соприкосновении с отрицательными,

Если теперь принять во внимание, что повышение температуры увеличивает пластичность вещества и уменьшает его способность распадаться по плоскостям спайности, то делается понятным, что, исходя из того или иного свойства вещества или из совокупности их, можно найти для какого-нибудь технически возможного материала наиболее выгодные условия для его обработки.

Чрезвычайно важно в этом отношении еще одно замечательное свойство кристаллических веществ, — именно стремление отдельных кристаллов увеличиваться в объеме, присоединяя все новые элементарные пространственные решетки параллельно к первоначальным. Это так называемая «кристаллизация».

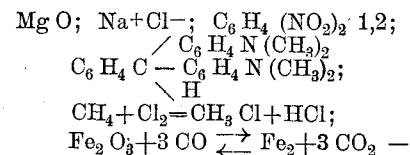
Она в высокой степени присуща железу. Каждому знакомому с практикой хорошо известно, что ковкое железо при действии высокой температуры становится крупно-зернистым и поэтому хрупким. При умелом выборе степени нагревания, и ведя обработку в пределах более низких температур, можно однако избежать появления этой крупнозернистости. В природе мы находим подобные примеры, напр., в мраморе: крупнозернистый мрамор образуется из обыкновенного плотного известняка путем той же перекристаллизации. В тех местах, где во время вулканических извержений расплавленные массы прорывают земную кору, они, сильно нагревая известняк, превращают его в благородный мрамор.

IX. КРИСТАЛЛОГРАФИЯ, КАК МАКРОСТЕРЕОХИМИЯ

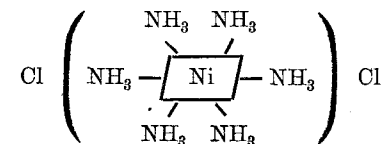
1. Задача познания химической природы вещества и его превращения, в сущности, сводится к тому, чтобы узнать род и характер расположения атомов, из которых построено данное вещество, а также и изменения, происходящие в этом расположении. Этой цели служит обычное сокращенное изображение химических

процессов при помощи формул, уравнений и других схем. При недостатке в более глубоком понимании явлений, а также и в виду более быстрого их написания, они являются лишь упрощенными символами, дающими большею частью только плоскостное изображение.

В таком смысле, такие символы как, например,



представляют из себя ничто иное, как упрощенные проекции микроструктурных схем. В некоторых случаях, несколько больше приближаются к пространственному изображению, когда, согласно Вернеру, пишут:



или когда, следуя Бору, строят стерео-физико-химические схемы, выражающие кинетические условия. Рис. 12

Рис. 12

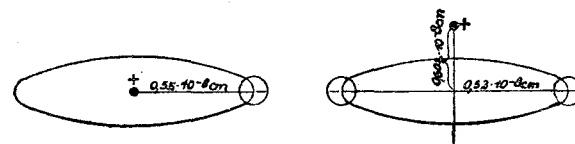


Схема атома и молекулы водорода

дает пример подобной схемы, относящейся к водородному атому и водородной молекуле.

2. Хорошо обоснованные во всех отношениях и, следовательно, безупречные стереохимические формулы научила строить только рентгенологическая кристаллография. Значительное число известных уже в настоящее время микроструктурных схем, которые в течение последнего десятилетия получены указанным Лауэ способом, однако, не должно послужить поводом к неверному заключению, что такие пространственные формулы получаются легко; успех этот является результатом большой научной работы. Тем более нужно приветствовать каждую новую точку опоры в этих кропотливых и трудных изысканиях. Большую помощь оказывает им учение о кристаллических формах, которое в известном смысле, представляет из себя ничто иное как макростереометрию. Это не нужно понимать так, как будто кристалл представляет из себя большую, но по форме совершенно подобную малой, молекулу. Такое толкование было бы неверным, так как у кристалла отсутствуют два существенных признака, свойственные молекуле: во-первых, постоянная форма и во-вторых, постоянный вес. Но кристаллическое образование является стереохимическим символом в том смысле, что оно является доступным для глаза и потому легче поддающимся изучению отпечатком тончайшего строения вещества. Главные грани кристалла представляют из себя совокупность плоскостей элементарных кристаллов, густо покрытых сетью атомов: благодаря этому скоплению вещества, и достигается устойчивость граней. Главные же ребра кристалла суть направления наиболее плотных рядов атомов, и симметрия его формы — символ расположения его частиц. Рис. 9, изображающий знакомое нам уже строение каменной соли, ясно показывает это.

Учение о кристаллических формах, таким образом, действительно является преддверием в область стереохимии (пока лишь твердых веществ), а следовательно, частью химии. Читатели, близко интересующиеся этим

вопросом, найдут более подробные сведения о получении столь важное значение мире кристаллических форм в вышеупомянутой книге автора этой статьи *).

Х. НЕКОТОРЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СТРУКТУРЕ КРИСТАЛЛОВ

При взгляде на стереохимические формулы кристаллических веществ, напр., каменной соли (рис. 9), у химика возникают многие важные вопросы. На некоторые из них мы здесь вкратце укажем.

1. Прежде всего это естественное стремление к тому, чтобы построенные схемы соответствовали аналитическому составу вещества. Это так и есть. Конечно, при этом нужно верно рассчитывать с микроструктурной точки зрения. Так, например, схема для каменной соли Na Cl , в ее приведенной выше структурной единице, содержит 14 Na и 13 Cl, что, казалось бы, приводит к неверной формуле $\text{Na}_{14}\text{Cl}_{13}$. Однако, надо принять во внимание, что каждый Na, расположенный в вершине куба, в общей структуре принадлежит восьми смежным кубам и, следовательно, означает лишь $\frac{1}{8}\text{Na}$. Соответственно этому, каждый Cl, расположенный на грани (т. е. на разделе двух кубов), приходится считать за $\frac{1}{2}\text{Cl}$; каждый Cl, лежащий на ребре — за $\frac{1}{4}\text{Cl}$, атом же хлора, лежащий внутри куба — за целый. Таким образом, получается $(8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2})\text{Na}$ и $(12 \cdot \frac{1}{4} + 1)\text{Cl} = \text{Na}_4\text{Cl}_4$ так, как на самом деле требует формула Na Cl .

2. Чрезвычайно важно с точки зрения общей химии то, что в подобных соединениях часто возможны вариации, т. е. замена одного рода атомов другими, родственными ему, т. е. подобными ему по строению, без нарушения общего равновесия. В настоящем случае, в соедине-

*) См. стр. 340.

нии NaCl возможна замена атомов хлора хотя бы атомами брома. Это и служит объяснением с точки зрения микроструктуры замечательного явления, называемого «смешанными кристаллами», которые часто встречаются в природе, например, в полевых шпатах, слюдах, авгитах, роговых обманках, оливинах, и которые и в технике металлов играют очень значительную роль. Разумеется, и физические свойства меняются при такой замене одних атомов другими. Часто она сильно влияет на оптические свойства вещества. Особенно важно с технической точки зрения увеличение твердости смешанных кристаллов по сравнению с простыми. Ведь уже давно известно, что, например, сплавы серебра и меди тверже, чем чистые металлы, — обстоятельство, находящее применение в технике изготовления монет.

Помимо изложенных только что обстоятельств, коснемся еще двух основных вопросов химии кристаллических веществ. Первый касается сохранения молекул в кристалле. В химии газов и жидкостей понятие молекулы является ядром всех научных рассуждений, и поэтому естественно поставить вопрос о сохранении цельности молекул и в кристаллически-твердом состоянии. Что в самих кристаллах нельзя видеть «гигантскую молекулу», уже было пояснено выше. На основании подобных же, перечисленных там причин, нужно отклонить и мысль, рассматривать как молекулу те элементарные кристаллы, из которых построено вещество, подобно представленному на рис. 9. И в последнем случае речь ведь идет не об одинаковых по форме и весу индивидуумах, а о более или менее произвольных частях, вырезанных из общей системы тончайшего строения. Поэтому ответ на поставленный вопрос, очевидно, приходится искать в совершенно иной плоскости. Надо принять во внимание, что в кристалле перед нами конечное звено целого структурного ряда, протягивающегося к нему от электронов через атомы и молекулы,

и что каждое последующее звено этого ряда целиком принимает в себя предыдущее. При построении атома электроны являлись, в известной степени, тем материалом, из которого было построено ядро, в дальнейшем, атомы, группируясь, давали молекулы. Молекулы, в свою очередь, соединяются в единицу высшего порядка. То же самое мы имеем, в общем, и в случае объединения частиц тончайшего строения в кристалл — агрегат высшего порядка. Как атомы H сливаются в новый структурный тип H_2 и при этом теряют свою индивидуальность (потому что решить, какие ядра и электроны (рис. 12) принадлежали раньше одному атому, уже невозможно), так и кристалл образуется из своих атомных и молекулярных компонентов. Вопрос о молекулах в кристалле предполагает неправильное понимание соотношения вещей. Такое отклонение понятия молекулы в кристалле, однако, конечно, не исключает того, что прежние структурные единицы более или менее ясно выступают в новом комплексе чаще всего в виде ядер, в полном соответствии с известным химическим воззрением, считающим несомненным внутреннее расчленение — особенно органических веществ — на структурные группы, как части формул. Во многих рентгенографических примерах такие химические и в то же время структурные радикалы (или лентилы) достаточно ярко отмечены; так, напр. тончайшее строение известкового шпата ясно указывает на существование как бы клубков, — атомов Ca с одной стороны и группы CO_3 с другой. — Однако, связь между отдельными частями, проявляющаяся на границе таких ядер, не может быть иного характера, как атомного, ионного, или даже молекулярного. Химические действия, передаваясь от одной частицы к другой, образуют прочно соединенные структурные группы, окруженные силовым полем, которое связывает группы между собою.

3. Последнее затрагивает второй химический вопрос, имеющий высокое значение, именно вопрос о валентности

частичек тончайшего строения в кристаллическом состоянии вещества. Алмаз обладает строением, находящимся в полном согласии с химической четырехвалентностью углеродных атомов: каждый из них в тончайшей структуре алмаза находится посреди тетраэдра, вершины которого отмечены четырьмя атомами углерода. Четырехвалентность углерода, таким образом, как бы распределяется, согласно формуле $C(C_4)$, по четырем направлениям, сквозь кристалл. У каменной же соли, напротив, дело не обходится без разделения на части одновалентности, приписываемой натрию и хлору. Как показывает рис. 9, средний атом хлора тесно окружен 6-ю атомами натрия (спереди, сзади, слева, справа, сверху и снизу в элементарном кристалле и продолжении его пространственной решетки). То же самое можно было бы соответственным образом наглядно показать и для атомов натрия. Таким образом, формулы валентности для каменной соли были бы $Na(Cl_6)$, $Cl(Na_6)$, т. е. обнаруживается разделение одновалентности на $\frac{1}{6}$ валентности. У графита, как показывает стереограмма, полученная Девуе и Scherger'ом, наблюдается разделение его четырехвалентности на $3 + 1$ валентность, т. е. неравномерное расчисление валентности, что, собственно, не чуждо и молекулярной химии, так как векторы валентности углерода, например, в молекуле CH_3Cl , без сомнения, распределяются не равномерно, а соответственно массе H и Cl, на группы $3 + 1$.

Векторы валентности являются в этом смысле главными направлениями силового поля, которое окружает частички, подобно постепенно сходящему на нет анизотропному ореолу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании всего изложенного, а также и многих других обстоятельств, о которых здесь не приходится

говорить*), нельзя не признать, что успехи учения о тончайшем строении веществ дают возможность глубоко заглянуть в природу материи.

Задача будущего состоит в том, чтобы расширить опытный материал, углубить познание и извлечь из этого вопроса те практические применения, которые обогатят народное хозяйство. Ничто не оказывает благу человечества такой услуги, как познание основ, на которых строятся все явления природы. И нет сомнения в том, что открытый Лауэ метод исследования тончайшего строения материи при помощи Рентгеновых лучей является одним из главных путей, ведущих к познанию природы.

*) Сравни F. Rinne: „Das feinbauliche Wesen der Materie nach dem Vorbilde der Kristalle.“ 2. u. 3. Aufl. 1922. Berlin Verlag Bornträger.

Д-р Ганс Презент

ЭКСПЕДИЦИИ НА ЭВЕРЕСТ 1921—1922

(Перевод с рукописи)

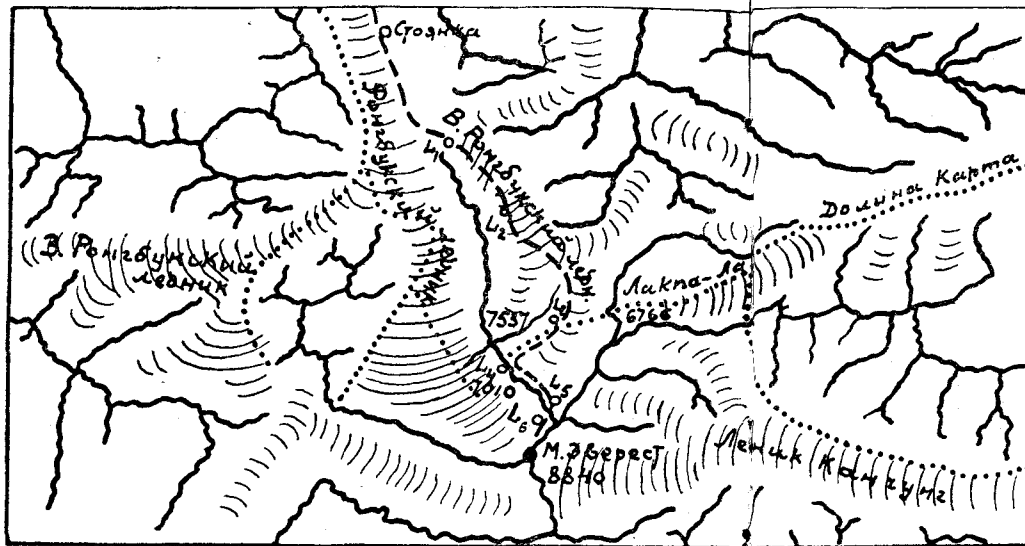
За два последних года ни одна горноспортивная географическая экспедиция не вызвала такого живого интереса, как две английские экспедиции, целью которых была попытка восхождения на гору Эверест с его непобежденной еще человеком самой высокой на всем земном шаре вершиною в 8840 метров. Из телеграмм, газет и сообщений участников экспедиции, напечатанных первоначально в специальных органах «Alpine Club» и «Royal Geographical Society» в Лондоне, стало известно, что полное восхождение не удалось ни первой экспедиции летом 1921 года, ни второй — летом же 1922 года. После того, как первая блестяще выполнила свою задачу исследовать окрестности горы Эверест и установить наиболее удобный путь для восхождения, второй, еще лучше снаряженной экспедиции, состоявшей из тринадцати англичан и нескольких сот туземцев с вьючными животными, можно было, пользуясь опытом первого путешествия, произвести три попытки восхождения на самую вершину. И если и не удалось вполне овладеть ею, то существовавший до тех пор рекорд высоты на суше в 7500 метров, установленный герцогом Абруцским в горах Каракорума, был побит тем, что Финш и полковник Брюс, с помощью кислородных приборов, достигли высоты в 8321 метр. При-

близительно в 500 метрах от цели им пришлось отказаться от борьбы, совершив небывалый доселе горноспортивный подвиг.

Раньше, чем англичане произведут, быть может, этим летом третью попытку восхождения на Эверест, стоит отдать себе отчет в том, что было сделано до сих пор и оценить значение и возможности, открываемые этими двумя полу-научными, полу-спортивными предприятиями.

Прежде всего, надо ясно представить себе те огромные трудности, с которыми связано восхождение на горный массив Эвереста. Они заключаются, во первых, в физико-географическом положении горы, во-вторых, в политико-географических условиях окружающих стран и, в третьих, в тех границах, которые ставят человеческому организму физиологические условия.

Гора Эверест является самой высокой вершиной мощного горного хребта, называемого Гималаями, которые представляют одно звено в обширном горном поясе, многократными изгибами прорезающем весь материк Европы и Азии, как Анды и Кордильеры западную часть Нового Света. Между глубокими долинами Инда на западе и Брампутры на востоке Гималайские горы тянутся на расстоянии, приблизительно, в 2400 км. в виде высокой, отвесной стены, замыкающей с севера обширную долину Ганга и Пятиречья передней Индии. Длина этой мощной горной цепи соответствует, примерно, расстоянию от Берлина до Самары. Лишь немногие, трудно проходимые долины позволяют проникнуть с юга в эту покрытую снегами и льдами страну с ее многочисленными вершинами высотой более, чем в 6000, 7000 и 8000 м. С севера к Гималайскому хребту примыкает пустынное и тоже перерезанное многочисленными горными хребтами Тибетское плоскогорье, средняя высота которого соответствует самым высоким вершинам Альп. Только через это плоскогорье до некоторой степени возможен подход к Эвересту и то лишь далекими обходами, требующими караванного пути в не-



Горная группа Монт Эвереста 300000 высота в м.
 Путь экспедиции 1921г.
 ---- " " 1922г.

сколько недель. Особенные препятствия начинаются на высоте в 5000—6000 м. Гигантские глетчеры, по сравнению с которыми известные Альпийские ледники представляются карликами, с трещинами, через которые невозможно перебросить мостки, отвесные стены в тысячу и более метров высотой, покрытые сплошными льдом, склоны и уступы и сотни грозящих со всех сторон лавин пугают того, кто осмеливается проникнуть в эту нетронутую горную страну. Из характерных метеорологических явлений упомянем только о леденящих северо-восточных ветрах, которые свирепствуют на этих высотах и заста-

3. Ронгбукский ледник
 Ронгбукский " "
 В. Ронгбукский " "
 Чанг-Ла
 М. Эверест
 Лакпа-Ла
 Ледник Карта
 Долина Карта
 Ледник Кангунг
 Стоянки:

о L1
 L2
 L3 (вдоль линии
 L4 ---)
 L5
 L6

вляют путешественников коченеть, и о столь важном для Индии юго-западном муссоне. Ветер этот возникает в центральной Азии, благодаря тому, что во время жаркой летней поры обширные пустынные области Средней Азии нагреваются сильнее, чем вода Индийского океана. Над раскаленной сушей воздух поднимается вверх, заменяясь притекающими с юга-запада более прохладными воздушными массами. Так как они идут с океана, они содержат большое количество влаги. Ударяясь о могучую стену Гималаев, они выкидываются вверх и частью переходят через нее. При этом они выделяют большое

количество осадков, и потому Бенгалия и Ассам, расположенные вдоль южных склонов Гималайских гор, представляют из себя наиболее богатые осадками местности земного шара, вследствие чего мы здесь находим необычайно пышную и разнообразную растительность. Область Сикким с английским курортом Дарджимини, как известно, чудесный рай.

Политико-географические затруднения заключаются в том, что гора Эверест расположена как раз на границе двух наименее доступных для европейцев страны Азии: Непалом на юге и Тибетом на севере. Только немногим европейцам до сих пор удалось путешествовать по Непалу, и проникновений отсюда в священную область высочайших вершин никогда не было бы допущено суеверными туземцами. И Тибет, как известно, тоже довольно враждебно настроенная к чужеземцам страна, и для того, чтобы вступить в эту область, требуется особое разрешение Далай-ламы в Лхассе.

Наконец, что касается физиологических условий поднятия на горы, то существует определенный предел высоты, за которым степень разрежения воздуха уже такова, что человеческий организм не выносит его. Предел этот, конечно, несколько иной для различных людей, и ясно, что тренированный альпийский ходок или воздухоплаватель может вынести гораздо большую степень разрежения воздуха, чем неопытный в этом отношении человек. Несравненно легче побить рекорд высоты на воздушном шаре, чем на склоне горы. Воздухоплаватель во время своего путешествия находится в состоянии покоя. Он может дать отдых своему сердцу, принимая лежачее или сидячее положение, может одеться теплее или легче и не чувствует никакого движения воздуха, так как шар движется всегда со скоростью, равной скорости ветра. Поэтому на воздушном шаре, при помощи искусственного вдыхания кислорода, оказалось возможным подняться и на большие высоты, чем Эверест. Берлинские метеорологи Берсон и Зю-

ринг (Süring) достигли в 1901 году высоты в 10.800 метров, причем в верхних слоях воздуха они потеряли сознание и очнулись только тогда, когда шар снова опустился в более плотные слои. На аэроплане недавно тоже удалось достигнуть высоты почти в 10.000 метров. При восхождении же на гору путешественнику приходится сильно напрягать тело — мускулы, легкие и сердце. Одежда его должна быть возможно легкой, чтобы не стеснять его движений, но в то же время и настолько теплой, чтобы он не мог замерзнуть при температуре в 30—40° мороза. Он должен тащить на себе тяжелые кислородные приборы и провиант даже, если и удастся продвигать мало-по-малу лагерные стоянки насколько возможно высоко. Ему все время приходится бороться с утомительным ветром, который не только затрудняет дыхание, но и чисто механически мешает движениям. Но хуже всего, это непрерывное убывание сил, которое все увеличивается с высотой. На каждом новом привале чувствуешь себя физически более утомленным, чем на предыдущем. При каждом шаге приходится напряженно следить за тем, куда ступает нога. То приходится подниматься на крутые обледеневшие гребни скал, с которых ветер смет последние остатки снега, то путь перерезается занесенными снегом трещинами или ущельями, или же самый характер поверхности вынуждает делать длинные и утомительные обходы.

Все эти трудности заставляют сильно сомневаться в том, что англичанам удастся когда-либо достигнуть вершины. Даже если бы совсем не было ветра, и если бы на вершину вела удобная дорога, — то физическое напряжение, которое требуется для поднятия на высоту в 8840 метров, могло бы превзойти силу сопротивления человеческих тканей и органов. Тем выше приходится ставить достижения обоих английских экспедиций, которые мы вкратце опишем.

Уже в течение нескольких десятилетий от времени до времени обсуждались планы восхождения на вершину

Эвереста. Известный исследователь Азии сэр Фрэнсис Йонгхесбэнд, альпинист Дуглас Фрешфильд и лорд Керзон, бывший с 1898 по 1905 г. вице-королем Индии, поддерживали это предприятие, но экспедиция, предполагавшаяся в 1905 году, встретила препятствие со стороны правительства Непала и Тибета. Незадолго до войны начали разрабатывать новый план, но лишь по окончании ее дело это можно было двинуть вперед. При поддержке «Королевского Географического Общества» и «Альпийского Клуба» оно поставлено было на широкую основу и превращено в «национальную задачу». Полюсы к тому времени были уже взяты, и для Англии становилось вопросом чести, овладеть и высочайшей точкой земли, тем более, что Англией же вершина эта была открыта, как самая высокая на всем земном шаре. В 1852 году гора была измерена из большого отдаления индийским геодезическим комитетом, высота ее была вычислена, и вершина ее признана за наивысшую точку земли. Так как местного названия этой вершины не удалось узнать, ее назвали по имени прежнего начальника производившего измерение геодезического комитета сэра Джорджа Эвереста. Только несколько лет тому назад стало известно, что у тибетцев она называется «Чомолунгма», что значит «богиня-мать гор». Свэн Гедину во время его исторического исследования Тибета, удалось доказать, что название горы Чомолунгма, лишь с незначительным искажением, было уже занесено на карты, которые были составлены в Пекине в 1717 году французскими иезуитами на основании туземного материала, и что эти карты в 1733 году были гравированы и изданы в Париже, а, следовательно, гора эта — старое французское открытие.

Заручившись поддержкой индийского и тибетского правительств и окончив все приготовления, первая экспедиция, состоявшая из начальника Говард-Бюри и восьми ученых и альпинистов, а также из каравана, сопровождаемого туземцами, пустилась в путь 18 мая 1921 года из Дарджиминга, чтобы через Тибет подойти с севера к горе

Эверест. Через Сикким и долину Чумби они направились по большому торговому пути в Лхассу, который был хорошо известен со времен военного похода Йонгхесбэнда 1903 и 1904 годов. Дорога шла через тропические леса с роскошной растительностью, через многочисленные горные хребты и глубокие долины. Орхидеи белого, коричневого, оранжевого и пурпурового цвета, высокие изгороди, покрытые белыми, похожими на трубы, цветами, восхищали путешественников. Встречались тибетские караваны, которые везли на мулах шерсть из Тибета и привозили туда рис, зерно и сукно. Индийские лошаки, которые были в распоряжении экспедиции, скоро оказались непригодными в сильно изрезанной горами местности и должны были быть заменены местными лошадьми. Вследствие дождливой погоды заболели и некоторые из участников экспедиции. На значительной высоте, после полосы дубов и магнолий, начались цветущие рододендровые леса неопишуемой красоты, покрытые цветами всевозможных оттенков. За ними следовали луга, покрытые примулами и другими альпийскими растениями.

Через проход Джелен-ла (4387 м.) экспедиция спустилась из Сиккима и долины Тиста в лежащую уже в пределах Тибета долину Чумби, одну из наиболее плодородных и богатых долин с большими и хорошо отстроенными домами. Дожди здесь значительно уменьшились. В долине пышно росли пшеница и разные фрукты, по склонам, в роскошных лесах, попадались сосны, серебристые ели, лиственницы, рябина и береза. Многочисленные монастыри, расположенные вдоль дороги, имеют громадные молитвенные барабаны, которые будто-бы содержат более миллиона молитв и приводятся в движение силою воды или ветра. Из Фари открылся вид на священную гору Чомолхари (7294 м.), «гору богини», расположенную при входе в собственно горный Тибет. По проходу Танг-ла (4630 м.) экспедиция вышла к реке Аруну, который, спускаясь с севера, прорезает восточнее Эвереста всю гор-

ную цепь Гималаев и впадает в р. Кузи, приток Ганга. Теперь природа Тибета стала вырисовываться все яснее. Местность была плоская и открытая, обширные равнины простирались между покрытыми снегом горными хребтами. Тут паслись дикие ослы, антилопы гоа и стада овец кочевников, а иногда удавалось застрелить и дикую овцу (*ovis Ammon*). Но тибетцы потом просили щадить зверей, чтобы не нарушать тишины, которая царит вокруг монастырей, священных озер и вершин.

Недалеко от Камба-Дзонг, к сожалению, неожиданно скончался предводитель группы альпинистов, который слишком переутомил свое сердце во время предшествовавшей экспедиции горной тренировки.

В виду горы Эверест, его желанной цели, и гор Сиккима, которыми он овладел, его похоронили. Еще и второй альпинист заболел и должен был вернуться в Индию.

После этого началась область, которая в новейшее время совсем не посещалась европейцами и во всех отношениях представляла собой неведомую область, хотя в XVIII столетии там и проходили монахи-иезуиты и капуцины из Италии по дороге в Лхассу, главный город Тибета, для того, чтобы проповедывать тибетцам христианство, правда, с очень небольшим успехом. 19 июня экспедиция достигла селения Тингри-Дзонг, и отсюда начались первые попытки проникновения в расположенный к югу от этого места горный массив Эвереста.

Все долины, горные склоны и ледники к северу и востоку от горы Эвереста, а также и северный склон расположенного приблизительно в 60 км. к западу Гауризанкара (7146 м.), были подробно исследованы, чтобы выяснить возможности восхождения. Участники экспедиции для этой цели разбились на группы и разошлись в разные стороны из исходного лагеря, расположенного в западной стороне Ронгбукского ледника на высоте 5490 м. В течение июля удалось собрать довольно богатый ориентировоч-

ный материал, причем выяснилось, что с северо-западной стороны горный массив Эвереста обрывается в долину очень крутою стеною более, чем в 3000 м., и что с этой стороны под вершиною есть очень трудные места, заставляющие сомневаться в возможности восхождения. Поэтому главная стоянка была перенесена на северо-восток в селение Карта.

Хорошо обработанная и густо заселенная долина Карта соединяется на западе с долиной текущего в южном направлении упомянутого выше Аруна. Выйдя в этом месте из долины Карта, одна из разведочных групп прошла через Картский ледник и проход Лакна-ла к устью опускающегося на север Ронгбукского ледника. Здесь удалось 23 сентября подняться на возвышающиеся между началом главного ледника и его восточным рукавом горный отрог Чанг-ла (7010 м.), находящийся на расстоянии только 4 км. от поднимающейся на юге вершины горы. Однако, свирепствовавший в течение 4 дней северо-западный ураган и жестокий мороз помешали дальнейшему продвижению, и опыт на этот год должен был быть прерван.

Другие попытки восхождения были тем временем сделаны из соседней долины Кама, расположенной южнее долины Карта. В верхней ее части, крутой и извилистой, спускается с восточного склона горы, подобно гигантской змее, Кангшунгский ледник. 17 сентября, при полном свете, отсюда, с высоты в 6400 м. открылся великолепный вид на море тумана, покрывшее все долины Тибета и Непала. Воздух был так прозрачен, что все вершины, даже расположенная в 160 км. к востоку гора Конджинпинга в 8580 м.—третья по высоте гора земного шара, были ясно видны. Отсюда же путешественникам удалось полюбоваться солнечным восходом неопишуемой красоты, позолотившим сначала вершину Эверест. Это редкое зрелище все очевидцы описывают с восхищением. На высоте 1610 м. сделан был привал в таком месте, где росли еще цветы. Наконец, все участники экспедиции снова со-

брались в Карте они покинули ее 5 октября, и 25 октября снова вернулись в Дарджилинг.

На этом разведочная экспедиция, давшая богатый материал и очень ценный опыт, была закончена. Только одно направление было ею признано возможным для подхода к Эвересту — это кряж, ведущий от исследованной седловины Чанг-ла к самой вершине горы. Дожливый период начался на 3 недели позже обыкновенного и продолжался до конца сентября. Это период, связанный с сильными ураганами, сделал карабкание по скалам на высотах, превышающих 7010 м., физически невозможным. Отсюда следовал вывод, что наиболее благоприятным временем для восхождения на Эверест являются те недели, которые предшествуют началу муссона, т. е. май или начало июня.

Этими данными и воспользовалась вторая экспедиция, под руководством генерала Брюса, одного из старейших и лучших знатоков Гималая. 26 марта 1922 года она отправилась в путь из Дарджилинга и 30 апреля утвердила свою главную стоянку в Ронгбукской долине на высоте в 5030 м. Экспедиция эта была снаряжена несравненно лучше первой. В ней принимали участие 13 англичан — все опытные альпинисты. От участия специалистов-ученых на этот раз отказались, так как на первый план теперь был поставлен спорт и все рассчитано на то, чтобы во что бы то ни стало достигнуть вершины Эвереста. Из прошлогодних альпинистов в этой экспедиции участвовали только двое. Особенное внимание было обращено, по настоянию некоторых альпинистов, на кислородные приспособления. Эти переносные аппараты с сжатым кислородом прикрепляются на спине туриста и состоят из рамы, содержащей 4 цилиндра с 240 литрами кислорода в каждом. Трубка, через которую путешественник вдыхает кислород, перекинута через его левое плечо. Но облегчение, которое дает вдыхание кислорода во время подъема или на остановках, умаляется тем, что аппарат этот, имеющий вес

почти в 15 кг., приходится тащить на себе, помимо толстой одежды, кирки, веревки и провианта.

Из главной стоянки, расположенной в Ронгбукской долине, началась по строго разработанному плану «осада» вершины. Постепенно стоянки, снабженные запасами провианта и кислородными цилиндрами, продвигались на все большие высоты. Толпы туземцев, которые оказались очень понятливыми и полезными, выполняли переноску багажа и помогали поддерживать сношения между стоянками. Из такой далеко продвинутой стоянки на высоте в 7620 м., где переночевали четыре англичанина, и была совершена первая попытка восхождения на самую вершину, причем кислородные приборы не были взяты с собою, и восхождение носило строго спортивный характер, по строгим правилам Альпийского Клуба. Однако, силы не выдержали, большая усталость помешала дальнейшему продвижению и заставила их вернуться обратно с высоты в 8169 м. Очень затруднительный обратный путь описывает предводитель этой группы, Маллори, приблизительно следующими словами:

«Было бы безумием продолжать восхождение до последних границ наших сил и надеяться на спирт или энергию для того, чтобы спуститься. В этой местности тело не восстанавливает своих сил при спуске, как это бывает в Альпах. И как мы ни желали идти дальше, — силы наши еще не иссякли, — все же было единственно разумным вернуться назад. С тяжелым сердцем мы начали спускаться к стоянке V, оставили здесь все и поспешили дальше, чтобы еще до темноты — было уже 4 часа пополудни — добраться до стоянки на северном перевале. Но спуск был также труден, как и подъем. Мы должны были постоянно останавливаться, чтобы осилить дыхание. Свежий снег увеличивал опасность. Один из нас сорвался, тотчас потянул за собой других; и мы бы уже не вернулись, если бы веревка последнего не была обмотана вокруг кирки, плотно завязавшей в снегу, и сильный толчок не был бы

сдержан. Теперь мы стали спускаться еще осторожнее. Тем временем надвинулась ночь и черными тенями закрыла дорогу. Мы зажгли фонари и упорно продолжали путь, вниз в темную глубину, час за часом. Вдруг перед нами скатилась большая глыба снега, и мы, в отчаянии, вскарабкались на нее смелым прыжком в 5 метров. Наконец, погасли фонари, последняя свеча догорела, и мы продолжали спускаться в темноте. На наше счастье не было метели. Но вот мы под свежим снегом нащупали веревку, мы добрались до палаток. Было около полуночи. К нашему ужасу, мы не нашли никаких принадлежностей для варки чая и в томнящей жажде должны были провести ночь. С еще большими муками нам пришлось на следующее утро спускаться к стоянке III, куда мы добрались окоченевшие и полумертвые от усталости.

Несколько дней спустя, отправилась на атаку вершины вторая группа. Она состояла из Финча, Джоффрея, Брюса, унтер-офицера из племени Гурка и ряда носильщиков. Через Чанг-ла они продолжали продвигаться при переменной и отчасти бурной погоде, вдоль края, и на высоте в 7777 м. разбили палатки. Все были снабжены кислородными аппаратами, и Финч сообщает о том, как они хорошо оправдали себя на практике. Туземцы, которые считали эти аппараты излишними, оценили на высотах, превышающих 7000 м., важное значение этого вспомогательного средства, которое они называли «английским воздухом». Кули неугомымо таскали на верх большие тяжести. Они и тут пели свои национальные песни, разбивая во время бури палатки и спускаясь, затем, обратно к северному перевалу. В бурную и ледяную ночь, эти трое мужчин остались в стоянке, разбитой на такой большой высоте, и им с трудом удавалось удерживать палатку, поставленную на узком уступе края, над обрывами. Буря продолжалась и весь следующий день, так что они решили, переждать на этой высоте еще одну ночь, чтобы, быть может, на третий день добраться до вершины. Счастье улыбнулось им: во

вторую ночь они смогли, благодаря полному отсутствию ветра и кислороду, даже немного поспать. Окоченевшие и голодные, но свежие, проснулись они и должны были потратить целый час на то, чтобы надеть на ноги крепко замерзшие горные сапоги. С первым лучом солнца они пустились в путь каждый с четырьмя цилиндрами кислорода, унтер-офицер Гуркос же даже с шестью цилиндрами. Последний сопровождал своих господ еще немного. Затем Брюс и Финч взяли каждый еще по два цилиндра и, нагруженные тяжестью в пол-центнера, пустились в дальнейший путь. К сожалению, снова поднялся ледяной ветер, который заставил их спуститься с края и продолжать восхождение вдоль его подножия, по крутым ступеням и часто обледеневшим стенам. Хотя они напрягали свои силы до последней степени, им приходилось, вследствие бурного ветра, холода и огромной тяжести, которую они несли уже в течение пяти часов, подниматься все медленнее. Достигнув высоты в 8321 метр, они вынуждены были, «испытывая муки Танта́ла», как пишет Финч, повернуть назад, причем Брюс, указывая на ясно видневшуюся над ними в расстоянии 500 метров вершину, сказал: «Will you wait, old thing, you'll be for it soon!» (Ну, подожди, старина, попадет тебе скоро!). Неслыханно великий подвиг был ими совершен. Только при спуске вполне сказалось чрезвычайное истощение сил, вследствие которого они шатались, спотыкались и часто должны были садиться. Когда они, наконец, добрались до стоянки III, силы совсем покинули их.

Но борьба была еще не окончена. 3-го июня третья группа, снова под предводительством Маллори и сопровождаемая многочисленными носильщиками, покинула главную стоянку, чтобы произвести последнюю атаку, так как скоро должен был наступить грозный период муссона. 4-го июня выпал очень сильный снег, и до 6-го июня они должны были остаться в стоянке III. Наступила опять хорошая, ясная погода и условия состояния льда и снега

казались подходящими для восхождения. Когда они 7-го июня были на пути, по направлению к Северному проходу, снежное поле, по которому они шли, начало скользить и увлекло их с собою в обрыв. Часть поля, на котором находились три англичанина и носильщик, связанные одной веревкою, по счастью, остановилось, спустившись приблизительно на 50 метров, и все четверо были спасены. Но группа из семи носильщиков была увлечена дальше вниз, в глубокое ущелье и погибла в снегу. Третья группа, также состоявшая из туземцев, чуть не разделила судьбу своих товарищей. С их помощью англичанам удалось вырыть и спасти еще трех носильщиков из тех, которые были засыпаны снегом. Из семи погибших удалось розыскать только шесть; седьмой, повидимому, лежал слишком глубоко.

Этим несчастьем, к сожалению, окончилась вторая английская экспедиция на Эверест. Когда убирались стоянки, муссон уже бушевал в вершинах гор, и путешественники печально оглядывались на громадную бело-снежную голову вершины непобежденной и жестокой «богини-матери гор».

Сделав краткий обзор этих двух, так тщательно и с такими большими затратами снаряженных экспедиций, приходится признать, что первая из них для науки была важнее; вторая же была всецело посвящена горному спорту и единственной цели «взятия» вершины горы. В основу всех научных изысканий было положено топографическое исследование местности. Два офицера геодезиста и значительное число местных землемеров, производивших съемку в Индии, выполнили все необходимые картографические работы, результатом которых явилось составление карт всех вновь исследованных местностей, масштаба 1:253.440 и более детальная съемка окрестностей горы Эвереста 1:63.360. В уменьшенных масштабах, именно 1:750.000 и 1:100.000, съемки эти изданы и оказали второй экспедиции существенную помощь. Съемка производилась

отчасти при помощи фотограммометрии, но этому способу сильно мешала плохая погода и низкие тучи. Топографам приходилось пользоваться самыми ранними утренними часами, для того, чтобы, поднимаясь со своими инструментами в такие пункты, где открывался свободный кругозор, иметь хоть сколько-нибудь ясный вид вдаль. В общем, была произведена съемка почти 30.000 кв. км. новой площади, и 1.500 кв. км. окрестностей горы Эвереста были измерены фотограмметрическим способом.

Богатое фотографическое оборудование экспедиции дало ей возможность, привезти с собою большое количество превосходных фотографий незнакомого горного мира, которые открывают перед зрителем, обозревающим их, необыкновенно величественные ландшафты никогда не виданных высоких горных местностей. При помощи телеобъектов производились снимки вдаль до 20 км. Во время второй экспедиции применялись и кинематографические снимки.

Чрезвычайно большое значение имеют снимки, изображающие различную форму гор, ледников, ледочных образований и т. д. Гигантские ледники стекают из долин во все стороны. В восточной ветви Ронгбукского ледника можно было наблюдать, как лед местами распадался на столбы высотой в 90 м. Из висячих ледников боковых долин ежедневно обрушивались большие ледяные массы на главный ледник. Сама гора Эверест представляет из себя мощный массив с тремя гребнями, главные края которого направлены на запад, юго-восток и северо-запад. Покрытый по всей своей длине фирновым льдом северо-восточный край легче всего доступен. Он не слишком крут и нигде не перерезан недостижимыми отвесными скалами. Сложная система долин, перерезающих весь массив, выходит к реке Аруну, которая прорывает главную цепь Гималаев в южном направлении, восточнее и ниже долины Карты.

Геологические изыскания местности, а также зоогеографические и ботанические наблюдения, сделанные пер-

вою экспедицию, тоже представляют богатый клад для науки. В геологическом отношении местность распадается на две, более или менее ясно разграниченные, части: на северные осадочные породы Тибета и кристаллическую зону собственно Гималаев. Это выражается и в формах поверхности, так как на севере преобладает более мягкая и округленная форма гор, в противоположность к крутым и отвесным формам высокой горной полосы. Тибетская зона состоит, главным образом, из мощных, сильно-складчатых и бедных окаменелостями сланцевых отложений Юрского периода, тянущихся в северо-западном направлении. В виде синклинальных складок, лежат юрские и эоценовые известняки, которые, повидимому, попали сюда с севера, путем сдвигов и обросов. В южной части Тибетской области, под юрскими пластами сланца, имеются мощные залежи известняка, распадающегося на тонкие слои и совершенно лишенного окаменелостей. Горная порода эта превращена в кристаллический известняк и известковый сланец. Возраста этих слоев (Пермский или Триасовый период) не удалось точно установить. Южная кристаллическая зона Гималайских гор состоит, главным образом, из чешуйчатого и жилковатого биотитового гнейса. У самой горы Эверест были найдены и метаморфизированные осадочные породы, изрезанные жилами турмалинового гранита. Распространение формаций было представлено в предварительной схематической карте масштаба 1:750.000, представляющей лишь первый набросок для такой обширной области.

Во всех описаниях участников экспедиции ярко выступает то удивление, которое вызвано было в них неожиданною красотою и богатством растительности даже на очень значительных высотах. На высоте в 4.000 метров, в конце мая, почва оказалась сплошь покрытой примулами, а источники в долинах сочною травою. Верхняя Ронгшарская долина в северной части Гауризанкара, например, поросла можжевельником, примулами, крыжовником и

ивами. В долине Кама, расположенной с восточной стороны Эвереста и отличающейся особенно богатой растительностью, были найдены на высоте свыше 4.000 метров еще рододендроны, березы и можжевельник. Последний разрослся дальше внизу в целые леса с гигантскими стволами обхвату в 6 метров и высотой до 46 метров. Все деревья покрыты длинными серыми свешивающимися косами, почва, местами, очень сырая и болотистая. По северному склону Эвереста, начиная с высоты в 4.880 м. и до снежной границы (6.100 м.), встречаются три вида Эдельвейса. Выше всего поднимающимся растением оказалась маленькая «Агепегия», найденная между лежащими поверх почвы камнями на высоте в 6.100 м. На высоте же в 5.500 м. еще цвел роскошный синий генциан. Синяя горная роза — одно из самых красивых растений этой местности — достигает высоты в 2 метра, и цветы ее небесно-голубого цвета бывают до 5 см. в диаметре. Главный знак здесь — ячмень, который можно сеять до высоты в 4.570 м. Пшеница доходит до 3.900 метров.

Животный мир этой области особенно поражал почти полным отсутствием боязни людей. Живущие на свободе звери подходили совсем близко и ели из рук, например, вороны, горные голуби и дикие овцы. Святость зверей, признаваемая буддийской религией, препятствует туземцам убивать их. Так как и англичане, согласно этому, объявили запрет стрелять зверей, что встретило благодарную признательность со стороны тибетцев, выразившуюся в предупредительном отношении с их стороны, то собрать большие коллекции не удалось. Снабжению свежим мясом это тоже мешало. Типичное млекопитающее Тибета — длинношерстный, дикий як, отличается лоснящимся, как шелк, мехом. В одном месте, на высоте в 3.650 м., путешественники оказались окруженными большой стаей голодных пьявок, с которыми им немало пришлось повозиться. Часто можно было видеть тушканчиков, которые целыми колониями живут в норках, под землею. Дикий тибетский

осел «кнанг» и газели также встречались иногда. Один род ящерицы часто попадался до высоты в 5.180 м., и на высоте в 6.400 м. еще находились следы лисицы, волка и зайцев. Другой странный след, попадавшийся на этой высоте, казалось, был оставлен босой человеческой ногой. Носильщики говорили, что это след «дикого учителя снежных вершин», Метоккангми, «снежного чудовища», которым пугают маленьких детей. В действительности, след этот, вероятно, был оставлен волком, волочившим лапу по снегу, вследствие чего стал похожим на человеческий. Последнее живое существо, которое встретили альпинисты, подымаясь на вершину, был ягнятник, паривший на высоте, значительно превышавшей 7.500 м.

Заметки участников экспедиции, касающиеся туземцев, их нравов, привычек и обращения с европейцами, слишком разнообразны. Попытка охарактеризовать хотя бы отдельные черты местных жителей завела бы нас слишком далеко. К тому же, они уже более или менее известны из отчетов о прежних путешествиях, главным образом, из описаний Свен Гедина.

Вторая экспедиция прошлым летом предназначалась, как нами уже было отмечено, для «окончательного штурма вершины» (the final dash for peak), которой однако не удалось достигнуть. И критика с большим основанием подчеркивает, что спортивная сторона была выдвинута на передний план, а географическое исследование массива при этом пострадало. Свен Гедин, несомненно, один из самых компетентных людей в этом вопросе, в своей новой книге о Монт-Эвересте выступает с особенно резкой критикой, хотя он и преклоняется перед достигнутыми до сих пор англичанами успехами. Он, между прочим, и считает, что трудности, которые представляет последняя часть пути к вершине, настолько велики, что, по его мнению, людям никогда не удастся преодолеть их. С напряженным интересом мы ждем от будущего разрешения этого вопро-

са, которое должно показать, будет ли Свен Гедин прав, и откажутся ли англичане от борьбы, или снова попытаются измерить свои силы на Монт-Эвересте.

Из прежних трудов следующая книга дает сводку всех сведений о горном массиве Эверест: Burard and Hayden „A Sketch of the geography and geology of the Himalaya Mountains and Tibet“. Calcutta, 1907.

Отчеты о последних двух экспедициях помещены в „The geographical Journal“, London. 1921—1922; „The Alpine Journal“, London, 1921—1922; Uoward - Bury, Mount Everest. The reconnaissance 1921, London, Edward Arnold et Co., 1922. Последние также на немецком языке в переводе W. Rickmer: Mount Everest. Die Erkundungsfahrt 1921, Basel, Benno Schwabe u. Co., 1922. Из дальнейшей литературы пока вышли: Fleig, Walther. „Im Kampf um Tschomo-lungma, den Gipfel der Erde (Kosmosbändchen)“. Stuttgart, Franckh 1923; Hedin, Swen, „Mount Everest“, Leipzig, F. A. Brockhaus 1923.

Андрей Белый

АНТРОПОСОФИЯ И Д-Р ГАНС ЛЕЙЗЕГАНГ¹⁾

В номере первом «Беседы» напечатана статья д-ра Лейзеганга «Антропософия». В ней автор описывает одно из духовных течений современной Европы; и — между прочим: дает портрет д-ра Рудольфа Штейнера. Описывать что-либо — значит: иметь план описания, которое — переход к объяснению и к оценке; попытка д-ра Лейзеганга дать очерк антропософии — сбивается на оценку, которая вырастает из груды фактов, о деятельности д-ра Рудольфа Штейнера.

Рисуется вот такая картина: в 80-90-х годах прошлого века Штейнер редактирует естественно-научные сочинения Гёте, печатает работы по теории знания, пишет рецензии о стихах и романах; и пишет статьи: о базальте, о палстве, о Нитцше, о ледниковом периоде и т. д.: поклоняется Геккелю, подчеркивает свою связь с анархизмом, смеется над теософами²⁾; с начала же 900 годов он становится теософом, он пишет мистерии-драмы, печатает ряд «окультистических» сочинений; и возглавляет германскую фракцию Теософического О-ва³⁾; потом — рвет с теософами, организует антропософов, какие то тайные общества и т. д.⁴⁾. Водоворот «деятельностей» дан в не-

¹⁾ См. «Беседа», № 1, стр. 236—263.

²⁾ Ibidem, стр. 237—240.

³⁾ Ibidem, стр. 240—244.

⁴⁾ Ibidem, стр. 244—257.

многих страницах; конкретного живописания и попытки отчетливо вникнуть в водоворот этот — нет; остается читателю неизвестным, что собственно Штейнера привлекало к теориям Геккеля, Гёте и Нитцше; потом — к теософии; предоставляется думать, что «геккелизм» означает «то», «это», а «о к к у л ь т и з м» — «это», «то»; «то» и «это» — комплекс обывательских мнений об оккультизме и трансформизме.

Картина-гротеск: Рудольф Штейнер набрасывает не рукою, а десятью торопливыми пальцами десять трактатов: о логике, о теории знания Гёте, науке и истине, палстве, о Нитцше, о Геккеле, мире и жизни, о посвящении, о телах человека, о социальном вопросе и ледниковом периоде. Перспектива — отсутствует; вперяться в экстазы путей посвящения и разрешать судьбы логики в одновременном порыве — убить перспективу, все видеть на плоскости. Новорожденные видят так. И д-р Лейзеганг, не умея связать разнородные сферы антропософии Штейнера, переходит к оценке методики Штейнера: «Мы имеем здесь перед собою... круг, в котором вращаются все оккультисты»⁵⁾.

Но возникает вопрос: картина без перспективы предметов картины принадлежит — кому? Д-ру Штейнеру, или д-ру Лейзегангу? Кто не имеет третьего измерения воззрений, все видит на плоскости? И не пытаюсь критически разобраться в увиденном, уподобляется новорожденному, — кто?

Если Штейнер, — тогда: как могли ученые руководители юршнеровского издания собрания сочинений Гёте⁶⁾ на протяжении 10 лет выносить безответственного руко-

⁵⁾ «Беседа», № 1, стр. 257.

⁶⁾ Goethes Werke. Naturwissenschaftliche Schriften. Bände XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI (erste und zweite Abteilungen): вводительные статьи и множество примечаний к тексту, подчас превышающих размером сам текст.

водителя в своем обществе? Рудольф Штейнер на протяжении 10 лет занимался «калечением» текста естествознания Гёте — конкретными примечаниями: о теории знания, методологии точных наук (математики, физики, химии, физиологии, психологии и т. д.), о причинности, рассуждениями об отношении Гёте к Ньютону и математику Эйлеру, объяснениями (впервые данными) явлений спектрального анализа в духе теории Гёте и отношении к этой теории позднее возникшей гелио-механики, комментариями по поводу призмы, крон и флинт-гласа, метаморфозы растений и отношения трансформизма у Геккеля к трансформизму у Гёте; отчетливым вскрытием девяти кругов объяснения фактов у Гёте, попыткой истолковать факт первичный («Протофеномен») у Гёте в многообразии этих кругов — Рудольф Штейнер нарисовал картину единства многообразий гетизма в плюро-дуомонизме; статьи о теории знания Гёте, механике, физике, биологии и огромный аппарат комментариев спрессованы доктором Штейнером дважды: 1) в его сочинении о том, какая теория знания могла бы свести к целостности разнообразие Гетевых устремлений научных⁷⁾, 2) в его книге о Гёте, сводящей научные и философские выводы к сравнительно популярному изложению⁸⁾; в этих долгих, упорных трудах отчеканился новый взгляд на философа и ученого Гёте, рисующий много прогнозов, к которым лишь ныне приходят ученые, переоценивая взгляд недавнего времени на «дилетанство» поэта; оно оказалось во многом пророчеством, опережающим научную современ-

7) Rudolf Steiner: „Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung“, 1886.

8) Rudolf Steiner „Goethes Weltanschauung (об этой книге не упоминает д-р Ганс Лейзеганг). Взгляды Штейнера на Гёте изложены в сборнике, посвященном изложению различных сторон деятельности Штейнера «Vom Lebenswerk» (1921), в книге д-ра Штейна и в моей книге.

ность на сто почти лет; в связи с Гёте чеканилась оригинальная теория знания⁹⁾ и философия Штейнера¹⁰⁾, взгляд на историю мысли¹¹⁾, естественно легшие в основу философии антропософии.

Где у д-ра Лейзеганга характеристика трудов по гетизму и теории знания Штейнера? В очерке остается не вскрытым, над чем 10 лет упорно работала мысль Штейнера, прокладывая рельсы к обоснованию антропософской теории знания; работы Штейнера о Гёте среди антропософов вызвали ряд трудов¹²⁾, заметок и рецензий по «гетизму»; о всем том — глубокий молчок. Не упомянуто, что мысль д-ра Штейнера по сию пору работает в области гетевой теории света, о чем свидетельствует его курс «Über das Wesen der Farben»¹³⁾; не упомянуто, что проблемы научной методологии в духе той линии, которая начертана в первых трудах Штейнера, постоянно затрагиваются в ежемесячнике «Die Drei», издаваемом в

9) Ее скатый очерк дан в брошюре: „Wahrheit und Wissenschaft“, 1891.

10) Rudolf Steiner: „Die Philosophie der Freiheit“.

11) Rudolf Steiner: „Welt- und Lebensanschauungen im neunzehnten Jahrhundert“.

Сочинение это впоследствии заново переработано; в переработанном виде оно дает ответ на отношение д-ра Рудольфа Штейнера к теориям знания современности; как то: к теориям знания: Шунге, Дильтея, Когена, Риккерта, Рилля и др.

12) Сюда книга Штейна (не имея книги под руками, не могу привести точно ее заглавия), его статьи (хотя бы напечатанная в ежемесячнике „Die Drei“ под заглавием „Goethe's Bedeutung“), статьи других антропософов, как то: Friedrich Doldinger: „Der Weg zur Wirklichkeit“ („Die Drei“, Mai 1921). Сюда же моя книга: «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности». К-во «Духовное знание», 1916 г.

13) Подробное изложение этих лекций смотри в статье талантливой поэта и писателя Альберта Стефана („Die Drei“, Januar—Februar 1923).

Штуттгарте учениками и последователями Штейнера¹⁴); не дано сколько нибудь исчерпывающего очерка деятельности антропософов в наши дни, т. е. деятельности курсов, конгрессов, научных достижений (сюда работа г-жи д-ра Колиско, устанавливающая на основании ряда лабораторных опытов роль селезенки); рисуя картину антропософского движения, как не остановиться подробнее на формах недавно створившего «Гетеанума» и на той работе, которая десять лет велась группой дорнахских художников-резчиков. И — наконец: как не коснуться методов преподавания в Вальдорфской школе, несчитывающей более 600 детей, отроков, юношей (от 8-летнего возраста до 17-летнего), методом преподавания посвящены книги и ряд статей Штейнера (сюда изданный его «Lehrer-Kursus») и вальдорфских учителей (Каролины фон Гейдебрандт, Штейна, Штокмейера и др.); недавно я был на педагогической неделе, устроенной в Штуттгарте группой преподавателей; в ряде докладов преподаватели истории, математики, физики, биологии привели отчет о результатах, достигнутых ими; выставка детских рисунков, проективно-геометрических чертежей, рукоделий, открытая в школе, есть тоже отчет, и обо всем том — молчок в очерке д-ра Лейзеганга, рисующем деятельность антропософов¹⁵).

¹⁴) Для примера привожу заглавия некоторых статей, напечатанных в „Die Drei: Dr. Rudolf Maier: „Ueber neue naturwissenschaftliche Entdeckungen“ (Januar-Februar 1923), Dr. Eugen Kolisko: „Nicht das Herz treibt das Blut“ (Dezember 1922), Lorenz Oken: „Die farbigen Schatten“ (ibidem), Hermann von Baravalle: „Materialismus in der Mathematik“ (Kongressnummer, 1922), Dr. Theberath: „Zur Diskussion über die Atomtheorie“ (November 1922). Сюда же статьи о вкусовых ощущениях W. Pelikan'a и Siegfried'a Knauer'a (1923) и т. д.

¹⁵) Вот краткое резюме антропософского движения за последнее время: в сентябре—октябре 1920 года трехнедельные высшие курсы при Гетеануме в Дорнахе; в апреле 1921 года два курса и семинарий для студентов в Дорнахе (при Гетеануме) (между прочим курс Штейнера об антропо-

Поэтому: утверждения Лейзеганга о позднейшем отходе д-ра Рудольфа Штейнера от точной науки в «туман» теософии лишены всякого конкретного основания; и противоречат научным работам антропософов; не вскрыта и философская позиция Штейнера в его «Философии Свободы»; не вскрыта теория знания Штейнера, им суммированная в тезисы в «Wahrheit und Wissenschaft» в этой теории знания дан обстоятельный разбор позиции абстрактного монизма и абстрактного дуализма; и дан внятный разбор кантианства с точки зрения подлинной критической философии; д-р Ганс Лейзеганг совершенно бездоказательно утверждает: «Рационально мыслящий человек... ощущает... пропасть между субъектом и объектом, что... выра-

софии и науке); в июле 1921 года курсы д-ра Штейнера и группы Штуттгартских антропософов для студентов технической школы в Дармштадте с рядом диспутов по социальным вопросам и вопросам искусства; в августе 1921 года курсы по предметам искусства при Гетеануме и (между прочим курс доктора Штейнера); сехалось множество посторонних слушателей (не антропософов), принадлежащих к 18 нациям; курсы эти первоначально организованы были для английских художников; в скором времени д-р Штейнер прочел курс в 18 лекций при Гетеануме для группы теологов; до этого в июне 1921 года состоялся курс Штейнера в Штуттгарте для студентов, изучающих теологию; в октябре того же года состоялся антропософский конгресс в Штуттгарте; в ноябре 1921 года состоялся съезд антропософов в Христиании с рядом лекций Штейнера; в декабре 1921 года состоялись педагогические курсы при Гетеануме (между прочим курс д-ра Штейнера) (сехались из Скандинавии, Дании, Голландии, Франции, Италии и Германии); отчеты об этих курсах даны Стеффеном в еженедельнике «Das Goetheanum»; далее состоялся ряд лекций Штейнера (в январе 1922 года) в Мюнхене, Штуттгарте, Франкфурте, Маннгейме, Кельне, Эльберфельде, Ганновере, Берлине, Бремене, Дрездене и Бреславле; в марте 1922 года состоялась неделя публичных лекций в Берлине, которые слушало более 1½ тысячи человек; в апреле 1922 года состоялись курсы доцентов-антропософов (и д-ра Штейнера) в Гааге; в апреле же д-р Штейнер читал в Англии; в мае он вновь прочел ряд лекций в германских городах; в июне 1922 года состоялся

жено Кантом» («Беседа», № 1, стр. 247), д-р. Рудольф Штейнер в двухтомном сочинении «*Rätsel der Philosophie*» подробно вскрывает, как в истории философии создалось «иррациональное» положение рационального человека, т. е. утрата им объекта; и вместе с объектом самого чувства действительности; и указывает, что Кантово выражение рационального мышления — не рационально: отношение между субъектом и объектом перепутано Кантом; оно у него в противоположении субъекта, как мысли объекту, как факту, между тем субъект и объект лежат внутри мысли; они — дефиниции мысли; природа факта лежит в рациональном; но рациональное в нас есть факт жизни сознания. Кантов вопрос, как возможны синтетические а

антропософский конгресс в Вене; в июле состоялся курс Марии Штейнер (о драме) при Гетеануме; в августе 1922 года состоялся политико-экономический курс Штейнера при Гетеануме; в середине августа 1922 года состоялся курс Штейнера в Англии (в Оксфорде) на тему «*Духовные ценности в воспитании и социальной жизни*»; по возвращении из Англии д-р Штейнер в Гетеануме прочел курс «*Космология, философия и религия в антропософии*»; одновременно д-р Штейнер прочел там же курс для группы теологов; в октябре 1922 года в Штуттгарте д-р Штейнер прочел ряд лекций по педагогике; одновременно же здесь была устроена «медицинская неделя» (для антропософов медиков); в ноябре Штейнер читал (во второй раз в том году) ряд лекций в Голландии и Англии; в декабре—январе 1922—1923 года состоялся ряд семинариев в Дорнахе; и был прочитан курс д-ра Штейнера на тему: «*Возникновение естествознания в истории*». Во время этого курса сгорел Гетеанум. Вот краткое перечисление той работы, которая была произведена антропософами за два последних года лишь в одной области; не упоминаю здесь о деятельности Вальдорфской школы, Клинико-Терапевтического Института, общины «Свободных христиан», возглавляемой известным в Германии пастором Риттельмейером (антропософом); не упоминаю об интенсивной работе в Дорнахе в сфере искусства, о работах в области лингвистики профессора Бека, о многообразной и активной деятельности книгоиздательства «*Der kommende Tag*», и антропософских периодических органов в Штуттгарте, Дорнахе, Вене и т. д.

priori — догматичен; в вопросе том Кант отправляется от данного мешанского мышления, как возможного; подлинная теория знания должна спросить: возможны ли а priori Канта? И если возможны, то — как? По отношению к акту познания первый вопрос есть вопрос о том, чем должно быть познание, чтобы познавательные потребности осуществили себя; и вопрос уж второй, чем дано нам познание (в его докритическом виде); через основной теоретико-познавательный вопрос Кант перепрыгнул. Штейнер вскрывает, как именно Кант перепрыгнул чрез основное сомнение, а д-р Лейзеганг апеллирует к Канту без всякого желания разобратся и в Канте и в Штейнере; поэтому его апелляция к «рационально мыслящему» против Штейнера — «иррациональна» и «некритична»; она — философская мина: без содержания.

В статьях, посвященных гетизму и научной методологии, Штейнер рисует возможность соединять взгляд на анархическую свободу человека со взглядом на мир, как иерархию духов; оригинальность теософических взглядов Штейнера — в изменении традиционных теософий включением человека в план сотворения мира действительности; теория знания Штейнера рисует действительность, как познавательный результат; данность — хаос и *sui generis* субъективный кисель; промышление данности перерабатывает ее впервые в действительности; действительность есть содеяние («*Wirklichkeit*» от слова *Wirken*): содеяние силой мысли; акт познания — творческий акт; к тому акту нам следует возойти еще особой культурой, расширяющей в нас познавательные пределы; в вопросе о том, чем должно быть познание, Штейнер стоит на почве критической философии; его критика Канта есть критика догматизма, не до конца преодоленного Кантом¹⁶⁾; в

¹⁶⁾ Сюда: „*Wahrheit und Wissenschaft*“, „*Theosophie und Philosophie*“, „*Grundlinien*“..., „*Rätsel der Philosophie*“.

вопросе о том, как возойти к акту должного знания, как укрепить в себе силу мысли путем упражнений, он развивает учение самопознания, как пути посвящения.

Миросозерцательный взгляд свой¹⁷⁾ определяет Штейнер то, как конкретный монизм, то как конкретный идеализм; то, именно, взгляд а не точка абстрактного зрения; взгляд есть линия, состоящая из градации точек и потому то нельзя назвать точкою зрения философию антропософии; она — целое, или градация мировоззрительных точек; как *целое*, она монистична, а как градация — плюралистична; лучше назвать ее *плюро-дуо-монизм*; монизм, дуализм, плюрализм суть проекции философии этой в различные плоскости; в области систематического описания фактов себя именует эмпириком Штейнер; под эмпирией понимает он все содержание знания (идеи и чувственные факты), а не одни чувственно-материальные факты; данность идей и понятий в сознание фактична; фактичность — не чувственна; есть сверхчувственный опыт идей; с осознания этого опыта и начинается своеобразная культура понятий, неведомая рассудочному познанию. Каждая группа фактов естественно оформляется собственным методом, автономным в пределах группы; настройка над методами образуют огромное множество допустимых научных миросозерцаний¹⁸⁾, градацию точек зрения, слагаемых в целостный взгляд вне пределов

(2 тома), некоторые из статей в „*Luziter Gnosis*“; сюда же вводителные статьи к Кюршнеровскому изданию „*Goethes Werke. Naturwissenschaftliche Schriften*.“ Сюда же две книги Штейнера, вышедшие не то в 17-м, не то 18 году: „*Vom Seelenrätsei*“ und „*Vom Menschenrätsei*“.

¹⁷⁾ Сюда книги Штейнера: „*Die Schwelle der geistigen Welt*“, „*Weg zur Selbsterkenntnis*“. «Как достигнуть познания сверхчувственных миров» (русский перевод) и т. д.

¹⁸⁾ Вспомним: одно время существовали 2 равно допустимые теории, объясняющие явления растворения: теория Ван-дер-Гофа, физическая (раствор — механическое соединение) и теория Кирхгофа (раствор — слабохимическое соединение).

отдельной науки. «*Pluralia*» методов сводятся к двум группам объяснения¹⁹⁾: при помощи рассудка и при помощи разума²⁰⁾; в учении о разуме и рассудке вскрывается дуалистический момент штейнерианства; рисуются две сферы оформления фактов; в одном оформлении они суть *культура*, в другом же — *природа*; в одной вычеркивается конкретная индивидуальность явления; в другой — абстрактная его всеобщность; одна сфера — сфера эсотеризма; другая — экзотеризма; одна сфера — праксиса, другая — отвлеченных теорий; здесь, в этом разрезе, задолго еще до учения известного философа Риккерта, Штейнер нарисовал позицию риккертланства. Но, повторяю, — дуалистический взгляд лишь момент на пути к философии *целого*: поскольку множество понятий рассудка («*pluralia*» истин и принципов) в разуме есть градация множеств, щепящих действительность целого в ряд относительных истин, — градация, координируемая конкретной идеею целого, постольку имеем монизм мы; но «*monos*» здесь — «Я» человека: не чувственный зуд эмпирического субъекта и не абстрактный субъект познания; здесь «Я» увенчает природу и принцип, факт — с

¹⁹⁾ Смотри о теории объяснения Штейнера: Андрей Белый: «*Рудольф Штейнер и Гёте*». Глава вторая: Световая теория Гёте. Абзац: Теория объяснения.

²⁰⁾ Штейнер вскрывает учение Гёте о *рассудке* и *разуме*, как *ставшем* и как *становлении*; сфера разума есть сфера соотношения понятий в идее; в идее понятия осмысливаются в преломлении друг о друга и в нарастании непрерывном рассудочных смыслов; в преломлении понятия «а» в понятиях «а», «в», «с» — непрерывность движения мысли; понятие рассудка есть точка линии мысли; мы мыслим движением линии мысли; понятие — выхваченный момент жизни мысли; идея же есть конкретная, живая и двигающаяся мысль; определение идеи (или разума) при помощи понятия (или рассудка) — всегда отвлеченно; разумное мышление *органично*, рассудочное — *механично*; здесь Штейнер рисует две сферы мысли: мышление в понятиях (рассудочное); и в образах (разумное).

мыслью; учение о росте в нас этого «Я» (Чела Века в человекообразном животном, каким мы обычно являемся) есть учение о «Manos»^е, Высшем Разуме, или Духе: «Я» — «Дух», и обратно: «Дух» дан только в «Я»; здесь сферы теософического познания венчает учение о природе и о культуре — в культуру природы, в природу культуры; здесь — точка исхода самопознания: «Человек, познай себя!» Т. е. стань Челом Века²¹⁾; здесь то и пытается антропософия быть третейским судьей между *плюралистическим взглядом* научного космологизма, метафизическим *дуализмом* и религиозным *монизмом* (или догматизмом). Вот если бы д-р Ганс Лейзеганг себе вскрыл центр пестрого круга воззрений д-ра Рудольфа Штейнера, он бы понял связь Штейнера, пишущего о ледниковом периоде в 80-ых годах со Штейнером, пишущим «Путь посвящения» в 900-х годах — в Штейнере 1922 года, читающем в Оксфорде о духовных основах воспитания; в том живом интересе, который он встретил в Англии²²⁾, может быть, сказалась потребность в конкретной координации данных современного естествознания с живой потребностью к проблемам самопознания; в том месте у д-ра Лейзеганга — весьма недвусмысленный, неприятный смешок с указанием, на то, что «*невозможно проследить, что произошло в самом Штейнере*» во время его перехода от

²¹⁾ Сюда: «Путь самопознания Человека» (русский перевод в издании «Духовного Знания»); сюда же ряд христианских курсов лекций для членов, рисующих пробуждение в человечестве Чела Века, до точки действительного воплощения Духа в Плоть: «Христос и духовные миры», «Евангелие от Иоанна», «Евангелие от Марка», «Евангелие от Луки», «Бхагавад-Гита и послания апостола Павла», сюда же «Окультурные основы Бхагад-Гиты»; и — ряд других курсов для членов Антропософского Общества.

²²⁾ Английская пресса отнеслась с большим сочувствием к его взглядам (см. 45 и 47 №№ еженедельника „*Die gliederung des sozialen Organismus*“).

геккелевского монизма к проблемам пути посвящения²³⁾.

Так ли уже неожиданен переход *этот*? Или он неожиданен в философски беспомощном подходе к антропософии д-ра Лейзеганга? Я здесь приведу лишь цитату из Штейнеровского комментария к Гетеву тексту, написанному лет за 12 до пресловутого «перехода»: «*Истинны, принадлежащие к целой системе воззрений, понимаемы правильно в их взаимоотношениях... этот глубокий их смысл... эсotericический смысл. Последний лишь уловим для того, кто ознакомился со всем кругом воззрений, к которому принадлежит воззрение единичное... Истинны же... взятые вне сочетания истин, — называются истинами экotericическими*»²⁴⁾. На основании ряда статей и лекций Рудольфа Штейнера эти слова вскрываемы следующим образом: смысл Ньютоновой силы или «*эм ве квадрат, деленное на два*» живой силы) во внутреннем изживании отщепляется нам, как некий импульс (что думал и сам Ньютон); и — обратно; в круге истин а, b, c, d истина «а» преломляема во всех сочетаниях ее с «в», с «с», с «d», как *ав*, *ва*, *авс*, *вас*, и т. д. *Целое* суммы всех преломлений «а» в «в», «с», «d» и образует эсotericический смысл «а» в круге истин; «а», взятое как таковое, есть смысл экotericический; «а» в «ав», в «ва» и т. д. есть идея разума; голое «а» есть рассудочное понятие данной науки в его техническом, ограниченном смысле; биологические понятия Геккеля суть технические понятия; Геккель методологически прав; в целом круге воззрений технические понятия Геккеля приобретают другой смысл; по Штейнеру они осмысливаемы в философии трансформизма у Гёте; а эти последние осмысливаемы в антропософическом углублении Гёте.

²³⁾ «Беседа», № 1, стр. 245.

²⁴⁾ Goethes Werke. Naturwissenschaftliche Schriften Band XXXVI. Zweite Abteilung. Seite 127. Примечание к тексту.

В курсе XXXIII для членов Антр. О-ва «О макрокосмической и микрокосмической мысли» отчетливо Рудольф Штейнер высказывает свой взгляд на мирозозерцание; и очень жаль, что д-р Ганс Лейзеганг, которому *по счастливой случайности* удалось ознакомиться с циклами лекций Штейнера, не знакомит читателей с его учением о мировоззрении; мировоззрение в нашем смысле по Штейнеру — элемент мировоззрения — собственно; оно — надстройка над методом; этих методов оформления по Штейнеру не менее 12-ти; «12» правомерных воззрений (не до конца истинных, не до конца ложных) возможны: таковы по Штейнеру — спиритуализм, психизм, идеализм, рационализм, материализм, сенсуализм, реализм и т. д. Эти «12» мировоззрений преломимы «7» основными мироощущениями (к которым относимы гностицизм, логизм, волюнтаризм, трансцендентализм, оккультизм и т. п.) и тремя фасонами, или «тонами» построения (интуитивизм, теизм, натурализм); мировоззрение есть комбинация из методы, мироощущения, тона; так: идеализм преломим, как логический (Гуссерль), волюнтаристический (Шопенгауэр) и т. д.; и кроме того: логический идеализм, например, преломим в интуитивизме, в натурализме, в теизме; «12» методов в комбинации с «7» мироощущениями и «3» тонами могут дать градацию $12 \times 12 \times 7 \times 7 \times 3 \times 3$ (или 63.504) мировоззрительных оттенков, ни абсолютно истинных, ни абсолютно ложных; мировоззрение есть мелодия индивидуума, складывающего из мировоззрительных букв *слово* мировоззрения то, что мы называем мировоззрением, есть — клавиш клавиатуры; сидеть и долбить в один клавиш — не значит играть; мировоззрение — есть умение строить *мелодии* на клавиатуре из методов; это и значит: брать *воззрение* в круге воззрений или восходить к эсотеризму, который — в соединении мыслей, в со-мысле, в *смысле* духовном, прочитываемом, как *слово* из конгломерата букв (методов, фактов).

Вот если бы д-р Ганс Лейзеганг удосужился ознакомиться именно с XXXIII циклом лекций для членов А.О.-в среди других пятидесяти, ему попавшихся *по счастливой случайности* в руки, он сумел бы понять и другие 49 курсов; то же произошло бы, если бы д-р Ганс Лейзеганг, не ища *счастливых случайностей* встречи с курсами, циркулирующими лишь для членов А. О., почитал бы внимательнее «несокровенные» философские труды Штейнера; он бы понял *плюро-дуо-монистическую* концепцию, позволяющую Штейнеру быть в различных разрезах *монистом, дуалистом и плюралистом* и дающую возможность создавать перспективу *круга воззрений*, построенного правомерной градацией точек зрения среди хаоса этих точек.

Д-р Ганс Лейзеганг встретил хаос воззрений там, где иной встретит космос их; хаос — в д-ре Лейзеганге, в его беспомощном и беспочвенном метании по идеям антропософии, которой понять он не может, которую в изложении суждено ему исказить; но зачем он берется за очерк того, что ему неизвестно, невятно? Ознакомление с антропософией сложнее, чем кажется д-ру Лейзегангу; оно заключается в овладении философией антропософии, а не в сообщении сведений о том, что швейцарские мещане отказали в подданстве Штейнеру (греческие мещане в былом проделывали и не то: изгоняли и убивали своих мудрецов); русских не интересуют досужие экивоки; они ищут новых путей для культуры и мысли; и в том — их интерес к антропософии, если та освобождает от «*средневековья*» цеховых представлений научных статистов и «*средневековья*» церковной догматики²⁵).

Будучи в трезвом уме, в твердой памяти, позволяющими мне 12-ть лет изучать многообразные сочинения д-ра Штейнера и прослушать не менее 400 публичных и ин-

²⁵ См. мою статью «Anthroposophie und Russland» в «Die Drei». (в июльском и августовском №№ за 1922 год).

тимных лекций его, — заявляю в качестве ученика д-ра Штейнера, Члена А. О-ва и в качестве человека в течении 20 лет занимавшегося вопросами философии: очерк д-ра Лейзеганга страдает неосведомленностью и неовладением материалом.

Гарцбург, 26 мая 23 года.

Проф. Б. Ф. Адлер

Д. Н. АНУЧИН

Русская сравнительно молодая наука в некоторых своих частях развивалась и развивается очень медленно. Семья ученых невелика и сильно поредела в последние беспокойные годы. Особенно малочисленна семья русских географов и антропологов, потерявшая на днях своего наиболее видного и старейшего члена.

4-го июня в Солдатенковской больнице в Москве скончался после тяжелой и продолжительной болезни проф. Московского университета и почетный академик Академии Наук Дмитрий Николаевич Анучин.

Д. Н. Анучин родился в 1843 г. в Нолинске, Вятской губ. Еще в детстве он попал в Петербург, где окончил Ларинскую гимназию, после чего поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Здесь его учителями были Костомаров и Стасюлевич. Слабые легкие, однако, заставили Д. Н. Анучина расстаться с Петербургом, и он перешел на естественно-исторический факультет Московского университета. В 1867 г. он кончил курс и отдался научной работе, причем занимался исключительно зоологией. Он примкнул к проф. А. П. Богданову, учеником и ассистентом которого и должен считаться. Здесь отчасти под влиянием своего учителя он начал работать по антропологии и сразу занял видное место во вновь образованном тогда антропологическом отделе Общества Любителей Естествознания, Ан-

тропологии и Этнографии, где был некоторое время секретарем. Через некоторое время Д. Н. Анучин стал хлопотать о заграничной командировке для научной работы. Ему удалось попасть за границу, где он работал в Германии, Италии и Франции. Командировке сильно помогла вышедшая только что перед этим его работа об антропологии племени Айно на Сахалине и в Сев. Японии. Об этой работе дали очень лестные отзывы Мечников и кенигсбергский антрополог Штида.

Магистерский экзамен Д. Н. Анучин сдал скоро после окончания курса, но лишь в 1880 г. защитил диссертацию «О некоторых аномалиях человеческого черепа, преимущественно в их распространении по расам». Эти работы впервые дали на русском языке сводку известного материала и целый ряд наблюдений по добавочным и вставным костям человеческого черепа. Эти черепные аномалии, как известно, встречаются особенно часто у некоторых народов и племен и могут считаться почти что расовым признаком. За работу эту Д. Н. Анучин был избран доцентом по впервые учрежденной кафедре антропологии в Московском университете, на что были даны частные средства покойным фон-Мекком.

В начале 80-х годов преподавание географии в русских университетах подверглось коренной реформе. Загнавшая на задворки филологических факультетов география находилась в самом печальном состоянии. Филологи, мало делая для географии, не хотели, однако, уступить последнюю естественникам, к которым, конечно, по праву относилась география. Поэтому, хотя Министерство Народного Просвещения и издало распоряжение о переводе географии на естественный факультет, последняя еще два года преподавалась у филологов. Д. Н. Анучин начал свою академическую деятельность в качестве географа также на филологическом факультете. Когда кафедра географии окончательно была закреплена на физико-математическом факультете, Анучин явился естественным кан-

дидатом на нее. К тому времени у Д. Н. Анучина чисто географических работ почти не было, однако, его прекрасный труд: «О географическом распределении роста мужского населения в России (по данным воинских присутствий), удостоенный Географическим Обществом золотой медали, а также работы: «Лук и стрела», «О древних искусственно деформированных черепах, найденных в России» — дали ему степень доктора honoris causa. В последних работах уже ясно сказался интерес покойного к этнологии, этнографии и доисторической археологии. В «Луке и Стрелах» он дал на русском языке первую сводку иностранного материала по данному вопросу, а также широко использовал литературный и музейный материал по русскому оружию. Его работа впоследствии послужила прекрасным справочником и прообразом для многих работ, вышедших потом на немецком языке (Ратцель, Вейло, Карутц, Адлер и др.). Работа об искусственной деформации в пределах России является также ясным доказательством того, что археология и антропология окончательно и преимущественно занимали ум Д. Н. Если ему волей судеб и пришлось почти всю свою долгую академическую жизнь преподавать географию, писать статьи и работы по этнографии, работать по общественно-политическим вопросам в газетах и журналах, то все-таки доисторическая археология с антропологией являются главной и наиболее ему близкой областью знания. Здесь центр тяжести и главная заслуга Анучина перед наукой. Помню из своих студенческих лет, как увлекался покойный вопросом об антропологическом происхождении Пушкина, предки которого, как известно, были «арапы». Это было перед юбилеем почти. С утра до вечера с циркулем в руках он изучал маски Пушкина, собирал портреты его и сравнивал свои антропометрические наблюдения с данными, полученными при изучении первобытного населения Абиссинии. Работа печаталась в «Русских Ведомостях», но не была вполне закончена. И недавно по-

койный говорил мне, что хотел бы вернуться к своей теме. Не знаю, удалось ли ему это сделать? В этой теме сказался остроумный исследователь, который умело использовал самый разнообразный материал, идя в определенном направлении к своей цели.

Его интерес в области изучения человека сказался не только в многочисленных работах, но и в его университетском преподавании антропологии и этнологии. Курсов до исторической археологии и этнографии, как таковых, он не читал в университете*), зато его подход к этнологии был всегда в основе своей археологичен. Он создал прекрасный кабинет при Московском университете, из которого вышла вся русская школа антропологов (Ивановский, Курдов, Силинич, Джевахов, Вишневский и проч.).

Здесь, благодаря антропологической выставке 1882 г. в Москве, передавшей свой богатейший материал по крап-тологии и отчасти археологии, были сосредоточены громадные научные собрания. Кроме коллекций по антропологии и доисторической археологии, пополнявшихся Археологической Комиссией, студентами, покупателями за границей и в России и пр., Д. Н. Анучин сосредоточил при своем кабинете целый этнографический музей. Каждая экспедиция, каждая поездка его знакомых, учеников, друзей и почитателей несла в его учебный музей взятку, которую Д. Н., как прилежная пчела, любовно хранил в своих собраниях. Музей его носил, как и всякий университетский, характер учебного. Средства были грошевые, помещение до крайности ограниченное, мебель самая примитивная, — поэтому Д. Н. Анучин с самого начала отказался от идеи создания публичного музея, — и он превратил его в настоящую лабораторию. Здесь стоит отметить характер выставки его этнографических коллекций. Хорошо знакомый с Оксфордским музеем и идеей вы-

ставки коллекций в эволюционном, этнологическом порядке — Д. Н. и свой музей расположил по элементам культуры — составил так называемые сравнительно-экономические группы (напр., оружие, орудия, утварь, жилище, мебель, передвижение, религии и проч.). Лишь большие замкнутые коллекции, напр., якутов, сойотов, китайцев и пр. были выделены из этого эволюционного отдела. Это была первая попытка в России выставки материала по указанному принципу. С тяжелым сердцем покойный говорил мне много раз о том, что после его смерти чудесный музей останется без хозяина, без людей, которые любят и понимают это дорогое ему дело. Теперь, когда дитище Д. Н. Анучина осиротело, пред его преемниками ставится тяжелая задача сохранить и умножить богатства музея. — Его интерес к музейному делу не ограничивался пределами собственного музея, он работал с гр. Уваровым над планом Исторического музея, и до конца дней своих интересовался всем, что происходило в этом хранилище; в Румянцевском музее он был до последних дней своих неперенным и почетным членом, и после смерти Н. А. Янчука был даже недолго его преемником, впоследствии передав свое место пишущему эти строки. Когда, по силе обстоятельств, о которых говорить здесь не место, пишущий эти строки принужден был уйти из музея, Д. Н. Анучин, несмотря на свои преклонные годы, горел негодованием, как юноша. Но не только практическая музейная работа интересовала Д. Н., — его занимала и теоретическая разработка музейных вопросов. «Казанский Музейный Вестник» — уже в первых своих номерах дал две статьи, посвященные этим вопросам. Почти все главные заседания Музейного отдела Наркомпроса (после Главмузея), происходили в присутствии Д. Н., который был членом Совета. Он был также и председателем Этнографической Комиссии по созданию в Москве этнографического музея и искренне интересовался этим делом до последних дней своих. И здесь его живой ум

*) Лишь за два года он начал читать археологию в Моск. Археологич. Институте.

все время работал над мыслью создать, наконец, в Москве большой русский этнографический музей. Еще в 90-х годах, когда в Петербурге затевался этнографический отдел при музее Александра III, Д. Н. указывал, что место такому музею не в Петербурге, а в Москве. Этой мысли он оставался верен и до последнего времени, выставляя как бы контр-проект музея, в котором была бы дана этнография всего света в противоположность проекта автора настоящих строк*).

Велика была работа Д. Н. и в научных обществах Москвы и Петербурга. Он интересовался географией, этнографией, археологией и антропологией. В зависимости от этого протекала его деятельность и в Обществах. Так он был секретарем, тов. председателя, а впоследствии и председателем Московского Археологического Общества, был почетным членом Рус. Географич. Общества, почетным членом Общества Естествоиспытателей при Московском и Петербургском университетах и, наконец, председателем Общества Естествознания, Антропологии и Этнографии при Московском университете, где он был секретарем, председателем антропологического и географического отделов и пр. Особое внимание, интерес и любовь проявлял он по отношению к этому обществу, где делал доклады, сообщения, где работал в музее, комиссиях и пр. Можно сказать, что ни одна экспедиция этого общества не прошла без участия и руководства Д. Н.

Университетская работа Д. Н. создала кадры русских антропологов, географов, этнографов и археологов. Д. Н. был хорошим и умным профессором. Его речь не блистала внешними эффектами, она была проста, но интересна. Однако, больше всего давал Д. Н. после своих лекций, когда он оставался один со своими специалистами и более инте-

*) Б. Адлер. Всероссийский Этнографический Музей в Москве в «Изв. Общ. Ист., Этн. и Арх. при Казанском Музее», 1920 г.

ресующимися учениками. Он говорил немного, но иногда одним метким словом умел будить интерес и внимание своих учеников. Тут во всей силе проявился его здоровый скептицизм, его критический ум, — иногда одним словом он умел зародить сомнение в правильности взглядов, умел возбудить интерес к дальнейшему исследованию, направить его в здоровое русло. «Так что оно и так, а, может быть, и не так?» — было любимым выражением Д. Н. Его критический ум, связанный с громадной эрудицией и знаниями — сказался особенно в прениях на докладах, а также и на диспутах, на которых ему приходилось играть необходимую роль оппонента.

В качестве научного деятеля Д. Н. Анучин оставил после себя целую библиотеку печатных трудов; но и этим его заслуги не ограничиваются, — он редактировал и чужие труды и повременные издания. Журнал «Землеведение» создан им и держался целиком на его плечах. Здесь он давал оригинальные статьи, редактировал чужие, писал рецензии, составлял библиографию. В «Русском Антропологическом Журнале», основанном при Обществе Естествознания, Антропологии и Этнографии в честь 25-летия его ученой деятельности он редактировал статьи, писал статьи и заметки, одним словом, направлял вместе с А. А. Ивановским весь журнал. — Однако, не только научные журналы были ему близки, — он был членом редакции, а потом и редактором «Русских Ведомостей». Он не гнушался здесь заметкой петитом, если она была интересна, писал передовицы на общественные и научные темы и являлся верным отражателем всех явлений в области науки и отчасти политики. Преследования «Русских Ведомостей» цензурой, некоторые нелады в самой редакции, побудили Д. Н. расстаться с газетой, которой он продолжал интересоваться и после оставления редакции. Здесь мы знакомимся с Д. Н., как с общественным деятелем. Ему была близка и понятна русская жизнь, чутким барометром которой он являлся до последнего вре-

мени. Как он мне говорил, он стоял гораздо правее кадет, не вполне разделяя также и взгляды этой партии на самоопределение народов и на национальный вопрос в России. Он считал, что то, что завоевано русской кровью, должно принадлежать России, — автономии Польши, Финляндии и др. — не должно существовать. Некоторый великорусский национализм был ему не чужд, но надо отдать справедливость Д. Н. Анучину, — он умел, оставаясь чистым великоруссом, быть европейцем в широком смысле слова. Его не страшило, что среди его учеников много с нерусскими фамилиями, он охотно давал им дорогу, раз эти люди, по его мнению, годились для научной работы. Он был терпим в своих политических убеждениях.

В октябрьские дни, он понял, что стихийное явление большевизма выросло из недр народа в связи с переживаемым моментом мировой истории. Он не стал заниматься саботажем, а просто, как работник на ниве просвещения, несмотря на свои слабые старческие силы, взялся за тяжелый труд общественного работника (деканство). Ему принадлежит в «Красной Москве» статья о русском просвещении и науке за годы советской власти. Кто знает Д. Н. Анучина ближе, тот поймет, однако, что здесь его лицо не «подлаживалось» к новой власти, а просто культурная работа большого культурного человека. Д. Н. не мог не работать, как бы ни было тяжело кругом.

Жизнь Д. Н. слагалась нелегко. Первые научные шаги в лаборатории А. П. Богданова трудно дались ему. Когда он достиг независимого положения профессора, ему еще долго приходилось бороться с тем скептицизмом, которым окружены были его специальность — география и отчасти антропология, остававшиеся долгое время в загоне. Слабое здоровье его окрепло лишь впоследствии, в зрелые годы. По своей привязанности к Москве и газете, Д. Н. не принял звания академика Академии Наук, обязывавшее его к переезду в Петербург. Он предпочел жить в более здоровом климате Москвы. В личной жизни он

пережил тяжелую утрату: его любимый младший сын умер несколько лет тому назад. Последние годы, годы старости, требующей ухода, тепла и сытого уюта, Д. Н. приходилось особенно тяжело. Беготня за чайками, сидение в маленькой мансарде по близости от лежанки, необходимость кутаться в пестрый ватный халатик и ермолку, заботы о заработке статьями и пр., — надломляли слабеющие силы учителя. Прибывшие недавно из Москвы рассказывали мне, что видели, однако, еще в мае Д. Н. бодрым и энергичным.

Пусть эти бледные слова будут той данью любви, уважения и благодарности, которую чувствует пишущий строки эти к своему учителю и другу.

Берлин, 22 июня 1923 г.

МАТЕРИАЛЫ

Письма В. В. Розанова к М. Горькому

I

Спасибо, что отвѣтили, уже пересталъ ждать: и голько мучился: зачѣмъ я въ такое занятое время написалъ занятому человѣку такое неумѣстное письмо съ глупымъ вопросомъ: «разсудите меня, помогите мнѣ понять меня самого.» — Ну, вотъ, дочиталъ письмо до конца: вижу и Вы это замѣтили: «кровь льется кругомъ, а вы пишете — о себѣ.» Но то былъ порывъ и собственно давній порывъ — написать Вамъ, и даже написать Вамъ (т. е. иногда), хотя бы и не дожидаясь отвѣта (Вы заняты: и на молчаніе я ни мало не разсержусь, разъ зная общее доброе отношеніе ко мнѣ).

«Красиво погибнуть на глазахъ народа и за народъ» — развѣ я не знаю тайны этой?

Конечно — это не значитъ взойти на Небо и стать вѣчнымъ, какъ дѣлали древніе полу-боги.

Вы лирикъ («Пѣсня о соколѣ», да и все), у Васъ есть мечта и способность мечты — потерянная почти всѣмъ міромъ и отъ потери которой онъ собственно и сталъ «мѣщанствомъ.» Знаете, даже Толстой больше «мудритъ», больше «сознательно ведетъ толпу, къ чему ему хочется», нежели поетъ пѣсню*) — т. е. то, что

*) Сбоку на полях прим. Розанова: Тутъ я не разумѣю теперешнихъ поэтовъ, которые пишутъ стихи, а не поютъ пѣсню: пѣсня — душа вѣка, но лучшая, плачущая о себѣ или надъ собою.

теперь болѣе всего нужно міру и чего болѣе всего міру недостаетъ. Письмо Ваше ужасно многое въ Васъ мнѣ объяснило, именно объяснило тотъ героическій моментъ, который Вы очевидно играете, создаете, дѣлаете въ исторіи; его возбуждаете въ другихъ, ибо его имѣете въ себѣ. Дураки называли это «романтизмомъ», когда это «въ самомъ дѣлѣ»: а когда это «въ самомъ дѣлѣ» — то вѣдь больше міру ничего и ненужно. —

Ну, я Вамъ скажу на это вотъ что: у меня 5 дѣтишекъ, между 4 и 10-ю годами, семья склеенная незаконно (тайный бракъ, 1-ая жена меня оставила въ 1886 году и жива, вторая — всю себя положила для меня): стало быть это абсолютныя сироты безъ меня, умру я — и онѣ (4 дочери) — через 10 лѣтъ въ «% проституции».

Я когда объ этомъ Влад. Соловьеву (т. е. что дочери будутъ, вѣрно, по полной необезпеченности, [б] *) проститутками) написалъ, — то онъ перешелъ къ «другимъ философскимъ темамъ», просто не интересуясь кровью и жизнью, и я тотчасъ, не за себя, а какъ-бы за міръ — почувствовалъ къ нему презрѣніе, и это было настоящей причиною, что мы вторично «сатирически» разошлись. Можетъ это я и лишнее пишу, но не лишнее будетъ въ томъ смыслѣ, что Вы поймете, до чего мнѣ понятно соотношеніе между свиньей, собакой и мальчикомъ. Да, это такъ: свинья ѣла науку, философію, стихи, «театръ и искусство» — и въ сущности ничего этого ей и не надо даже было, это охорашивало ея хлѣвъ и реабилитировало ея свиную душу. «Тожже искусствомъ занимаемся и музамъ покровительствуемъ», «Эпоха Медици, эпоха Перикла, и мы.» Все это понятно.

И въ смыслѣ человѣческаго состава — не имѣемъ мы читателя, не имѣемъ публики. Кстати: я былъ въ «На днѣ», въ Худож. театрѣ въ Москвѣ: вижу въ антрактѣ

*) Слова и буквы в квадратных скобках — зачеркнуты в оригинале.

господа въ смокингахъ (особенный шикарный костюмъ) и монокляхъ, ажитируютъ: «нѣтъ, вы видѣли? Это — ужасъ! Никто этихъ типовъ не предполагалъ! М. Горькій открылъ. Вѣдь это — уже не люди.» Я подумалъ: «и что Вамъ Гекуба, и М. Горькій, и дно.»

Да, теперь все поднялось. Не думайте, что я не вижу, не понимаю. Эхъ, старъ я, 50 лѣтъ, да и всегда былъ лежебока-созерцатель; смотрѣлъ на людей, мечталъ, тоже ужасно мечталъ, если хотите — мечталъ даже и о волжскихъ лѣсахъ (я родился на Волгѣ) и о доброй барочкѣ, своей, «со товарищи» — а прожилъ байбакомъ, увальнемъ, мечты перешли въ теоретизированіе, въ муку съ вопросами, въ борьбу — съ идеями, и на это все ухлопалось.

Нельзя говорить, не пощупавъ шкуры другъ друга: посему Вамъ скажу кратко, что дѣтство мое все прошло въ страшной, почти неслыханной бѣдности: мамаша 2 послѣдніе года не поднималась съ постели, «работниковъ» былъ почти что я «главный», днями ѣли печеный лукъ (до чего сладокъ) — и обычно меня посылали въ лавочку купить на 1 коп. хлѣба (т. е. 1 к. и была въ домѣ) — и это была страшная мука самолюбія. Такъ что я эту «оперу» прошелъ. И слѣд. Васъ и все Ваше понимаю, равно какъ и Вы не должны меня считать «чужакомъ.»

Но — мечтатель, лѣнтяй и (отъ того, что дѣти? отъ того, что вѣчный умственный трудъ?) физически трусливый человѣкъ. Не то, чтобы прямо и отчетливо: а просто, никогда не хворавъ, не выношу и прихожу въ бѣшенство даже отъ головной боли, объ операциі и подумать не могу (бѣдная жена моя 3 раза ее выносила), смерти вовсе не боюсь — а быть зарѣзаннымъ на улицѣ черносотенниками — ну, просто не умѣю этого представить.

Но все я пишу о себѣ, а вѣдь нужно писать о мірѣ. Сшиблись грудь-съ грудью весь русскій идеализмъ, — который только теперь обнаружилъ свои маленькіе раз-

мѣры, въ смыслѣ человѣческаго состава, — и послѣдній цинизмъ. Вотъ ужъ судьба! Рокъ, fatum! Нельзя было предвидѣть въ 1903 году. Михайловскій-то умеръ: вотъ бы посмотрѣлъ. Да и всѣ, милые, сошли скорбные въ могилу безъ всякихъ надеждъ или съ какими-то тусклыми, не вѣрными, робкими. Знаете-ли, до чего разрослось движеніе: сегодня за обѣдомъ 2 дочери изъ приготовительнаго класса гимназіи Стоюпиной говорить: «а къ намъ подошли дѣвочки (т. е. подруги приготоновишки) и спрашиваютъ: «вы (т. е. Розановы) за кого — за рабочихъ или за царя?» (каково раздѣленіе?! — «Ну, за кого-же вы?» — «Конечно, за рабочихъ»; — «А ты?» (сынъ 5 — 6 лѣтъ): «я за царя.» Ну, подумайте. И дѣвченки что-то понимаютъ, не такъ болтнули: вѣрно думаютъ: «рабочіе — это бѣдные, царь — богатъ; мы за рабочихъ.»

Такъ-что теперешнее движеніе абсолютно объемлетъ всю Россію. Это не бывало. Революціи, кромѣ можетъ быть первой французской, совершались [городами], в городѣ и городомъ, столицею, «группами» жителей, но не страню въ ея составѣ. Это удивительно и ново.

«Пролетаріи» — хорошо. Я бы только лучше писалъ и говорилъ на митингахъ: «бѣдняки», «не имущіе», или просто: «рабочіе». Вѣдь должны понимать безграмотные, дѣти, деревенскія бабы. Вѣдь не со «словаремъ русско-иностранныхъ словъ» имъ ходить на митинги. Разъ всталъ весь народъ или вотъ-вотъ встанетъ, должно быть все «по-русски».

Удивительное явленіе, удивительныя событія. Разъ 2 рабочихъ наборщиковъ (1-ая забастовка, около 12 октября) переспорили всѣхъ видныхъ сотрудниковъ «Нов. Вр.» (Гольштейнъ, Меньшиковъ, Столыпінъ, Пилленко) отстаивая право наборщиковъ «не набирать лжи-выхъ статей.» Жена, заѣхавшая случайно въ редакцію и изъ прихожей слушавшая этотъ споръ, шедшій въ корридорчикъ, сказала мнѣ: «какъ мнѣ тебя жаль, В., ты дѣй-

ствительно работаешь среди сволочи, людей лживыхъ и циничныхъ до мозга костей.» Сотрудники рабочимъ говорили: «да неужели-жъ вы будете нашими цензорами.» Тѣ отвѣтили: «цензорами вашими мы не хотимъ быть, а когда 9-го января намъ прислали [утромъ] вечеромъ и днемъ однѣ статьи съ описаніемъ событій, а потомъ ночью наборъ этотъ былъ уничтоженъ и намъ прислали другія статьи съ полными описаніями, гдѣ все было скрыто и замазано — то мы въ правѣ не набирать такой фальшивой газеты или вотъ такихъ фальшивыхъ номеровъ.» Рѣчь прямая и [бо] мужественная.

Ну, да это Вамъ извѣстно лучше меня.

Задача міра воспріять мечту. Мечта не есть фантазія. Не есть романъ. Мнѣ думается иногда, что Богъ сотворилъ сперва мечту и потомъ человѣка: такъ-то она древнѣе даже и человѣка, и хоть забывается иногда, способность ея теряется на вѣка: но [не] никогда окончательно, и, когда она будится — всѣ ее понимаютъ какъ что-то совершенно родное, всѣмъ близкое, всѣмъ сразу понятное — и идутъ за ней какъ за «старой-бабушкой» младенцы. Мечта — это и красота («лучше сгорѣть на кострѣ, чѣмъ утонуть въ помойной ямѣ» — въ Вашемъ письмѣ), и истина, и справедливость, — доброта. Какъ хорошо, что у васъ есть тоска ея. Даже больше — что есть способность ея, есть она уже во-очію. Это и есть «звѣзда надъ вами», мой другъ — ужъ простите за фамильярность. И не гасите ее, ищите ее, еще ярче ее зажигайте.

Понятны мнѣ (и тоже не умѣю выполнить) и слова Ваши: «Правда — проста, все великое — просто, народъ — простъ, какъ небо; съ нимъ нужно говорить хорошими,

твердыми словами» и пр. Знаете: другимъ я это самое говорилъ: «нельзя быть мудрымъ безъ простоты, все что не просто — еще не зрѣло, оно и вздорно и ненужно.» А самъ не умѣю выполнить. И отъ того, что жизнь моя до извѣстной степени прошла въ хитрости, въ обманѣ: былъ я всегда страшно придавленъ, надо мной всегда были «у — какіе большіе», которые меня всегда могли раздавить мизинцемъ, и я съ дѣтства, страшно раннего, приучился бояться, ненавидѣть и скрываться — и вѣроятно это передалось въ психику и затѣмъ въ слогъ. [Такой] Даже въ ходъ мысли. Такой «шагъ» выработался, увертка.

Мнѣ вѣдь не жаль, что я не имѣю славы. Старъ и лѣнивъ для нея. Меня мучить, что лучшимъ людямъ я не нуженъ. И не то, чтобы они «не узнаютъ меня, не полюбятъ» (тутъ есть грусть, но не огромная): а что я имъ-то не нуженъ, ничего имъ въ кошель не положилъ, хотя явно могъ бы.

Это чертъ знаетъ что такое случилось! Я думаю — не бывало ни съ однимъ писателемъ. Гдѣ я ни писалъ («Моск. Вѣд.», «Русск. Вѣстн.», «Русск. Обзор.», «Нов. Вр.»; только условно и частью любилъ «Нов. Путь») я рѣшительно ненавидѣлъ и презиралъ тѣ журналы, въ которыхъ писалъ, и редактора и всѣхъ сотрудниковъ, буквально сытыхъ и посмѣивающихся. Изъ «Нов. Вр.» я порывался выйти, особенно когда наступили «событія». Тамъ меня связываетъ только самъ Суворинъ: тутъ тоже пожалуй слабость: старикъ меня любитъ (онъ далеко не всѣхъ, или скорѣе почти всѣхъ своихъ сотрудниковъ не уважаетъ) и это вызываетъ во мнѣ не то что любовь, но очень ласковое къ нему чувство. Онъ не видѣлъ студенчества и образованныхъ рабочихъ, не былъ въ университетѣ, литературу воспринималъ больше со стороны эстетической, исторію — со стороны «Минина и Пожарскаго» — и абсолютно ничего не понимаетъ въ движеніи,

«не может повѣрить» ничему, хоть я и говорю ему. Для него все это «жида, негодяи и властолюбцы». Именно онъ мечтѣ - то не вѣрить.

Вашъ В. Розановъ.

(Сбоку на поляхъ последней страницы):

Еще разъ спасибо за отвѣтъ. Онъ таковъ, что я позволю себѣ еще писать. Можетъ когда и свидимся. Дайте знать, когда приѣдете въ Петербургъ — приду.

II

Все Вамъ вышло, милый Алексѣй Максимовичъ, — только обождите: очень занятъ.

Деньги всѣ получилъ. Спасибо.

Пришлите мнѣ списокъ 385 страницы изъ Ириней (о кровоточивой женщинѣ): я раскрывъ случайно прочелъ. Господи, какая ерунда! Даже въ газетахъ такого не печатаютъ. А именуется: «Отецъ и учитель Церкви.»

Но не въ «Иренеяхъ» дѣло, и Вы не проморгайте. Всѣ «Ириней» могутъ врать: а «церковь» (съ которой я воюю всю жизнь), будучи съ одной стороны ненавидима и ненавистна — съ другой — единственно почти теперь интересное на землѣ. Куда интереснѣе социаль-демократіи и даже — кто знаетъ — мож. быть всего русскаго народа. Какимъ образомъ «такая глупая старуха», т. е. церковь, — интереснѣе «молодухъ» (соц. демократіи и народа) — это почти невозможно постигнуть, понять и растолковать. Иной разъ встрѣтишь на улицѣ старуху беззубую: только шамкаетъ... Но смотрите на нее долго, пойдите за нею въ избушку, вслушайтесь въ ея «бормотанье»... и увидите что-то новое, чего съ «дѣвцами» не узнаешь, не постигнешь.

Я вотъ «вѣкъ борюсь» съ церковью, «вѣкъ учусь» у церкви; проклиная — а вмѣстѣ только ее и бла-

гославляю. Просто чертъ знаетъ что. Голова кружится... Бездонно все; глупо (Ириней) и бездонно. Злоупотребительно — и только одно народу и нужно.

Тутъ домовой

Тутъ лѣшій бродить

Русалка на вѣтвяхъ сидитъ.

Въ книгахъ моихъ, въ «Темномъ Ликѣ», прочтите хоть 1 статью со вниманіемъ «Русскія могилы». Изъ этого Вы увидите какъ я умѣю отрицать и ненавидѣть: а вотъ интимно говорю — люблю. И можетъ только до завтра люблю: а завтра буду клясть.

Мало Вы мнѣ пишете и я сержусь. «Что я корреспондентъ что-ли какой: я — Розановъ.» Ну, посмѣйтесь и забудьте.

В. Розановъ.

III *)

Спасибо, милый, за письмо, — такое любящее. Такъ и будемъ: внѣ «хода мысли» помнить другъ о другѣ.

*) Письмо написано в ответъ на письмо М. Горького:

Уважаемый Василій Васильевичъ!

Посылаю списокъ 385-й стр. Ириней — вѣрно-ли, то-ли Вамъ надобно?

А что «церковь интереснѣе социаль-демократіи и даже — кто знаетъ — можетъ быть — всего русскаго народа» — съ этимъ насквозь и кругомъ не согласенъ! И не убѣдить Вамъ меня, что книга В. Розанова — малая часть его души и его опыта — интереснѣе всего В. Розанова — сказки не досказанной до конца и конецъ которой — послѣдній день жизни Розанова. — «Интереснѣе всего русскаго народа» — и всякаго народа — ничего нѣтъ, да и — как можетъ быть! Все — изъ народа:

А моя мамочка изъ могилы жметъ Вамъ за сына руку: ахъ, какая она была бѣдная и измученная. Вотъ это цѣлая исторія — и подъ перо-бы Вамъ. Да и вся наша семья въ Костромѣ — Вашъ сюжетъ, съ «лирикой».

В. Розановъ.

(Сбоку на поляхъ):

Книгу пришлю. Сейчасъ иду въ судъ: судъ тянетъ за «Уединенъ».

IV

Дорогой и милый Massimo!

Я Вамъ не писалъ, п. ч. очень замотался, и... зачерносотенничался. Мнѣ ужасно было-бы печально, еслибъ именно Вы на меня обозлились за это: т. е. злиться можно, ругать тоже можно: но не отпадайте въ душѣ. Я Васъ полюбилъ за простоту, за умъ, за не-

и церковь, и социаль-демократія, оттуда-же и еретики всякій — Вы въ томъ числѣ. «И даже — кто знаетъ — м. б.» — социаль-демократія — виѣшнее выраженіе — хаотическаго пока еще — творчества всенароднаго, направленнаго къ возведенію новой церкви-же. Домовые, лѣшіе, русалки — не исключаются и въ будущемъ; мы всегда будемъ жить въ чудесахъ и тайнахъ, изъ нихъ-же самое чудесное суть — человекъ, народъ, народище.

Мнѣ тутъ слово самое нравится и опьяняетъ меня — народъ — родъ на родъ — вавилонской башни строеніе, бунтъ всякій, разноязычіе, звѣриный эгоизмъ и великое откровеніе одной распутной итальянской бабы:

— «Терплю эту жизнь потому, что я очень сильная и пока я тутъ живу — другихъ не обижаятъ».

Пишите Вы — «люблю. И, можетъ, только до завтра люблю, а завтра буду клясть». Это я за Вами знаю и ужъ не нравится-же мнѣ это — ужасно! Да и не вѣрю я Вамъ въ этомъ, а повѣривъ — призналъ-бы прыжки Ваши судорогами отчаянія — полного нигилизма, неискоренимой боли душевной за міръ — за міръ, все таки! Вы извините, что пишу столъ,

хвастовство (теперь всѣ писатели хвастунишки). А что я черносотенничаю иногда, то вѣдь всѣ мы «бароны»: — Всѣ черненькіе, всѣ скачемъ...

Охъ, вотъ я усталъ какъ чертъ. Пришлите монеты съ какимъ-нибудь конспиративнымъ эсъ-дакомъ. Интересно посмотръть, и м. б. Вы штукъ 10 подарите «брату по перу.» А такъ указывать въ темную — невозможно. У меня римскихъ 1.300. Греческихъ 4.500. Больше, чѣмъ есть въ Московскомъ университетѣ (150 лѣтъ собирали дураки, и меньше моего собрали!!!)

Какъ-бы намъ надо быть знакомыми, и давно. И чертъ знаетъ отчего не познакомились. Какъ дураки.

откровенно, думаю, что имѣю на это нѣкое право, ибо очень уважаю Васъ за талантъ и за пафосъ.

И мнѣ больно бываетъ, когда вижу, что Вы себя мало цѣните, иногда-же — не любите вовсе. Порою мнѣ кажется, что Васъ родилъ искаженный и злой человекъ Федоръ Достоевскій и Вы все боретесь съ папашей въ самомъ себѣ. Не люблю я «великаго инквизитора» Достоевскаго и восточнаго философа Льва Толстого — не люблю. Вообще — не люблю китайцевъ.

А къ Вамъ у меня — сложное чувство, цѣлая радуга чувствъ, съ яркой зеленой полосой злости. Злость — это когда Вы лежачихъ бьете, занятіе Васъ недостойное.

Революціонеровъ — тоже не трогать-бы Вамъ: Вы сами революціонеръ, да вѣдь и нравятся они Вамъ. Очень неловко читать, когда Вы, дразнясь, говорите о томъ, во что не вѣрите — вродѣ японскихъ денегъ, напимѣръ. Въ безалаберной и отовсюду накачиваемой злобой звѣриной странѣ нашей — съ такими штукаами надо обращаться осторожнѣй-бы.

Не подумайте, что учу — нѣтъ, конечно; просто — разговариваю одинъ на одинъ съ Вами, съ глазу на глазъ.

И очень хорошо знаю, что Вы не «корреспондентъ, а Розановъ» — вотъ — пишу много.

Будьте здоровы!

Вы вѣдь нумизматъ? Не могу-ли быть полезенъ: у меня есть нѣсколько бронзовыхъ монетъ императорскаго Рима, есть и восточные императоры. Скажите что надо и, если найдется, — пришлю. А Вы мнѣ — нецензурованный «Ликъ».

Всего доброга!

Вы мнѣ иногда пишете. Только побольше. Я чувствую что-то нужное для своей души въ тонѣ Вашихъ писемъ,*) въ самыхъ мысляхъ. «Родъ—на родъ—народъ» — хорошо. Это большая философія. Это пожалуй «еще церковь» и дѣйствительно Вавилонская башня.

Въ письмахъ не договоримся. Устно-бы столковались. Угораздило Васъ на Капри. И смѣшно, и вредно. Ужасно усталъ.

В. Розановъ.

!!Пишите - же!!

V

Нѣтъ, нашъ славный Massimo Gorki — мнѣ «не лѣнь» похлопотать для Васъ, и все сдѣлаю съ особымъ удовольствіемъ. Пока — у букинистов не нашель, да и безнадежно у нихъ искать: ничего «духовнаго», только «романъ — прежнихъ лѣтъ.» «Обыкновенное русское.» Черезъ недѣлю, когда буду въ Питерѣ, наведу справки еще въ одномъ магазинѣ, а затѣмъ у одного друга, и затѣмъ когда вездѣ получу «нѣтъ», то уже во всякомъ случаѣ получу книгу из библіотеки СПБ. Духовной Академіи, но это лишь — увы къ 1-му сентября, ибо сейчасъ всѣ тамъ въ разѣздѣ и Академія пуста. Боюсь, что Вамъ нетерпѣливо — сейчасъ нужна книга, для спра-

*) Онъ всегда правдивый и прямой. Безъ «литературы» — ну се къ матери, выругаюсь я, «Со дна» (ужасно мнѣ правится, не всѣмъ, но нѣкоторыми сторонами, и, главное, языкомъ).

Баронъ изумителенъ.

Только проститутки я думаю не такія, какъ Вы описываете. Я кое-что наблюдалъ: много удивительнаго. Удивили между прочимъ меня честностью и правдивостью. Куда выше профессоровъ, да и писателей въ большинствѣ.

Прим. В. В. Розанова.

вскъ, для работы. Если же это вообще — интересъ и изученіе, тогда конечно можно терпѣть до сентября.

И у меня Ваше прекрасное письмо хранится... Ниже можете не читать, ибо я «по разврату писателя» вступая въ литературу: — ну-бы ее къ черту литературу, такъ она ложна, притворна, лѣзетъ съ поученіями (вѣдь самъ всякій долженъ быть уменъ), и остался бы только прекраснѣйшій отдѣлъ литературы: просто — письма простыхъ людей, ну — переписка писателей, «о томъ о сѣмъ что видѣлъ», да «что думается». Дальше еще хуже пожалуй не читайте: получивъ Ваше письмо и бродя по букинистамъ, думалъ о Васъ, о судьбѣ Вашей. Осторожно скажу такъ: Ваша натура — боевая; положеніе (съ дѣтства) — въ протестъ; и пока Вы были «протестующій» — «натура» и говорила золотыя слова. Что же случилось потомъ, далѣе: вѣдь острая и ядовитая борьба всегда не противъ «журавля въ небѣ», а противъ «клопа, который кусаетъ въ постели», противъ сосѣда, ближняго. Васъ подняла «с.-д.», — и понесла на плечахъ. Она создала Вамъ триумфъ: и когда вмѣсто «клоповника» Вы очутились «въ меду» естественно изсякла сила Вашего голоса, ибо исчезла острота мукъ, позоръ вчерашняго дня (соціальный) и проч. Ахъ, оковы и тюрьма золотое условіе для пѣсни: а «Сарданапалы» когда-же были поэтами? Увѣренъ, будь с.-д-тія «унижена, оплевана и отвергнута» — она говорила - бы могучія слова могучимъ языкомъ: но когда (слыхалъ я) «княгиня Бятынская (она же Яворская) съ аршиннымъ шелковымъ хвостомъ, придя къ Минскимъ, заявила садясь на стулъ къ кофее, что иначе какъ на экспроприаціи всѣхъ имуществъ и на соц.-дем. республикѣ — она не помирится», то я вдругъ почувствовалъ желаніе обратиться въ мышъ и убѣжать подъ полъ...

Ну, да все это извѣстное.

Вашъ В. Розановъ.

VI

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

С.-Петербургъ, Эртелевъ пер., 6.

Почему я сталъ консерваторомъ?

Не дочиталъ еще, но прочелъ три столбца 2-ой статьи «О современности» и точно кровь каплетъ изъ сердца при чтеніи каждой строки... Знаете-ли вы жизнь Страхова Н. Н.? И знаете-ли вы жизнь Кон. Леонтьева? Первый читалъ по латыни, по гречески, французски и нѣмецки, и былъ специалистомъ по философіи, по биологін и по физикѣ. Стахѣвъ мнѣ передавалъ: — «Бывало придешь къ нему — и онъ скажетъ: дайте 1 р., я пошлю за чаемъ. У меня нѣтъ: а вы гость — и я васъ долженъ напоить.»

Когда я его спросилъ объ этомъ, Страховъ отвѣтилъ:

— Ну, да! Я люблю Россію, и мнѣ писать было негдѣ; я жилъ переводами, перевелъ Исторію философіи Куно-Фишера, переводилъ Тэна и проч. На обѣдъ и квартиру хватало, а на чай — нѣ всегда.

Такова же была и жизнь Конст. Леонтьева: и его журналистика также «казнила и погребала», просто отъ того, что онъ не отрѣкся отъ Россіи и не любѣжалъ за нѣмецко-еврейской социаль-демократіей.

А вы пишете, что «страдальцами» были Щедринъ и Михайловскій. Полноте: стоитъ какой-то ужасъ обмана, и вы Богъ знаетъ зачѣмъ съ свободной душой и съ біографіей человѣка изъ народа поплелись за колесницей, которая давила и давить все бѣдное, все гордое, все честное, все не сдававшееся. Каткова я исключую: онъ — не знаю «кому брать», но онъ не нашъ, не мы. Я говорю о Гиларовѣ-Платоновѣ, Страховѣ, Кон. Леонтьевѣ (почти и только!), о Говорухѣ-Отроковѣ... Скажите, какіе «несчастненькіе» эти Михайловскій, у ногъ котораго

была вся Россія, и Щедринъ, котораго косою взгляда трепеталъ Лорисъ-Меликовъ.

Да вы поглядите, какъ Философовъ (сынъ тайнаго совѣтника и главнаго военнаго прокурора) и Мережковскій (его отецъ былъ придворнымъ) перекинулись въ социалистовъ, зная, что только тутъ успѣхъ, и что не*) будучи социалистомъ русскій писатель подохнетъ съ голоду, если онъ не въ «Нов. Вр.» Мережковскій нѣсколько разъ просилъ меня устроить ему свиданіе съ старикомъ-Суворинымъ, «хоть на ½ часа», но я зная отвращеніе Суворина къ декадетамъ и неуваженіе специально къ Мережковскому, какъ къ неумному чело-вѣку, и къ Философову за его...**) не хлопоталъ о свиданіи, зная, что ничего не выйдетъ. Хотя лично мнѣ было-бы въ высшей степени приятно и практически полезно, если-бы въ редакц. «Нов. Вр.» вошли эти друзья мои. Это было въ 1902 — 1905 гг.

Тогда, зная что «или Нов. Время или умри съ голоду, если не социалистъ» — они перешли въ социализмъ.

Нѣтъ, Алексѣй Максимовичъ: вы — мечтатель, вы — сновидѣць***) (для литератора это и отлично) и не знаете исторіи русской литературы, не знаете судьбы русскихъ писателей, не знаете чудовищнаго чернаго погребѣ, въ которомъ она копошится, какъ червь въ гробу: и оплакиваете въ золотыхъ веревочкахъ людей и топчете ногами замученныхъ праведниковъ русской земли.

Вы просто фактовъ не знаете.

А это общество, которое ритора****) Андреева понесло на плечахъ, яко Христа въ Іерусалимъ, съ осанной...

*) Подчеркнуто два раза. Ред.

**) Пропускаемъ личную характеристику Д. Е. Филосо-
фова. Ред.

****) Такъ въ подлиннике. Ред.

*****) Подчеркнуто три раза. Ред.

Нѣтъ, общество наше заслужило казнь себя. Я — одиночка, и мнѣ ни до кого — дѣла нѣтъ. Я сумасшедшій и фантазеръ: но я своимъ сумасшедшимъ смѣхомъ посмѣялся-бы, если бы на Россію пошелъ вторично Аракчеевъ и показалъ предательскому и подлому нашему обществу «Кузькину матку».

Это — зажирѣвшій жеребецъ на стойлѣ; самодовольный, хвастливый, чавкающій масляннымъ ртомъ. — Съѣлъ правду этотъ жеребецъ: и ему именно не Коковцева надо и не Думу, а просто на просто Аракчеева. [Ему надо просто на просто «жиру спустить». Я хорошо знаю, что Аракчеевъ — варварство — казнь. Но есть времена, именно вотъ золотенькія, именно вотъ благоутробныя, когда хочется не разсуждений и не философіи, [хочется не (неразборчивое слово)] а казни.

В. Розановъ.

(На первой страницѣ на поляхъ): О самоубійствахъ я вамъ возражаю въ «Новомъ Времени».

(На послѣдней страницѣ на поляхъ): Я вамъ и такъ собирався писать по дѣлу — и напишу — а пока посылаю безъ «дѣла» чувства. Очень вы меня разожгли своей неправдой по незнанію.



КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Э П О Х А

№ 3 * НА 1 АВГУСТА 1923

BERLIN SW 68, ZIMMERSTRASSE 7/8
TELEPHON AMT ZENTRUM 59-61

Вышли в свет и поступили в продажу:

АЛЕКСАНДР БЛОК

Собрание сочинений в десяти томах.

Том 1. Стихотворения, книга 1 (Ante Lucem, Стихи о Прекрасной Даме, Распутья).

Цена мар. 6.— в перепл. мар. 9. —

Том 2. Стихотворения, книга 2 (Пузыри Земли, Ночная Фиалка, Разные стихотворения, Город, Снежная Маска, Фаина, Вольные мысли).

Цена мар. 6.— в перепл. мар. 9. —

Том 3. Стихотворения, книга 3 (Страшный мир, Возмездие, Ямбы, Итальянские стихи, Разные стихотворения, Арфы и скрипки, Кармен, Соловьиный Сад, Родина, О чем поет ветер).

Цена мар. 6.— в перепл. мар. 9. —

Том 4. Поэмы, стихотворения, проза (Двенадцать, Скифы, Возмездие, Последние стихотворения, Проза).

Цена мар. 4. — в перепл. мар. 7. —

Том 5. Театр (Балаганчик, Незнакомка, О любви, поэзии и государственной службе, Король на площади, Роза и Крест, Песня Судьбы, Рамзес).

Цена мар. 6.— в перепл. мар. 9. —

Том 7. Статьи, книга 1 (Безвременье, Девушка розовой ка-
литки и муравьиный царь, Вопросы, вопросы и во-
просы, Религиозные искания и народ, Народ и ин-
теллигенция, Стихия и культура, Ирония, Дитя
Гоголя, Пламень, Интеллигенция и революция, Горь-
кий о Мессине, Немые свидетели, Призрак Рима,
Взгляд Египтянки, Вечер в Сиенне, Маски на улице,
Вирбаллен, О современном состоянии русского сим-
волизма, Памяти Врубеля, Рыцарь-монах, Судьба
Аполлона Григорьева, Катилина, Владимир Соловьев
и наши дни, Крушение гуманизма, О назначении
поэта).

Цена мар. 8. — в перепл. мар. 11. —

Том 9. Статьи, книга 3 (О театре, Пробуждение весны, Пе-
леас и Мелизанда, Об одной старинной пьесе, Памяти
В. Ф. Комиссаржевской, В. Ф. Комиссаржевская, Па-
мяти К. В. Бравича, О «Розе и Кресте», Рецензии для
литературно-театральной комиссии государственных
театров, Письмо о театре, Размышления о скудости
нашего репертуара, Доклад в коллегия ответствен-
ных работников, Работы репертуарной секции, Рецен-
зии статьи и речи для Большого Драматического Те-
атра, Речи для чтения красноармейцам перед пред-
ставлениями, О Мережковском, Король Лир, Речь на
юбилее Н. Ф. Монахова).

Цена мар. 8. — в перепл. мар. 11. —

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Петербург, роман в двух томах, новое переработанное
издание.

Цена мар. 12. — в перепл. мар. 16. —

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Серебряный Голубь, роман в двух томах.

Цена мар. 12. — в перепл. мар. 16. —

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Стихи о России.

Цена мар. 1.20.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

После Разлуки, новая книга стихов.

Цена мар. 2.40.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Глоссалалия, поэма о звуке.

Цена мар. 2.70.

ВЛАДИМИР ВОЛЬКЕНШТЕЙН

Черный Рыцарь, средне-вековая легенда.

Цена мар. 1.50.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Петербургская Летопись, из неизданных
произведений.

Цена мар. 1.80.

ВЛАДИМИР ГИППИУС

Лик Человеческий, поэма.

Цена мар. 6. —

М. О. ГЕРШЕНЗОН

Судьбы еврейского народа, 1-ое издание
(распродано).

М. О. ГЕРШЕНЗОН

Судьбы еврейского народа, 2-ое издание.

Цена мар. 1.50.

МИХАИЛ ЗОЦЕНКО

Рассказы Назара Ильича господина
Синебрюхова.

Цена мар. 1.50.

ДЖ. М. КЕЙНС

Пересмотр мирного договора, единственный на
русском языке полный, разрешенный автором, перевод.

Цена мар. 6.—

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

Мара, книга рассказов.

Цена мар. 3.60

«ПЧЕЛЫ»

Петербургский альманах. (Содержание —
В. Ирецкий — Пчелы, Ник. Никитин — Кол, Ник.
Тихонов — Стихи, Всев. Иванов — Полая Арапия).

Цена мар. 3.50.

МАРИЯ ШКАПСКАЯ

Кровь - Руда, книга стихов.

Цена мар. 0.80.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Царь - Девица, Поэма - сказка, печать в две краски на
бумаге верже без примеси дерева.

Цена мар. 4.80.

Обложка и графические украшения Л. Е. Чириковой.

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

Книга о Блоке.

Цена мар. 3.60.

БЕСЕДА

Журнал литературы и науки, книга I.

Цена мар. 10.—

БЕСЕДА

Журнал литературы и науки, книга II.

Цена мар. 10.—.

★

Детские книги:

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

Крокодил, рис. Ре - ми.

Цена мар. 6.—.

(по старой орфографии).

РЕД. КИПЛИНГ

Слоненок, рис. Крафта.

Цена мар. 3.—в переплете.

(по старой орфографии).

Л. МИХЕЛЬСОН

Медвежья шуба, русская сказка.

Цена мар. 1.—.

(по новой орфографии).

Л. МИХЕЛЬСОН

Бесхвостый воробей, русская сказка.

Цена мар. 1.—.

(по новой орфографии).

Л. МИХЕЛЬСОН

Лисенок, русская сказка.

Цена мар. 1.—.

(по новой орфографии).

Печатаются и готовятся к печати:

АЛЕКСАНДР БЛОК

Собрание сочинений, томы 6, 8 и 10.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Начало века, Воспоминания, в четырех томах.

Том 1. — Блок и его время.

Том 2. — Сумерки.

Том 3. — Кризис.

Том 4. — Революция.

(Томы 1 и 2 поступят в продажу 25 сентября).

ЛЕВ ШЕСТОВ

Странствования по душам.

РОМЭН РОЛЛАН

Махатма Ганди, перевод с рукописи.

Проф. Ф. А. БРАУН

Первобытное население Европы.

БЕСЕДА

Журнал литературы и науки, книга III.

Цены указаны в основных марках. — Для получения продажной цены надо умножить указанную цену на коэффициент дня платежа. — За границу книги продаются только в твердой валюте из расчета —

1 марка каталога равняется 6 центам.

С заказами обращаться в издательство ЭПОХА
Berlin SW 68, Zimmerstrasse 7/8

Книгопродавцам обычная скидка.

Каталоги по первому требованию высылаются бесплатно.

★

С мая 1923 в Берлине выходит журнал литературы и науки

Б Е С Е Д А

при ближайшем участии

ПРОФ. Б. А. АДЛЕРА, АНДРЕЯ БЕЛОГО, ПРОФ. Ф. А. БРАУНА, МАКСИМА ГОРЬКОГО и В. Ф. ХОДАСЕВИЧА

Журнал выходит раз в два месяца книгами
в 25 — 30 печатных листов (400 — 480 стр.).

В журнале принимают участие: Проф. В. М. Алексеев, Ю. Балтрушайтис, проф. О. Башин, Н. Берберова, К. Брейтфус, проф. О. Винер, проф. К. Войле, М. О. Гершензон, А. Глоба, Дж. Голсуорти, Андрэ Жермен, М. Зоценко, Н. Каверин, В. Казин, Баррет Кларк, А. Костиньерос, прив.-доц. Ганс Лейзеганг, проф. Теодор Литт, Лев Лунц, А. Лютер, О. Мандельштам, Г. Мергард, Николай Никитин, Николай Оцуц, София Парнок, С. Л. Рафалович, Алексей Ремизов, проф. А. Рюль, проф. Ф. Ринне, Ромэн Роллан, С. И. Сергеев-Ценский, М. Слонимский, проф. С. И. Созонов, Ф. А. Степун, Мартинец Сиерра, Николай Тихонов, Герберт Уэллс, проф. М. Ферстер, Ольга Форш, проф. Г. Фрейер, проф. Л. Фробениус, С. Черниковский, Николай Чуковский, прив.-доц. Шеффлер, проф. Штейнах, Мария Шкапская, В. Б. Шкловский, Франц Элленс и др.

С заказами обращаться
в ИЗДАТЕЛЬСТВО ЭПОХА
Berlin SW 68, Zimmerstrasse 7-8

Цена каждой книги 10.— марок Коэффициент дня платежа.
Для заграницы цена каждой книги 0.60 северо-америк. доллар.
Книгопродавцам обычная скидка.

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ КНИГИ

В. Ходасевич — Зимние стихи. — М. Горький — Отшельник. — Лев Лунц — Вне закона. — Ник. Чуковский — Козленок. — Н. Берберова — Стихи. — Виктор Шкловский — Цоо или четыре письма из книги не о любви. — Проф. В. Алексеев — Царевна заоблачных плущей (перевод с китайского). — М. Горький — Заметки. — Андрей Белый — О «России» в России и о «России» в Берлине. — Д-р. Ганс Лейзеганг — Антропософия. — Проф. Ф. А. Браун — Первобытное население Европы. — Ромэн Роллан — Махатма Ганди, перевод с рукописи. — Проф. О. Винер — Рентген. — Проф. Т. Литт — Эрнст Трельч. — Франс Элленс — Французская литература в Бельгии, перевод с рукописи. — Баррет Кларк — Евгений О'Нейл и американская драма, перевод с рукописи. — Мартинец Сиерра — Хасинто Бенавенте — перев. с рукоп.

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОЙ КНИГИ

Александр Блок — Последние стихотворения. — М. Горький — Из дневника. — Николай Оцуц — Дон-Жуан. Стихотворение. — Андрей Белый — Из воспоминаний. — София Парнок — Стихи. — Грегорио Мартинец Сиерра — Дневник девочки. Рассказ. Перевод с рукописи. Владислав Ходасевич — Поэтическое хозяйство Пушкина. А. Лютер — Немецкая литература последних лет. — Ромэн Ролан — Махатма Ганди. (Окончание). Перевод с рукописи. — Проф. Ф. Ринне — О тончайшем строении материи по образцу кристаллов. Перевод с рукописи. — Д-р Ганс Презент — Экспедиции на Эверест 1921—1922. Перевод с рукописи. — Андрей Белый — Антропософия и д-р Ганс Лейзеганг. — Проф. Б. Ф. Адлер — Д. Н. Анучин. — Материалы — Письма В. В. Розанова к М. Горькому.

ИЗДАНИЕ ОРЭСО СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Редакт. Коллегия: В. И. Власьев,
С. А. Водов, А. А. Воеводин,
М. С. Ильяшевич, Б. Н. Неандер.

Главная контора:

Praha-Smíchov, Premyslova 16

Телеф. 1708. Почтов. счет — účet u post. sekov. úradu 26017

Склад издания: **LOGOS**

Berlin SW 63, Markgrafenstr. 87

Продолжается подписка на газ. «НОВАЯ РОССИЯ»

выходящую в Софии под редакцией коллегии М. П. Ада-
мович, А. П. Булацель и Э. Д. Гримм.

Осн. А. М. Агеевым (†) А. П. Булацель, С. Г. Фириным

Подробная информация о жизни в России.

Подписная цена

в Болгарии на 1 месяц 24 лева, загр. 35 лев по курсу дня.

Редакция и главная контора:

Болгария, София, Бульвар Дондуков 41, телефон 937.
Bulgarie, Sophia, Boulevard Dondoukoff 41. Tel. 937.

НОВАЯ РУССКАЯ КНИГА

Ежемесячный критико-библиографический журнал

Редактор проф. А. С. Ященко, изд. И. П. Ладыжникова

Адрес редакции: Berlin W 50, Augsburger Str. 33,
Tel. Steinpl. 79-27.

Адрес. конт.: J. Ladyschnikow Verlag G. m. b. H.
Berlin W 50, Rankestr. 33.

РУССКИЙ ГОЛОС

САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ В СОЕДИН. ШТАТАХ
И КАНАДЕ ЕЖЕДНЕВН. КООПЕРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

RUSSKY GOLOS
CORPORATION 66 EAST SEVENTH STREET
NEW YORK

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА В НЬЮ-ИОРКЕ И ЗА ГРАНИЦУ
НА ГОД 10.— ДОЛЛАРОВ, НА 1 МЕСЯЦ 1.— ДОЛЛАР

Продолжается подписка на 1923 год
(третий год издания) на ежедневную газету

„Рижский Курьер“

Собственные корреспонденты: в Берлине, Варшаве,
Лондоне, Ревеле, Париже и других центрах Европы.
Богатый информационный материал, экономическо-
финансовый отдел, театр и искусство, биржа и пр.

Редакция и контора: Рига, Бл. Грешная ул. 21. Телефон 28-53.

Подписная плата на месяц: В Латвии 125 лат. р., за-гран. 175 лат. р.

РЕДАКТОР-ИЗДАТЕЛЬ Д. И. ЗАБОРОВСКИЙ.

Русская еженедельная газета

„ЖИЗНЬ“

Редакция и контора: Львов, Валовая ул. 14, III эт.

Подписная цена:

4000 м. в месяц, в Америку и Канаду 2 долл. в год.

Цена отдельного номера 1000 м.

Общественно-политический и литературный журнал

„Современные Записки“

(3-й год издания)

издаваемый при ближайшем участии:

Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка,
А. И. Гуковского, В. В. Руднева.

В вышедших по настоящее время XV-ти книжках „Современных Записок“ напечатаны беллетристические произведения: Леонида Андреева, М. А. Алданова, К. Д. Бальмонта, Андрея Белого, Г. Д. Гребенщикова, Б. К. Зайцева, Е. И. Замятина, С. Р. Минцлова, А. М. Ремизова, Ив. Соколова-Микитова, Ф. А. Степуна, Ильи Сургучева, гр. А. Н. Толстого, Софьи Федорченко, Ив. С. Шмелева. — Стихотворения: Амари, К. Д. Бальмонта, Максимилиана Волошина, З. Гиппиус, Вячеслава Иванова, Н. Крандиевской, Сергея Маковского, В. Познера, В. Сирин, Федора Сологуба, Тэффи, В. Ходасевича, Марины Цветаевой — Дневники и воспоминания: Е. К. Брейховской, Ел. Джанумовой, В. М. Зензинова, А. Ф. Керенского, В. Г. Короленко, кн. В. Оболенского, Т. И. Поднера, И. Е. Репина. — Статьи по вопросам литературы, искусства, философским, политическим, экономическим и социальным: Н. Д. Авксентьева, М. А. Алданова, П. Н. Апостола, А. А. Аргунова, А. Байкалова, К. Д. Бальмонта, В. Брейтвейта, И. И. Бунакова, проф. П. Г. Виноградова, М. В. Вишняка, кн. С. М. Волконского, М. О. Гершензона, Б. Гердинга, М. Л. Гофмана, М. Л. Гошиллера, К. К. Гюнвальда, А. И. Гуковского (А. Северова), Ю. Делевского, И. Демидова, Дионео, проф. С. О. Загорского, Ст. Ивановича, С. А. Иванова, Л. П. Карсавина, прив.-доц. С. И. Карцевского, К. Р. Качоровского, А. Ф. Керенского, проф. А. А. Кизеветтера, С. Кобякова, А. А. Койранского, В. Г. Короленко, проф. С. А. Корфа, Е. Д. Кусковой, В. Ладыженского, проф. М. Лазерсона, А. Я. Левинсона, З. Ленского, Г. Ловцкаго, С. В. Лурье, Г. М. Лунца, А. Н. Мандельштама, Д. С. Мережковского, проф. С. И. Метальникова, Н. М. Минского, Б. С. Миркина-Гецевича, А. М. Михельсона, П. П. Муратова, В. М. Л. Неманова, проф. бар. Б. Е. Нольде, А. С. Орлова, М. А. Осоргина, А. Б. Петрищева, С. Л. Полякова-Литовцева, проф. М. И. Ростовцева, В. В. Руднева, М. Л. Слонима, Б. Ф. Соколова, П. А. Сорокина, Ф. А. Степуна, П. Гюрина, В. И. Талина, А. Н. Ульянова, проф. А. А. Чупрова, И. М. Хераскова, М. О. Цетлина, проф. Б. Е. Шацкого, Л. И. Шестова, Б. Ф. Шлецера, Ив. Якушева и др.

Журнал выходит книжками объемом около 400 страниц.

Адрес редакции.

9^{bis} rue Vineuse, Paris (XVI^e) Téléphone: Passy 86-61

Склад издания:

LOGOS Buchervertrieb A. G., Berlin SW68.

Markgrafenstrasse 87.

Telegr.-Adr.: Logoskniga.

Тариф объявлений: страница — 300 фр.; пол-стр. — 160 фр.

Продолжается подписка на 1923 год

на журнал политики и культуры

„ВОЛЯ РОССИИ“

под редакцией В. И. Лебедева, М. Л. Слонима и В. В. Сухомлина. Выходит два раза в месяц книжками, разм. по 100 стр. больш. форм.

В каждом номере отделы: **Беллетристика, Политика, Иностранная жизнь, Русская жизнь, Литература и культура, Систематические обзоры, Экономическая жизнь, Русские за рубежом.**

Условия подписки: Чехословакия на 1 мес. — 10 ч. кр. Франция, Бельгия, Турция — 6 фр., Англия — 3 шил., С. Штаты С. Америки — 1 дол., Финляндия 2 фин. м., Германия, Польша, Латвия, Эстония — основная цена 1½ мк. — умножается на коэффициент дня.

Адрес главной конторы и редакции для телеграмм и писем: „Volja Rossii“, Uhelny trh c. l. Praha I, Tschechoslovakei,

«ВЕЧЕРНЯЯ ПРЕССА»

Presse du Soir

Редактор-Издатель
Е. В. МАКСИМОВ

Единственная газета на Ближнем Востоке, выходящая на русском и французском языках. Оригинальн. информация из Сов. Рос.

Собственные корреспонденты во всех славянских странах, на Д. Вост. и во всех др. гор. Европы

Редакция и контора: Константинополь, Пера 35, Асман-Месджид